Апостол Сергей

НАТАН ЭЙДЕЛЬМАН

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Натан Эйдельман — писатель, кандидат исторических наук. Он автор книг «Лунин», «Тайные корреспонденты „Полярной звезды“», «Герцен против самодержавия», «Ищу предка», «Герценовский „Колокол“», «Путешествие в страну летописей», а также нескольких десятков литературоведческих работ, документальных очерков, исторических исследований.

Сфера научных и художественных интересов Н. Эйдельмана — историческое прошлое России, особенно первые этапы русского освободительного движения; он много пишет о Пушкине, Герцене, декабристах, революционерах-шестидесятниках, стремясь раскрыть яркие, сложные характеры этих людей.

Новая книга Эйдельмана посвящена Сергею Муравьеву-Апостолу, одному из главных деятелей декабристского движения, руководителю восстания Черниговского полка на Украине, принадлежавшему к той «фаланге героев», «воинов-сподвижников», которые, по словам Герцена, вышли «сознательно на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение…». Книга рисует процесс формирования личности декабриста, его революционных воззрений, нравственных понятий.

Книга получила положительные отзывы читателей и прессы. Выходит вторым изданием.

- Натан Эйдельман
  - ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
    - Глава I
    - Глава II
    - Глава III
    - Глава IV
    - Глава V
  - ЧАСТЬ ВТОРАЯ
    - «Избавить нас…»
    - 30 и 31 декабря
    - Фантастический 1826-й
    - 1 января
    - 2 января
    - 3 января
    - Тридцать одна вина
    - Петля
    - Смерть первая
    - Смерть вторая

- Эпилог
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12

Натан Эйдельман
Апостол Сергей: Повесть о Сергее Муравьеве-Апостоле

Зачем потух, зачем блистал?..

Пушкин

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I
Один день

Прошедший 1795-й год. Как призрак исчез он… Едва ли был кажется когда-либо…

Умножил ли он сколько-нибудь сумму благосостояния человеческого? Стали ли люди теперь умнее, миролюбивее, счастливее нежели прежде?

…Свет — театр, люди — актеры, случай делает пиесы, фортуна раздает роли… Драма имеет заглавие Вечное то же.

Из книги «Приятное и полезное препровождение времени». Часть IX, вышедшая осенью 1796 года

…Родился 28 сентября 1796 года. 28 сентября (9 октября) 1796 года, или 5 числа месяца раби-ас-сани 1211 мусульманского года; или в 7 день 11 месяца года овцы по монгольскому календарю, по летосчислению же революционной Франции — 18 вандемьера 5 года республики единой и неделимой…

Мальчик едва взглянул на мир — и уж попал в омут календарей, религий, имен, мнений, которым вместе тесновато.

И чего только не происходит на свете в день, когда родился герой!

Российский месяцеслов 1796 года рассуждает о недавно открытой седьмой планете Уран, «и может статься, что за Ураном есть еще планеты, к системе нашей принадлежащие, которые тихими стопами около солнца обращаются».

Гете странствует по Швейцарии с прекрасной возлюбленной Христиной Вульпиус.

Тбилиси возрождается после прошлогоднего персидского разорения…

220 солдат и 78 пушек охраняют в Шлиссельбургской крепости двух фальшивомонетчиков, одного дезертира и богохульника, одного буяна (у которого от частых земных

поклонов — на лбу знак «в меру крупного яйца»), одного поручика, «за продажу чужих людей, сочинение печатей и пашпортов заключенного до окончания шведской войны» (война шесть лет, как окончилась, про него забыли), а также — вольнодумца Федора Кречетова. В сырой камере бывшего императора Ивана Антоновича, без права гулять и брить бороду, помещается издатель трети всех русских книг Николай Новиков и добровольно разделивший с ним заключение доктор Багрянский…

28 сентября (9 октября), несмотря на то что исполнилось ровно восемь месяцев эры Цзяцин, новый император Поднебесной империи, давший, как полагается, имя новой эре, усиленно предается хмельным напиткам и пребывает в меланхолии, так как не смеет забыть, что он только пятнадцатый сын императора Цянь-Луня, отрекшегося от престола восемь месяцев назад, но вмешивающегося во все.

А на острове Ваникоро девятый год ждет случайных избавителей и уже теряет надежду горстка уцелевших участников экспедиции Жана Франсуа Антуана Лаперуза, не подозревая ни о революции, ни о генерале Бонапарте…

Генерал же Бонапарт продолжает в Италии трудную осаду Мантуи и в письме от 18 вандемьера требует быстрых мер от парижской директории: «Уменьшайте число ваших врагов!» Он жалуется на здоровье, угрожает отставкой: «Мне остается только мужество, какого одного недостаточно для нынешнего положения».

28 сентября (9 октября). В этот день Иммануил Кант, как всегда, в половине четвертого выходит на прогулку в сером сюртуке, с тросточкой в руке, и старый слуга Лампе с зонтом под мышкой следует за ним на некотором расстоянии, чтобы не мешать размышлениям профессора. Кант готовит второе издание своего трактата, начинающегося так: «К вечному миру, к кому обращена эта сатирическая надпись на вывеске одного голландского трактирщика рядом с изображенным на этой вывеске кладбищем? Вообще ли к людям или, быть может, только к философам, которым снится этот сладкий сон». 72-летний профессор, однако, знал, когда установится вечный мир: когда он будет выгоден. Эгоизм порождает как зло, так и добро, мудрая природа когда-нибудь соединит народы и государства «силой корыстолюбивых интересов» (проект будущего трактата прилагается)…

Французская же республика, соперничая с Кантом, только что приняла закон об отмене смертной казни. Закон вступает в силу на другой день после установления вечного мира на планете.

Но к чему все это?

Разве и так не ясно, что на свете все сцеплено со всем, и что Сергей Муравьев-Апостол, пришедший в мир осенним петербургским днем 1796 года, сразу, одним фактом своего появления, вступает в отношения и с 50-летним Франсиско Гойей, который недавно лишился слуха (отчего, может быть, его зрение настолько улучшается, что он уже начинает различать вокруг себя кошмарные «капричос»); и с 64-летним Джорджем Вашингтоном, который президентствует последнюю осень в надоевшей Филадельфии и скоро переберется на покой в уединенное виргинское имение; и с Брянского полка солдатом Петром Чернышевым, по высочайшему именному указу отправленным на Нерчинские рудники; и с маленьким гамбийским негритенком Демба, чье имя встречается в нескольких географических отчетах; и с отцом семи детей Гракхом Бабефом, уверенно ожидающим встречи с гильотиной, чтобы воскликнуть: «Прощайте навсегда! Я погружаюсь в сон честного человека».

Из перечисленных лиц разве что Гойя узнает незадолго до кончины о пяти повешенных в Петербурге 13 июля 1826 года. Взятые наудачу пять, десять, тысяча человек с Сергеем Муравьевым едва встретятся, даже в мыслях и воспоминаниях. Однако же они — его человечество, его n-1, если n — это все люди…

Нет сомнения (проверено!), что любой, кто отправится в библиотеку и попросит газету (центральную, местную), вышедшую в день его рождения, тем самым закажет свой гороскоп: обязательно найдет в тех листах удивляюще большое число намеков, по которым вроде бы ясно предсказывалось еще в день рождения, как сложится вся жизнь читателя… Пусть в том же номере газеты рядом притаились и несбывшиеся варианты той же судьбы. Пусть всегда в таких гороскопах ответ известен раньше загадки.

И мы ведь хорошо знаем (не можем забыть даже на миг!), что станет с тем мальчиком из осени 1796 года. Но разве так уж бесполезно решать задачи с известным ответом?

Итак — в Петербург последних сентябрьских дней 1796 года.

Газета

Газета — тетрадка, маленькая, плотная — 11 листков, 22 страницы. Под двуглавым орлом заголовок «Санкт-Петербургские ведомости» № 78. В пятницу сентября 26 дня 1796 года. Во вторник сентября 30-го дня вышел номер 79-й. Наше, 28 сентября,

стало быть, — воскресенье: газета не выходила. Но как раз ко вторнику поспели известия, что «28-го утром в столице в полдень было +9, вечером +6, ветер юго-западный, встречный, облачное небо, сильный дождь, гром и молния».

Запомним редчайшую в столь позднее время грозу (по новому стилю ведь 9 октября!), она еще появится в нашем рассказе.

Гроза, непогода «над омраченным Петроградом»… Разумеется, без труда узнаем, что в тот день солнце поднялось в северной столице без пяти минут семь, а зашло в 5 часов 15 минут. И ту же позднюю осень заметим вдруг в объявлении о том, что «на Мойке супротив Новой Голландии, под № 576 доме, продаются поздние и ранние гиацинты» (именно так — гиацинты); а на Выборгской — «провансрозаны, букет-розаны и в придачу к ним божье дерево».

Но Петербургу некогда заниматься обозрением восходов, «гиацентов» и «букет-розанов». В ту осень несколько сот рабочих роют землю и жгут костры, начиная стройку лет на семь: Военно-медицинскую академию, Публичную библиотеку. Город — молодой, меньше века, жителей в четыре-пять раз меньше, чем в Лондоне, Париже, и они еще привыкают к памятнику основателя города. Впрочем, майор Массон, француз на русской службе, недоволен утесом-пьедесталом, ибо из-за него «царь, который бы должен созерцать свою империю еще более обширной, чем он замышлял, едва может увидеть первые этажи соседних домов».

Однако Николай Карамзин, готовящий в это время к печати «Письма русского путешественника», думает совсем иначе: «При сем случае скажу, что мысль поставить статую Петра Великого на диком камне, есть для меня прекрасная несравненная мысль, ибо сей камень служит разительным образом того состояния России, в котором она была до времени своего преобразования».

Правда, в той же книге с похвалой рассказывается и о совсем другом монументе: «В жестокую зиму 1788 года французский народ, благодарный королю, пожертвовавшему дрова для них, воздвиг против его окоп снежный обелиск с надписью»:

Мы делаем царю и другу своему
Лишь снежный монумент, милее он ему,
Чем мрамор драгоценный,
Из дальних стран на счет убогих привезенный.

Снежный монумент растаял весной 1789 года. Король лишился головы зимой 93-го. В связи с такими обстоятельствами соперничество столиц на Неве и Сене не решается сопоставлением числа монументов…

Население Петербурга имеет некоторую особенность, кажется, отсутствующую в других европейских столицах: в городе всего 32 процента женщин, и мальчик, родившийся 28 сентября, еще увеличивает мужские две трети. Эту диспропорцию плохо объясняет утверждение уже упомянутого майора Массона, будто прекрасный пол в России заменяет и вытесняет представителей сильного, следуя примеру правящей императрицы. Куда лучше представляют мужские занятия странички «Ведомостей».

Просвещение, наука, промышленность…

— Императорский фарфорный завод ищет желающих взять на себя поставку дров для обжига глазурованного фарфору…

— Продается 22 000 пудов железа.

— Средство для истребления моли и клопов, коего польза довольно испытана и доказана и которое особливый успех иметь может, когда оное согрето в теплой воде.

— Продается порозжее, сквозное место (т. е. предлагается заплатить деньги за пустоту, которую можно и должно заполнить).

— Желающие купить 17 лет девку, знающую мыть, гладить белье, готовить кушанье и которая в состоянии исправлять всякую черную работу, благоволят для сего пожаловать на Охтинские пороховые заводы к священнику…

Кто не помнит такие объявления из школьных учебников и хрестоматий (раздел «Кризис феодально-крепостнической системы»). Только в учебниках эти строчки не обыкновенные (людей продают!), а в газете самые обычные, меж другими делами: «купить девку» — вроде бы явная допотопная дикость, но купить предлагают на пороховых заводах (технический прогресс) и справку даст священник (дух милосердия).

Все обыкновенно. Видимо, объявления печатались в порядке поступления, и поэтому разные сюжеты вперемежку:

— Продается дом на Большой Литейной улице.

— На бирже в амбаре под № 225 продается до ста ружейных лож орехового дерева.

— В половине сего месяца (сентября) пропала маленькая гладинькая кофейного цвету собачка сучка, у которой на груди белое пятно. Если кто, ее поймав, принесет в Большую Миллионную фельдшеру Савве Васильеву, тому будет учинена знатная награда. (Видно, любит фельдшер Васильев гладенькую собачку, потому что вряд ли располагает знатным капиталом.)

И только расслабится читатель XX столетия над строчками про амбар и сучку, как попадает «Литейной части в 1-й квартал в церковь Симеона Богоприимца», где «продаются мужской портной, повар и женский башмачник, также венская прочной

работы коляска и хорошо выезженная верховая лошадь. Желающим покупать — подаст сведения о цене служитель Андрей Дмитриев» (хозяева, как видно, не показываются).

— На Гороховой улице продаются пригнанные холмогорские молодые стельные коровы, две козы и большой козел.

— Продается семья людей — столяр и плотник с женой и двумя дочерьми.

Тут хозяйка не стесняется представиться: «На Сенной площади надворная советница Катерина Ивановна Сафонова».

— Продается парикмахер, разумеющий чесать женские и мужские волосы; 33 лет с женой и малолетним сыном…

Автор проверял себя и других; первое объявление — «желающие купить 17 лет девку» — отталкивает: вот ведь что бывало, людьми торговали! Затем еще, еще такие объявления, и удивление уходит, приходит привычка — отупляющая, усыпляющая. Конечно, нехорошо, но нельзя же из-за каждого случая волноваться… К тому же ведь не только людей продавали. Предлагают и более благородный товар, книги например. И какие книги! Сколько назидательности, веселья, мудрости!

Грандиссон, 7 томов за 6 рублей; «Хромой бес» и «Пиесы славного лондонца Гуильелма Шакспира» (так!) 2 тома за рубль; в двадцати частях за 20 рублей «Тысяча и одна ночь», в каждой части «50 ночей», «ночь за две копейки» (шутка из одного книжного обозрения). Наконец, «Примеры матерям, или приключения маркизы де Безир», перевод Анны Семеновны Муравьевой (урожденной Черноевич).

Автор перевода имеет неоспоримое право помогать матерям советом и примером: это у нее рождается 28 сентября Сергей, второй сын, в то время как старшему — Матвею — три года (десять лет спустя явится меньшой — Ипполит). И сверх того — пятилетняя Елизавета, двухлетняя Катерина, год спустя — Анна, через три года — Елена! Что же касается отца этих малюток, премьер-майора Ивана Матвеевича Муравьева, то он уже в некотором смысле персона и только из-за долгого отсутствия в столице давно не упоминался в «Ведомостях».

Несколько дней спустя, 7 октября, Василий Капнист, входящий в славу 29-летний литератор (недавно закончивший смешную и опасную комедию «Ябеда»), напишет жене в полтавское имение Обуховку:

«Погода такая несносная. Снег разов шесть выпадал и обращался в грязь. Скоро, однако же, дорога ляжет санная. И я полечу к тебе… Письма, которые я к тебе писал с Муравьевым, он мне сево дни, назад привезши, возвратил. Он мимо тебя проехал».

О рождении второго сына у Муравьевых в этом письме ни слова. Может быть, Капнист огорчен, что оказия его не состоялась? И не может же он предвидеть, что с этим новорожденным сыном и всей семьей Муравьевых ему много лет жить, дружить, вместе радоваться и печалиться.

Иван Матвеевич Муравьев, видно, торопился в Петербург к родам Анны Семеновны, не дожидаясь затвердения грязей и установления санного пути. На несколько дней опаздывает, но ничего страшного не приключается; лучшие врачи, лучший уход, лучшие шутки и наставления обеспечены роженице и в отсутствие супруга: кузен и друг Михаил Никитич Муравьев [1], один из самых просвещенных и добрых, состоит при Александре, внуке императрицы, и многое может. Дом же близ Литейного двора, с окнами на Неву, где раздался первый крик четвертого Муравьева, принадлежит близкому другу — протоиерею Афанасию Самборскому. Личность очень популярная в столице: лечит крестьян, выискивает повсюду хороших людей (только что представил своему кругу способнейшего семинариста Михаила Сперанского), бреет бороду, предпочитает ходить в сюртуке и круглой шляпе со звездой — понятно, такой домовладелец не даст пропасть малышу…

Мы же пока напомним, что 28 сентября Иван Матвеевич еще одолевает по грязи черноземные версты где-нибудь близ Орла или Курска. Да что ему грязь — хорошее у него настроение, и если делить по этому признаку тех, кто населял землю осенью 1796-го, то трясущийся в кибитке Иван Муравьев — среди счастливых. Здоров, молод (неполных двадцать шесть лет), легко принимает распространенное придворное определение чудака — «живет более трех лет с женою и по сию пору ее любит»; весь мир ему открыт — говорит и думает по-французски, немецки, английски, латыни, гречески, итальянски (позже еще по-испански, португальски), как на родном, или лучше сказать, по-русски пишет даже не хуже, чем по-французски.

Премьер-майору, обер-церемониймейстеру и чиновнику в коллегии иностранных дел не возбранялось и баловаться словесностью. Три года назад вдруг срочно понадобилась пьеса для придворного праздника. Неизвестно, узнал ли когда-нибудь депутат парламента и шеф лондонского театра Дрюрилейн сэр Ричард Бринсли Шеридан, как быстро и ловко перевел его «Школу злословия» Иван Муравьев, причем перевод был столь последовательным, что и действие перешло в Россию: сэр Оливер сделался г-ном Здравосудовым, Чарльз — Ветрономом, леди Снируел — Насмешкиной, Снейк — Змейкиным, Джозеф — Лукавиным…

Императрица, явившись на тот эрмитажный спектакль, уловила в нем некоторые свои любимые рассуждения — о злословии, клевете, необходимом исправлении нравов — и, не вдаваясь в подробности, что от Шеридана, а что от Ивана Матвеевича, осталась к последнему очень благосклонной. Муравьев же не замедлил представить новую пьесу «Ошибки, или утро вечера мудренее» — на этот раз по англичанину Оливеру Голдсмиту.

«Неописанно будет счастие мое, — писал автор в посвящении, — ежели августейшая монархиня благоволит удостоить слабое покушение мое снисходительным воззрением, которое есть верх награждения для каждого россиянина».

Еще более важными могли показаться постаревшей императрице некоторые шутки действующих лиц, будто в Петербурге «мужчины начинают щеголять за 50, а женщины под 40 лет, и будто на будущую зиму женские модные лета будут пятьдесят».

Результаты удачно сказанных слов не замедлили сказаться: Иван Матвеевич повышен и введен в число «кавалеров» внука царицы — Константина.

Придворный льстец? Как раз в 1796-м сочинено —

> Лучшее как опознать государство? — По той же примете,
> Как добродетель жены: слова о них не слыхать.

(Эти стихи, как и некоторые другие, приводимые в этой главе без указания авторов, принадлежат двум самым значительным поэтам, жившим на земле осенью 1796 года, — Гете и Шиллеру. Порознь и сообща они написали в том году около тысячи эпиграмм («Ксений»), из которых опубликовано более 400; так и остался в истории немецкой и мировой литературы 1796 год «годом эпиграмм», и конечно же для нашей повести это далеко не безразлично.

> Слишком вы злы, эпиграммы! — Мы с этим не спорим.
> Мы только
> Надписи к главам. А жизнь пишет те главы сама).

В ту пору льстивые придворные обороты произносились, однако, не реже, чем «здравствуйте». Ивана Муравьева в искательстве, кажется, никто и не заподозрил: благородный, просвещенный человек, сумел в изящной форме сообщить некоторые вполне хорошие идеи членам императорской

фамилии, а те оказались милостивы, щедры… Протоиерею Самборскому примерно в это время Муравьев сообщал (неопубликованное письмо в отделе рукописей Публичной библиотеки в Ленинграде), что скорее лишится всех милостей важного вельможи, «нежели Вашей ко мне дружбы, потому что на Вашем ко мне уважении основано собственное мое уважение к самому себе, а его-то я никогда не хочу лишиться».

Надо сказать, фортуна столь любезна с Иваном Матвеевичем, что награждает и без просьб. При дворе почти нет людей, которые в фаворе одновременно у Екатерины и опального угрюмого наследника Павла Петровича. Между тем Иван Муравьев однажды видит, как его юный воспитанник Константин Павлович кидается к проходящему мимо конногвардейскому полку, берет над ним начальство и производит полное учение. Муравьев не помешал — пусть побалуется, но Екатерина II не любит этих пристрастий второго внука и недовольна внезапным смотром; впрочем, не сильно и не долго. Зато Павел, мечтавший о настоящих военных занятиях сыновей, растрогался и запомнил Ивана Матвеевича: подойдя к нему, наследник три раза низко кланяется, коснувшись рукою паркета, и говорит: «Благодарю, что Вы не хотите сделать из моих сыновей пустых людей».

Столь успевающему молодому человеку, которого ценит Екатерина и любит Павел, на что таскаться осенью 1796 года по черноземным и подзолистым пространствам между Полтавой и Невским проспектом, опаздывая к появлению на свет сына Сергея?

Путешествия

Мы, обитатели XX века, часто считаем себя путешественниками. Куда там! Вот в XIX, XVIII веке и раньше были путешественники: нам бы их дороги, их скорости — сидели б дома.

Бесконечная дорога — важное действующее лицо старой литературы. Чичиков странствует где-то между Москвой и Казанью (колесо «в Москву доедет», а «в Казань не доедет»). Где-то между Вологдой и Керчью встречаются Аркашка Счастливцев и Геннадий Несчастливцев. Где-то в степи ночуют чеховские герои. Где-то в «отдаленнейшей губернии», по дороге из города …ска в город …ов, тащится в телеге Рудин.

Чисто российское, старое, медленное, бесконечно «где-то»… Не все ли равно где? Пушкинское:

Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин!

В XX веке дорога несколько отступает из книг. Слишком быстро герой перемещается из Крыма в Москву или из Ленинграда в Сибирь. По дороге он почти ничего не успевает сделать и действует преимущественно в пунктах «отбытия» или «прибытия». Ритм бегущей тройки вытесняется частым перестуком колес, вихрем пропеллера, стихом Маяковского

Билет —
щелк.
Щека —
чмок.
Свисток —
и рванулись туда мы…

Путешествия всегда — для мыслящих оптимистов.

Путник на заре с тоскою
Бросил сладостный ночлег,
Вот уже его стрелою
Мчит коней ретивых бег —
……
Ах, дорогой бесконечной
Для души, еще младой,
Для мечты моей беспечной
Представлялся путь земной!..

Кюхельбекер, сочиняя эти стихи, был чуть моложе, чем Иван Матвеевич в 1796-м.

Знакомясь с событиями, происходившими 28 сентября 1796 года, сталкиваемся с удивительным числом странствий, экспедиций, вояжей — и это при первобытных, по нашему понятию, дорогах и скоростях, никогда не превышавших 20 километров в час! Путешествия, разъезды по службе, по частной надобности, для вручения письма, для знакомства с кровно близкой и географически отдаленной родней…

Месяцеслов на 1796 год извещает российских подданных, что самым удаленным от столиц городом является Авача, или Петропавловский порт, «до С. Петербурга, 10 648 верст, до Москвы — 9918». Это так далеко, что рассказам Василия

Бестужева, прибывшего в ту пору пешком из Нерчинского гарнизона, охотно верят его малолетние племянники (будущие члены тайного общества, которые отправятся в «дядюшкины края» через 30 лет); дядя же сообщал, что «по всей дороге ему сопутствовали волки и медведи, а дорога проложена была просто по берлогам диких зверей в такой чаще леса, что кожа всего тела, обхлестываемая сучьями, должна была нарастать по два раза в месяц».

Такие названия, как Енисей, Байкал, Аральское море, Амур, звучали не менее загадочно, чем ныне — Плутон, метагалактика, квазар.

Ослабевший от лихорадок шотландский хирург и путешественник Мунго Парк 9 октября нового стиля отлеживается в африканской деревне, еще ни разу не появлявшейся на европейских картах, и пользуется гостеприимством богатого работорговца Карфы. «Рассматривая цвет лица моего, пожелтевшего от болезни, длинную мою бороду, изодранное платье, друзья Карфы сомневались, что я действительно белый». Шотландец предложил Карфе подарок — одного невольника. Карфа согласился; «таким образом, — вспоминает Мунго Парк, — человеколюбие негра похитило меня из самой крайней бедности».

Архаические обороты, описывающие «цену человеколюбия», показывают, что мы цитируем тот перевод записок Мунго Парка, который вскоре прочитают в доме Ивана Муравьева.

Путешествия… В эти дни торопятся пересечь Гиндукуш, чтоб призвать на помощь афганцев, гонцы знаменитого самодержавного повелителя южной Индии Типу-султана, который так ненавидит англичан, что разрешает посланцам Французской республики именовать его гражданином.

В другой части света торопится Людвиг ван Бетховен. Торопится, чтобы переменить публику: берлинская, выражающая восторг не овациями, а безмолвными слезами, надоела (нарочито расхохотался на концерте: «Это не то, что мы, художники, желаем!»). В Венском дворце князя Лихновского его ждут Гайдн, Сальери. Старая княгиня готова встать на колени, лишь бы Бетховен что-нибудь сыграл, а он везет им первый фортепьянный концерт и 12 вариаций для фортепьяно…

Торопится с Псела на Неву Иван Матвеевич Муравьев.

Насчитывали 506 причин для бегства из родных мест.

Спешат, чтобы встретиться с литературным героем, как в новой книге Карамзина:

«Нас привели в трактир почтового двора. Я тотчас пошел к Дессеню (которого дом есть самый лучший в городе); остановился

перед воротами, украшенными белым павильоном, и смотрел направо и налево. „Что вам надобно, государь мой?“ — спросил меня молодой офицер в синем мундире. „Комната, в которой жил Лаврентий Стерн“, — отвечал я. „И где в первый раз ел он французский суп?“ — сказал офицер. „Соус с цыплятами“, — отвечал я. „Где хвалил он кровь Бурбонов?“

— Где жар человеколюбия покрыл лицо его нежным румянцем…

— Государь мой! Эта комната во втором этаже, прямо над вами. Тут живет ныне старая англичанка со своей дочкой».

Путешествуют, чтобы вздохнуть:

«Я смотрел и наслаждался… Вынул бумагу, карандаш; написал: „Любезная природа!“ и более ни слова».

Путешествуют не по своей охоте (но это уже причина № 507).

Заключенный Илимского острога Александр Радищев примерно в эти дни размышляет: «Если бы в то время, когда Ньютон полагал основание своих бессмертных изобретений, препят был в своем образовании и переселен на острова Южного Океана, возмог ли бы он быть то, что был? Конечно, нет. Ты скажешь: он лучшую бы изобрел ладию… и в Новой Зеландии он был бы Ньютон. Пройди сферу мыслей Ньютона сего острова и сравни их с понявшим и начертавшим путь телам небесным… И вещай!»

Иван Матвеевич Муравьев путешествует по своей охоте и по причинам разнообразным.

Тут была вот какая история.

Апостолы

Матвей Артамонович Муравьев, отец кавалера Ивана Муравьева и дед новорожденного Сергея, был когда-то удалым малым: увез знатную девицу без согласия родни, женился. И это событие, понятно, оказалось необходимым для появления в свое время на свет Ивана Матвеевича.

Возможно, это похищение имело бы неважные последствия для беглецов, если б жив был грозный отец той девицы, последний выборный украинский гетман Данило Апостол, союзник Петра Великого, участник всех его походов.

Однако без могущественного гетмана дело ограничилось домашним проклятием и лишением непокорной дочери всяких прав на украинские поместья… Так минуло много лет. И вот, странствуя летом 1796 года по южным губерниям, Иван Матвеевич вспоминает, что по дороге, в старинном имении

Хомутец, близ Полтавы, обитает его двоюродный брат, еще один внук Данилы Апостола.

Остановимся и задумаемся над цепью обстоятельств, отсюда начинающихся (предмет, о котором любили толковать еще древние греки). Не окажись Михайлы Даниловича Апостола дома, находись он в подпитии или не в духе (как часто бывало), и проехал бы кузен Муравьев мимо, не стал бы в будущем владельцем Хомутца, и его сына Сергея, вероятно, не послали бы на Украину, потому что офицеров-семеновцев рассылали в 1820-м по тем губерниям, где находилась их родня. А не попав на Юг, не стал бы Сергей Муравьев во главе Южного тайного общества, и…

Но Михаил Апостол был дома, и в духе, принял двоюродного брата с безмерным полтавским хлебосольством и попросил помочь ему советом в одном деле. Дело же было самое обыкновенное: Михайло Данилович прогнал жену, увез другую от живого мужа, первая ушла в монастырь.

Как видно, Иван Матвеевич растолковал Апостолу, что ежели первая супруга приняла пострижение, то преступления нет: пример тому светлейший князь Григорий Потемкин, появившийся на свет тогда, когда отцу его угрожала тюрьма за двоеженство, но брошенная супруга пожалела его и ушла в монастырь…

Тут Михайло Данилович так возлюбил петербургского брата, что взял с него клятву присоединить к своей фамилии вторую половину — Апостол, унаследовать старинное имение на берегу Псела и другие деревни. Иван Матвеевич, несомненно, упирался, ссылался на других родственников Михайлы Даниловича, а тот аттестовал полтавских кузин и племянников со всем возможным непотребством, ибо они мало того, что отказывались помочь в разводном деле, но только и ждали, что казна выгонит преступника и отдаст им Хомутец.

Скача на север, Муравьев решил, что расскажет обо всем Державину, Строганову, Михаилу Муравьеву, и как они скажут, так и будет; но вообще-то бог посылал украинское наследство против изрядных долгов, накопившихся от петербургской придворной жизни.

Будущее семьи, страны… Иван Матвеевич пересекает диковатые степные уезды, обедает у симпатичных Простаковых, Скотининых, уверяя их, что от чтения книг «не всегда происходят приливы к голове и впадение в дураческое состояние». Губернии сокрушены рекрутским набором — на пороге война с Францией. Пламя, зажженное парижским разумом, кажется, превращается в безумный пожар. Тут есть над чем поразмыслить. Бричка — лучшее место для философа. Многовековой спор о разуме и чувствах — одна из любимых «материй» Ивана Матвеевича.

Франции горькую участь великим обдумать бы надо,
Малым подумать о том надо, конечно, вдвойне.
Свергнут властитель, но кто же толпу оградит от толпы же?
Освободившись, толпа стала тираном толпе.

Щелчки пошатнувшемуся разуму в тот год удивительно разнообразны. От анекдота:

«Некой старый математик не читывал Расина. Однажды, понуждаемый друзьями, он прочел несколько страниц „Ифигении“ и отбросил: „Ну, что этим доказано?“»…

До первой не очень оригинальной работы 26-летнего бернского домашнего учителя Георга Гегеля: «Истина и благо соединяются родственными узами лишь в красоте…»

Впрочем, в 1796-м неуютно и мыслителям, и чувствователям. Разум подозрителен, но и бог поколеблен, красота обманчива. Позже Генрих Гейне возмутится: «Эстетствующее и философствующее время!» — и предскажет: «Время, которое нуждается в воодушевлении и делах». Можно с ним поспорить, но нужно и согласиться… Прилив 1789-го: воодушевление, деятельный разум — и отлив «эстетствующий, философствующий», а там — новый прилив…

Но тут остановимся. Разум, красота, прогресс — 99 процентов тогдашних землян не тревожились из-за этого, и тот, кто путешествовал, имел время в сем убедиться…

Иван Матвеевич возвращается в столицу, обнимает жену, детей, знакомится с самым младшим, спешит ко двору.

И тут мы полагаем, наступает время вспомнить о попугае [2].

Попугай

В последние дни 1917 или в начале 1918 года отряд красногвардейцев обыскивал петроградские аристократические дворцы и особняки. В доме светлейших князей Салтыковых их приняла глубокая старуха, неважно говорившая по-русски и как будто несколько выжившая из ума. К счастью, командир отряда происходил из образованного сословия и на хорошем французском языке объяснил княгине: «Мадам! Именем революции принадлежащие вам ценности конфискуются и отныне являются народным достоянием». Старуха не стала возражать и даже с некоторой веселостью покрикивала на красногвардейцев за то, что они пренебрегали кое-какими безделушками и

картинами.

После того как было отобрано много драгоценностей и произведений искусства, старуха внезапно потребовала: «Если вы собираете народное достояние, извольте сохранить для нации также и эту птицу». Тут появилась клетка с большим, очень старым, облезлым попугаем. «Мадам, — ответил командир с предельной вежливостью, — народ вряд ли нуждается в этом (эпитета не нашлось) попугае».

— Это не простой попугай, а птица, принадлежавшая Екатерине II.

— ???

— Стара я, батюшка, чтобы врать: птица историческая, и ее нужно сохранить для народа.

Старуха щелкнула пальцами — попугай вдруг хриплым голосом запел: «Славься сим Екатерина…» Помолчал и завопил:

— Платош-ш-ш-а!!

Командир утверждал на старости лет, что это самое удивительное происшествие в его жизни. 1918 год, революция, красный Петроград — и вдруг попугай из позапрошлого века, переживший Екатерину II, Павла, трех Александров, двух Николаев и Временное правительство, Платоша — это ведь Платон Александрович Зубов, последний, двенадцатый фаворит старой императрицы, который родился на 38-м году ее жизни (в период первого фаворита Григория Орлова); а через 22 года, с того лета, как началась революция во Франции, Платон Зубов уж во дворце «ходил через верх» (именно так принято было выражаться); светлейший князь Потемкин, услыхав, схватился за щеку: «Чувствую зубную боль, еду в Петербург, чтобы зуб тот выдернуть». Однако не выдернул, умер, а Зубов остался, и во дворце шептали, что императрица наконец-то обрела «платоническую любовь».

Бедного и усердного чиновника из украинских казаков Дмитрия Трощинского Екатерина за труды награждает хутором, а потом прибавляет 300 душ. Испуганный Трощинский вламывается к царице без доклада: «Это чересчур много, что скажет Зубов?»

— Мой друг, его награждает женщина, тебя — императрица…

Как бы то ни было, но осенью 1796 года Платон Александрович находится в такой силе, что генерал-губернаторы только после третьего его приказания садятся на кончик стула, а сенаторы смеются, когда с них срывает парик любимая обезьянка фаворита, и он сам смеется, полуодетый, ковыряющий мизинцем в носу; играя же в фараон, случается, ставит по 30 тысяч на карту. И может абсолютно все: незадолго до 28 сентября небрежно подписывает счет на 450 рублей, представленный Императорской

академии художеств механиком и титулярным советником Осипом Шиширинным:

«По приказанию вашей светлости сделан мною находящемуся при свите персидского хана чиновнику искусственный нос из серебра, внутри вызолоченный с пружиною, снаружи под натуру крашенный с принадлежностями…»

«Санкт-Петербургские ведомости» извещают о продаже 28 сентября и в другие дни у Кистермана в Ново-Исаакиевской улице «портрета его светлости князя Платона Александровича Зубова», но никаких сообщений о продаже прежнего товара — портретов Потемкина, Орлова.

28 сентября тот попугай, прокричав «Платош-ш-ш-а!», был, несомненно, поощрен. Однако то же самое (или чуть грубее) восклицание, принадлежащее одному из примечательнейших людей, не могло рассчитывать ни на какое поощрение. Хотя документальных данных нет, но мы смело выдвигаем гипотезу насчет существования подобного опасного восклицания 28 сентября (как в следующие и предыдущие дни), восклицания, раздавшегося в Тульчине, знаменитой штаб-квартире южных войск (будущей «столице» южных декабристов).

Господин генерал-фельдмаршал и многих орденов кавалер граф Александр Васильевич Суворов-Рымникский лег накануне, как обычно, в 6 часов вечера, встал в два ночи, сел за обед в восемь утра. Когда попытался взять лишний кусок, адъютант помешал.

— По чьему приказанию?

— По приказу его сиятельства господина генерал-фельдмаршала графа Суворова-Рымникского.

— Слушаюсь…

С ночи голова работает лучше, диктуются приказы, письма, и, если даже на бумагу попадают опасные выпады против графа Платона Александровича, можно вообразить, что произносится вслух! Один из корреспондентов замечает фельдмаршалу, что Зубов все-таки вежлив. Отвечено: «Граф Платон Зубов сам принимает, отправляет моих курьеров, знак его правительства перед всеми, для моей зависимости. А вежлив бывает и палач».

Суворов не зря ворчит. Дело идет о серьезных делах. О близком столкновении с тем 27-летнним французским генералом (ровесник Ивана Матвеевича Муравьева и двумя годами моложе Платоши), кто пока еще один из многих, но уже «далеко шагает мальчик»; и граф Александр Васильевич беспокоится, а граф Платон Александрович не беспокоится совсем…

Отряд сдал попугая вместе с драгоценностями; из музея им вслед неслось «Платош-ш-ш-а!»; командир ушел на фронт, а когда

год спустя оказался в Петрограде, узнал, что попугай погиб от возраста или непривычного питания.

История, как сказали бы в старину, философическая, доказывающая, что нет ничего вечного: ни попугая, ни короны.

Вспоминать же об этом сейчас просто необходимо, потому что именно 28 сентября происходят некоторые роковые события для «властителей и судей».

Случайное совпадение, мимо которого — как пройти?

Камер-фурьерский журнал, постоянный дневник придворных происшествий, обычно приглажен, отполирован!

«28 сентября, в воскресенье по утру, по отправлению в покоях Ее величества духовником воскресной заутрени и по собрании ко двору знатных обоего пола персон, дворянства, господ чужестранных министров и по прибытии в апартаменты Ее величества их императорских высочеств государей великих князей и их супруг, государынь великих княгинь и государынь великих книжен Александры Павловны, Марии Павловны и Елены Павловны, перед полуднем, в половине двенадцатого часа, Ее императорское величество обще с их императорскими высочествами в провожании знатных придворных обоего пола персон и генералитета через столовую комнату изволили выход иметь в придворную большую церковь, после чего приглашенные персоны принесли поздравления Ее величеству со днем воскресным, за что были пожалованы к руке».

Затем следует описание обеденного стола Ее императорского величества в столовой комнате на 34 куверта.

Наследника, 42-летнего Павла Петровича, нет, как не было 8 дней назад на торжествах по случаю дня его рождения и как не будет через 16 дней — в день рождения его супруги Марии Федоровны, хотя «с вечера и за полночь обе крепости и весь город освещены были огнем и при питии за здоровье Его (Ее) Высочества с адмиралтейской крепости выпалено из 31 пушек».

Павел давно замкнулся в своей Гатчине.

Вечером того дня, мы помним по газете, была странная для такого времени года поздняя гроза.

Гроза

Гроза, можно сказать, историческая. Всего две недели назад скандально сорвалась уже решенная, как казалось, свадьба любимой внучки императрицы Екатерины II с шведским королем Густавом IV. В последнюю минуту король заупрямился, и 16 338 рублей 26 ¼ копейки, ассигнованных на праздник, пропали зря, а Екатерина рассердилась так, как прежде не сердилась, и знаменитая складка у основания носа (которую портретистам предписывалось не замечать) придавала лицу особенно зловещий вид.

Для 67-летней царицы такой гнев — тяжкая болезнь. Следует легкий, быстро миновавший удар — паралич — зловещее предвестие. Екатерина не понимает, насколько зловещее, — еще советуется с одним из придворных о грядущих празднествах в честь нового, XIX века. Но все же решает наконец распорядиться наследством. Проходит несколько дней, «здешние праздники шумные исчезли, как дым, — жалуется Державин другу — поэту Дмитриеву. — Все громы-поэтов погребены под спудом, для того и я мою безделицу не выпускаю» («Победа красоты» — подарок жениху и невесте).

За 12 дней до рождения Сергея Муравьева, 16 сентября, любимый внук Александр Павлович вызван для беседы с бабушкой. По всей вероятности, ему была сообщена окончательная воля — чтобы после Екатерины II воцарился Александр I, минуя Павла. Все это пока глубочайшая тайна, но скоро должно выйти наружу. Царица намерена дать манифест о новом наследнике, то ли к Екатеринину дню, 24 ноября, то ли к новому году.

Что же Александр?

Он не хочет, ему противен двор, ему кажутся позорными недавние разделы Польши. И хотя не говорит об этом громко, но от определенного круга людей (может быть, и от кавалера Ивана Муравьева?) не таится, близкому другу пишет:

«Придворная жизнь не для меня создана… Я чувствую себя несчастным в обществе таких людей, которых не желал бы иметь у себя и лакеями, а между тем они занимают здесь высшие места, как, например, Зубов, Пассек, Барятинский, оба Салтыкова, Мятлев и множество других, которых не стоит даже называть. Одним словом, мой любезный друг, я сознаю, что не рожден для того сана, который ношу теперь, и еще менее для предназначенного мне в будущем, от которого я дал себе клятву

отказаться тем или другим способом».

Строки эти писаны 10 мая, но что же он ответит бабушке в сентябре?

Во-первых, ее нельзя теперь волновать; во-вторых, опасно открывать свои мысли; в-третьих, известное впоследствии двоедушие Александра-царя, конечно, свойственно и Александру-принцу.

«Ваше императорское величество! — напишет он 24 сентября. — Я никогда не буду в состоянии достаточно выразить свою благодарность за то доверие, которым Ваше величество соблаговолили почтить меня, и за ту доброту, с которой изволили дать собственноручное пояснение к остальным бумагам… Я вполне чувствую все значение оказанной милости… Эти бумаги с полной очевидностью подтверждают все соображения, Которые Вашему величеству благоугодно было недавно сообщить мне и которые, если мне позволено будет высказать это, как нельзя более справедливы».

Однако бабушка не знает, что ее внук рассказал многое, может быть и все, отцу, Павлу. Возможно, по желанию Павла в тайну был посвящен и полковник Аракчеев (не отсюда ли будущая дружба с ним Александра I?).

Накануне отправки почтительного послания бабушке Александр пишет Аракчееву, называя Павла «Его величество», хотя последний — только «высочество»; называет не один раз, а дважды; ошибка невозможна, тем более что и Аракчеев в эти дни обратился к своему покровителю точно так же. Вероятно, полагает историк Шильдер, Александр принес отцу присягу на верность, и, если бы даже Екатерина отдала ему престол, он не намерен был его брать, когда придет час…

Екатерина же считает дело улаженным, но все не может прийти в себя после недавнего потрясения, больше обычного пуглива и, как всегда во время болезни, пьет чай вместо любимого мокко. Многознающий царедворец Федор Ростопчин месяц спустя сообщит Александру Воронцову о состоянии императрицы: «Здоровье плохо. Уже больше не ходят. Не могут оправиться от впечатлений грозы, которая произошла в последних числах сентября. Явление странное и небывалое в наших краях, имевшее место в год смерти императрицы Елизаветы».

Это была гроза 28 сентября 1796 года. Ничего подобного в других сентябрьских и октябрьских газетах не обнаруживается.

Совпадение! Какой был бы поворот для романтической повести: рождение будущего революционера — и небывалая гроза, сотрясающая столицу, разрушающая психику и здоровье

императрицы.

Но времена таких повестей, кажется, прошли.

Зато член французской Академии Пьер Лаплас, только что предложивший свою знаменитую гипотезу происхождения звезд и планет, легко примерил бы к той осенней грозе другую свою идею.

«Ум, которому были бы известны для какого-либо данного момента все силы, проявляющиеся в природе, и относительное положение всех ее составных частей (если бы вдобавок этот ум оказался достаточно обширным, чтобы подчинить эти данные анализу), — обнял бы в одной формуле движения величайших тел вселенной наравне с движениями мельчайших атомов. Не осталось бы ничего, что было бы для него недостоверно, и будущее так же, как и прошедшее, предстало бы перед его взором».

Члена французской Академии, когда он предсказывает будущее, не смущает сложность психических явлений, мотивов человеческих поступков: он ведь уверен, что всякое сложное — в конце концов сумма простых. И если бы хватило технических средств на сооружение лапласова «сверхума» (о кибернетике еще не говорили), то разве укрылось бы «перед его взором», что осенняя гроза 1796 года ускоряет смертную болезнь русской царицы, что болезнь завершится через 40 дней апоплексическим ударом, что придут новые цари, переменятся подданные, а мальчик, появившийся на свет 28 сентября 1796 года в Санкт-Петербурге в доме Самборского, проживет 10 880 дней до раннего утра 13 июля 1826 года…

По это все фантазии и призраки, являющиеся осенью, в год рождения Сергея Муравьева-Апостола.

Так с небом смертный непрестанно
Борьбу за жизнь вести готов,
А счастье падает нежданно
С высот, как легкий дар богов.

Глава II
Вздор

Почто, мой друг, почто слеза катится?

Радищев

Василий Васильевич Капнист прощается с 1796 годом:

Как дождевая капля в море,
Так в вечность канул прошлый год;
……
Почто ж могучею рукою
Не затворил он тех дверей,
Чрез кои горесть к нам втекает?
Никак: он вход им заграждает,
Оставя Павла у дверей.

Поэт радуется, что «втеканию горести» препятствует с недавних пор новый царь.

В царстве мертвых Екатерина II распекает Безбородку: «Тебе поручены были тайны кабинета, тобой по смерти моей должен был привестьсся важный план нашего Положения, которым определено было: при случае скорой моей кончины возвесть на императорский российский престол внука моего Александра. Сей Акт подписан был мною и участниками нашей тайны. Ты изменник моей доверенности и, не обнародовав его после моей смерти, променял общее и собственное свое благо на пустое титло князя».

Безбородко признает вину: «Павел, находясь в своей Гатчине, еще не прибыл, я собрал Совет. Прочел Акт о возведении на престол внука твоего: те, которые о сем знали, состояли в молчании, а кто впервой о сем услышал, отозвались невозможностью к исполнениям оного; первый, подписавшийся за тобой к оному, митрополит Гавриил подал глас в пользу Павла. Прочие ему последовали: народ, любящий всегда перемену, не постигал ее последствий, узнав о кончине вашей, кричал по улицам, провозглашая Павла императором. Войски твердили тож, я в молчании вышел из совета, болезнуя сердцем о невозможности помочь оному; до приезда Павла написал уверение к народу… Что мог один я предпринять? Народ в жизнь вашу о сем завещании известен не был.

В один час переменить миллионы умов есть дело, свойственное одним только богам».

Если бы мы не знали точно, что сочинение под названием «Разговор в царстве мертвых» (где причудливо сплелись правда и вымысел) распространилось уже в первые годы XIX века, непременно решили бы, что речь идет и о 1825 годе. В самом деле: тайное завещание, передающее престол младшему вместо старшего (в 1796-м — Александру вместо Павла, в 1825-м —

Николаю вместо Константина). В обоих случаях цари, видимо, собирались открыто объявить нового наследника народу, но не успели; секрет известен избранному кругу приближенных и удостоверен митрополитом (в 1796-м — Гавриил, в 1825-м — Филарет); внезапная смерть завещателя, тайный совет (в 1825-м собранный по всем правилам, в 1796-м, очевидно, на скорую руку, может быть, на несколько минут); решение о невозможности переменить наследника, ввиду настроения войск, народа, после чего царем объявляется Павел — в 1796-м и Константин — в 1825-м. Разница в том, что в 1825-м престола не пожелал старший, а в 1796-м — младший. Есть сведения, что, разбирая по приказу Павла бумаги умершей императрицы, Александр и Безбородко нашли завещание в пользу внука и тут же сожгли его. Впрочем, не эту ли бумагу Павел I велел распечатать и по прочтении сжечь тому, кто будет царствовать ровно через сто лет после его кончины (известно, что Николай II в 1901 году исполнил желание прапрадеда). Так или иначе, но Александр в те дни, наверное, не раз благодарил судьбу за то, что бабушкин манифест не был обнародован: отец был бы унижен, Александру, возможно, пришлось бы публично отрекаться, могли бы произойти смута, мятеж… Позже Александр, конечно, начал размышлять, что, если бы послушался бабушку, не было бы несуразного павловского царствования. Но какой жребий лучше? Через четверть века размышления о 1796-м, очевидно, усилят сомнения царя Александра I насчет собственного завещания.

История повторялась, и меж двух ударов маятника поместилась вся жизнь Сергея Муравьева-Апостола.

Вступив на престол, Павел объявляет, что страна истощена и рекрутов распускают по домам.

Но —

> С французом кто два года дрался.
> Чтоб остров Мальта нам достался?

Послу в Берлине приказали объявить Пруссии войну.

Но посол возразил, и войну отменили.

Наследник Павел встретил некогда толпу преступников, и один спародировал священное-писание: «Помяни меня, господи, когда приидешь во царствие твое». Записав имя просившего, Павел-император его освободит; первым же в новое царствование был помилован Новиков, за ним и много других. Радищев в том числе.

Но через 4 года считалось 12 000 новых заключенных.

Блестящую образованность наследника Павла, странствовавшего по Европе, некогда оценил знаменитый Даламбер.

На придворных же балах упаси боже хоть в танце повернуться к императору Павлу тылом; когда же происходило целование руки — обязательно предписывалось громкое чмоканье и сильный удар коленкой об пол. Царь музыкален, отлично играет на балалайке. Споткнувшейся же лошади велит отсчитать 50 сильных ударов «за то, что провинилась перед императором».

«Сам во все входит и скор на резолюции», — похвалит царя Капнист в одном из писем к жене.

Но Павлу в злую минуту доложат, что комедия Капниста «Ябеда», посвященная его величеству, есть насмешка над царствованием, и нежного комедианта — из постели в кибитку, в Сибирь; вечером, однако, погода переменилась, театру велено играть «Ябеду» перед двумя зрителями — Павлом и наследником Александром; актеры ждут, что их пошлют вослед сочинителю, но после первого акта отправлен курьер — Капниста вернуть, поело второго — наградить деньгами и чином… Драматурга догнали за много верст от столицы, а при въезде встречали наградою, что не помешало общему цензурному запрету, «Ябеды».

Еще, еще, еще — милость и варварство или — наоборот…

Крестьянам больше трех дней на барщине не быть.

600 000 душ раздарено.

Всем можно просить обо всем.

Но секретарь регистрирует: «Жалоба возвращена просителю с наддранием, просителя выслать».

На часах у адмиралтейства — пьяный офицер; Павел велит его арестовать, тот отвечает: «Согласно уставу, прежде чем арестовать, вы должны сменить меня с поста». Офицер повышен в чине: «Он пьяный лучше нас трезвых свое дело знает»…

Ночью пальба в петербургской крепости: случай исключительный! Все высыпают на улицу. Дело же в том, что государь заметил пригожую прачку и, полюбив, объяснился путем ареста и доставки арестованной во дворец. В честь обмершей от страха прелестницы назначается салют. Наутро требуется объяснение случившегося для жителей столицы, и бывалые министры срочно велят изготовить печатное известие об очередном успехе воинов Суворова в Италии, где на самом деле русские все время побеждают, и не все ли равно — победой больше или меньше. Царь, находившийся с утра в добром расположении, проект утвердил, за победу были назначены награды, чины и прочее, и только в спешке название места, близ которого случилась битва, взяли не из Италии, а… из Франции.

Так шло это нескучное царствование, и даже поздние историки, боясь чрезвычайного обилия варварских, невероятных, смешных и грязных эпизодов, искали доводов «за», ибо не может быть все плохим; искали и находили как добрые дела, так и довольных людей, «не стыдившихся говорить вслух, что император Павел был предобрейший государь. Изволит наказать, побьет, да сердце его было отходчиво (подлейшее выражение) — побьет да и пожалует» (из записок Александра Михайловича Тургенева, мудрого старца, наблюдавшего за свой век пятерых царей).

А вообще-то говоря, «павловские безобразия» вряд ли были хуже того, что делалось, скажем, при Бироне, лет шестьдесят назад. Отчего же о Павле сказано куда больше негодующих слов? Да оттого, что дворяне за екатерининское время привыкли к вольностям, подзабыли дедовские страхи и уж им не понравилось то, что предки покорно терпели, вообще не предполагая, как можно по-другому существовать.

Карамзин заметит, что «сын Екатерины казнил без вины, награждал без заслуги, отнял стыд у казни, у награды прелесть».

Вот один из документов:

«Господин генерал от кавалерии фон-дер-Пален. По получении сего посадить в крепость прокурора военной коллегии Арсеньева, который обратился ко мне с просьбой о месте обер-прокурора в сенате и который, надо полагать, вольнодумец.

К вам благосклонный *Павел*».

Столь скорому разрушению немалой карьеры, понятно, соответствовали столь же внезапные повышения, милости. Вдруг гибнет взяточник, взлетает наверх добродетельный, и наоборот; каков жребий вытянется (пока не нашелся тип людей, приспособившихся и к этим слепым ударам, после чего взяточник погибал реже, а бессребреник — куда чаще).

Иван Матвеевич Муравьев по доброжелательству фортуны вытянул сразу два счастливых билета. Во-первых, новый царь вспомнил, как воспитатель Муравьев не помешал великому князю Константину поиграть в солдатики. За это — чин действительного статского, то есть генерала. Вторая удача — Ивана Матвеевича отправляют посланником в хороший вольный город Гамбург, с глаз долой, подальше от столицы, где ежедневно можно сделаться министром или колодником.

Новый, 1797 год 26-летний посол встречает с женой и четырьмя чадами на берегу Эльбы…

Государственные деятели были в ту пору довольно молоды: на старцев — Суворова, Кутузова — приходились десятки

сравнительно юных военачальников.

Один из позднейших публицистов заметит, что «в то время не требовалось одного удара паралича для поступления в сенат, а двух — для поступления в Государственный совет». Разумеется, большие войны, европейская политика — все это ускоряло путь наверх; но главная причина — в молодости, жизнеспособности тогдашней дворянской империи. Лучшие, талантливейшие люди — еще вместе с властью, и так будет до 1812–1814 годов. Позже многие из таких служить не пойдут, или будут служить спустя рукава, или займутся частной деятельностью, сядут по деревням…

Пока же 26-летний статский генерал — в одном из самых горячих мест Европы.

«Je déteste le traître de son roi et de sa patrie».

«Я презираю предавшего своего короля и отечество». Это первое из дошедших к нам высказываний Матвея Ивановича Муравьева, которому было тогда лет пять, вдвое больше, чем брату Сергею (при том, кажется, присутствовавшему).

Высказывание это в высшей степени примечательно. Оно адресовано знаменитому генералу французской армии Дюмурье, который незадолго до того изменил революции, объявил о своей верности монархии и бежал к неприятелю. Матюша Муравьев слышит, как старшие говорят, что генерал служит сначала отечеству против короля, потом наоборот; и его уже не волнуют тонкости — что изменить королю и отечеству одновременно очень мудрено и т. п. Когда генерал приходит в дом русского посла и пытается приласкать мальчика, он получает свое.

Но заметим — получает на хорошем французском языке, родном и для этого мальчика, и для Сергея (который, верно, горд тем, как старший брат проучил этого плохого гостя). Но зачем же генерал Дюмурье ходит к Ивану Матвеевичу? А затем, что официально для русского посла он отнюдь не изменник, а герой, и из Петербурга велят намекнуть генералу, что в России его ждет благосклонная встреча: очевидно, блестящие победы, которые одерживал Дюмурье над сегодняшними друзьями, предводительствуя вчерашними, произвели на Павла впечатление. Выполняя это поручение, русский посол приглашает Дюмурье на обед, но старший сын выдает предобеденные разговоры дипломата!

С поручением Иван Муравьев, однако, справился, Дюмурье поехал к Павлу, но они не понравились друг другу.

Матвея же, конечно, за выходку наказали.

Позже он вспоминает о самом себе:

«Пятилетний мальчик в красной куртке был ярый роялист. Эмигранты рассказами своими о бедствиях, претерпенных королем, королевой, королевским семейством и прочими страдальцами, жертвами кровожадных террористов, его сильно смущали. Отец его садится, бывало, за фортепиано и заиграет Марсельезу, а мальчик затопает ногами, расплачется, бежит вон из комнаты, чтоб не слушать ненавистные звуки».

Вот как порою начинались биографии будущих революционеров. Тут очень занимателен Иван Матвеевич, сохранивший циническую веселость екатерининских времен: Дюмурье — друг, но разве не предатель? С марсельезой война, но неплохо сыграть ее, смеясь над слишком фанатичным сыном. События как-то раздваиваются, понятия смешиваются. Дети сочувствуют бежавшему из Франции маркизу де Романс, побочному сыну Людовика XV, но вряд ли он занимал бы их так, если бы в Гамбурге не был обойщиком в рабочей куртке и в фартуке.

Суворов разбивает французов в Италии, Гамбург ликует, женщины заводят головной убор вроде каски с французской надписью: «Vive Souvoroff!» По посол Муравьев и его домашние хорошо знают, как император не любит Суворова. Немало о том расскажет и Михаил Илларионович Кутузов, прожив шесть недель в гамбургском доме Ивана Матвеевича; да и приезжающие из столицы павловские «гатчинцы» как на подбор: один не подозревает, что в Англию нельзя проехать посуху, другой возмущается, что в Гамбурге нет короля, а также съезжей, где можно высечь крепостного. К тому же дети запомнили, как волновался отец, ожидая отставки и даже ссылки: город Гамбург хотел выдать одного беглеца французам на верную гибель — Муравьев взял того под русское покровительство, не спросясь Петербурга (время не терпело). Однако счастливая звезда Ивана Матвеевича еще поднималась; Павел, когда доложили, был в духе: «Господин Муравьев действовал по-божески».

Никак не выстраивался мир, четко разделенный на хороших и плохих. Кого любить? Кого ненавидеть?

«Император просит канцлера Безбородку устроить ему свидание с княгиней Гагариной, на что Безбородко отвечал: „Увольте, Ваше величество, — я и покойной матушке вашей по этой части не служил“. Павел очень рассердился и погнался за Безбородкой с плеткой в руке, но канцлер успел скрыться».

По слухам, этот эпизод (сохранившийся в семейных преданиях графов Милорадовичей) довел старого Безбородку до удара, и начальство Ивана Матвеевича переменилось.

Иностранные дела перешли к способному, двуличному, опасному Ростопчину. Но опять удача: вице-канцлером, то есть вторым человеком в ведомстве иностранных дел, сделали 29-летнего Никиту Петровича Панина, с которым Муравьев в наилучших отношениях. Вскоре Иван Матвеевич со всей фамилией уж занимает посольский дом в датской столице, и поговаривают о переводе с повышением в Россию.

Но хорошо ли? Служить в Петербурге опаснее, чем идти на штыки или против картечи. Посол в Англии Семен Воронцов, приглашенный сначала вместо Безбородки возглавлять иностранные сношения, отпихивался всеми правдами и неправдами и, лишь представив себя почти умирающим, сумел остаться только послом (прожил еще более тридцати лет!).

В 1800 году Муравьевы переехали в Петербург. Матвей Иванович вспомнит, что он в том же году видел Павла I: «Встреча эта особенно запечатлелась в его памяти по случайному обстоятельству. Дело было 16-го ноября 1800 года, в день именин Матвея Ивановича; Анна Семеновна возвращалась в карете со своим сыном от обедни; на Литейной они встретили императора, и им пришлось, согласно с существовавшим тогда правилом, выйти для поклона из кареты, несмотря на сырость и грязь. По возвращению домой оказалось, что маленький Матвей потерял в грязи свой башмак. Матвей Иванович нередко вспоминал этот случай в последние годы своей жизни или в день своих именин, или когда заходил разговор о погоде, о поздней или ранней зиме».

Удивительно похожие истории случались тогда с маленькими мальчиками. «Царь… велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку». Мальчику в картузе — Александру Сергеевичу Пушкину — едва исполнился год.

С Муравьевых же взималась «плата за вход». Ивану Матвеевичу, действительному статскому советнику, полномочному посланнику в Гамбурге и Копенгагене, трудно было представить Анну Семеновну и детей, со страхом выпрыгивающих в ноябрьскую грязь. Однако тайному советнику и члену коллегии иностранных дел Ивану Муравьеву должно радоваться, что государь не вступил, как это иногда случалось, в получасовую беседу с дамой, присевшей в луже, или с мальчиком без башмака; одна знатная барышня после такого времяпрепровождения быстро скончалась…

Грустные предчувствия тайного советника рассеивает семья, небольшой круг верных собеседников и наивная вера в еще не изменившую фортуну.

Тацит: «Я приступаю к рассказу о временах, исполненных несчастий, изобилующих жестокими битвами, смутами и распрями, о временах, диких и неистовых даже в мирную пору… Время это, однако, не совсем было лишено людей добродетельных. Были матери, которые сопровождали детей, вынужденных бежать из Рима; жены, следовавшие в изгнание за своими мужьями; друзья и близкие, не отступившиеся от опальных; зятья, сохранившие верность попавшему в беду тестю; рабы, чью преданность не могли сломить и пытки; мужи, достойно сносившие несчастья, стойко встречавшие смерть и уходившие из жизни как прославленные герои древности».

«Господин Панин верит правилам чести и здравой политики… Он на первых же порах заявил себя таким, каков он есть, то есть неспособным сгибаться и оберегать свое положение… Он старался делать при случае добро, или — что бывало всего чаще — чтобы ослабить зло». Иван Муравьев пишет в Лондон послу Семену Воронцову, по всей видимости употребляя симпатические чернила. Так же писал Воронцову и Панин: дата, поставленная не в начале, а в конце послания, обозначала, что главное написано «между строк».

Однажды вечером Панину, который вышел из своего дома один, показалось, что за ним следует шпион. Чтобы избавиться от него, Панин вошел в какой-то подвал, слабо освещенный светом немногих ламп, вдруг он чувствует на своем плече чью-то руку, думает, что арестован, но неожиданно узнает великого князя Александра.

Этот эпизод запомнил саксонский посланник со слов самого Панина. Почти сто лет спустя историк Брикнер спрашивал о нем внуков и правнуков вице-канцлера: «По устному преданию, сохранившемуся в семье Паниных, граф Панин, думая, что его преследует шпион, вдруг обернулся и только тогда узнал великого князя, когда последний смертельно испугался его движения, производившего такое впечатление, будто граф вынимает шпагу.

Говорят, что Панин, рассказывая об этом эпизоде, склонен был предполагать, что возникшая впоследствии неприязнь Александра к нему быть может основана была на тяжелом впечатлении, оставленном этой сценой».

В дворцовых подземных переходах, чаще в бане Панин уговаривал наследника Александра, что покойная его бабушка была права и Павлу не надо царствовать. Сложными, косвенными путями мы восстанавливаем, о чем говорилось. Александр требовал, чтобы отец оставался цел и невредим. Панин отвечал,

что для его проекта тоже необходимо, чтобы Павла не убивали: изолировать, объявить стране, что государь болен, и регент — Александр. Для регентского же правления требуются твердые правила, которыми оно регулируется. Но такие правила, в сущности, являются конституцией! Юный Александр столько раз говорил о своем уважении к английской, швейцарской, шведской и другим надежным формам государственного устройства… Итак, Панин первый решился произнести слова «заговор», «регентство» и прочее. Вскоре в тайну посвящается еще несколько важных персон. Иван Матвеевич? Кажется, знал, потому что был очень близок к Панину…

Царь отзывается однажды о Панине: «Он римлянин, я его знаю; милость или немилость моя не слишком на него действуют». Отзыв лестный — римские добродетели уважаются. Но к тем патрициям, которым была безразлична милость или немилость повелителя, вскоре обычно являлся центурион, вестник смерти, изредка — изгнания. Панин не стал подписывать один бессмысленный документ, присланный Павлом; Иван Матвеевич едва удержал своего шефа от резкого ответа императору. Вскоре Панин получает приказ об отставке, но не может отменить назначенного накануне обеда с иностранными послами.

«Это ему все равно, он римлянин, — повторил Павел, — он не задумался даже угощать обедом в самый день своей отставки». Через три дня из Петербурга был выдворен единственный участник заговора, действительно хотевший сохранить жизнь Павлу. Дело перешло в руки генерала Палена, любившего повторять, что «яичницу не поджарить, не разбив яиц».

Люди Папина отныне — под большим подозрением.

«Я расстроен, — жалуется Муравьев, — лишившись единственного человека, который привлекал меня к службе. Я некоторым образом лишился способности размышлять, и потому неудивительно, что не умею выражаться».

В этом же «симпатическом» письме, ушедшем в Лондон к Воронцову, Иван Матвеевич рассказывает, что изгнанный из Москвы Панин-поблагодарил тетку за благодеяния, которые она ему оказывает. Послание к тетке скопировали для Павла, который решил: «тетка» — зашифрованное слово «царь», а благодеяния — преследования. Тут великий интриган Ростопчин поднес царю выдержку из другого письма, где говорилось, что Панин — «милый Цинциннат». Опять — римская тема! Цинциннат — воин, государственный деятель, который удаляется от власти, чтобы заниматься хозяйством, но возвращается, когда стране грозит неприятель, и, победив, уходит снова. Павла убедили, будто это

сам опальный министр намекает, что без него никак не обойдутся… Невзирая на 23 века, разделявшие того и другого Цинцинната, последнего высылают из Москвы и запирают в деревне. Однако Иван Муравьев показал себя тут верным другом. Был найден автор письма, близкий к Панину чиновник Приклонский, которого сумели доставить ко двору, и он объяснил царю, что к чему. Если бы Ростопчин взял верх в этой интриге, Муравьев бы погиб. Но царь, поняв, что римское имя упомянул в письме вовсе не Панин, с треском и позором выгнал графа Федора Ростопчина со всех должностей, так что в коллегии иностранных дел не осталось ни первого, ни второго. Муравьев служит «без начальства», и неизвестно, что бы еще с ним произошло, если бы не начался март 1801 года.

«Когда составлялся заговор, Иван Матвеевич тоже получил было от кого-то из заговорщиков приглашение принять в нем участие и отказался».

Так представляли дело дети Ивана Матвеевича. Но мы усомнимся. Судя по воспоминаниям Матвея Ивановича, он позже узнал подробности заговора от разных свидетелей, но меньше всего — от родителей; отец, видно, от этой темы уклонялся и знал куда больше, чем поведал детям.

Возможно, он и в самом деле не захотел участвовать в финале заговора, так как в столице отсутствовал его шеф и покровитель Никита Панин. Но, заметим, Иван Матвеевич не отрицает, что о заговоре знал. Да кто же не знал? Сотни людей в гвардии, государственных учреждениях слышали или догадывались (точно так будет и в 1825 году!). Приятель Муравьева, будущий сосед по полтавским имениям сенатор Трощинский, — тот самый, который прежде боялся, «что скажет Зубов» — уже набросал «панинский» манифест: государь по болезни берет в соправители великого князя Александра. По-видимому, именно эту бумагу заговорщики предложат подписать Павлу за несколько минут до удушения…

«На тот свет идтить — не котомки шить», — последняя историческая фраза Павла I (не считая препирательств с ворвавшимися убийцами). Царь закончил ею свою беседу с генералом Кутузовым вечером 11 марта 1801 года. Беседа была о смерти. Павел предчувствовал. Кутузов знал. После разговора царь отправился к себе — «на тот свет идтить», а Кутузов пошел играть в карты с генералом Кологривовым, который сохранял верность императору. Ночью, посреди партии, Кутузов открыл часы, понял, что дело сделано, и объявил Кологривова арестованным.

Когда ночью во дворце начался шум, один «гатчинский пьяница», капитан Михайлов, вывел солдат из караульни. Поднявшись по парадной лестнице, он увидел графа Николая Зубова, крикнувшего: «Капитанина, куда лезешь?» — «Спасать государя», — ответил Михайлов. Граф дал ему пощечину и скомандовал: «Направо кругом!» Михайлов повиновался.

Капитанина мог бы вдруг изменить ход событий — и заговорщиков хватают, Павел сажает в крепость наследника Александра; и был бы *совсем не тот* 1801-й, а может, и еще ряд совсем не тех лет… Но удача не оставила заговорщиков, она просто преследовала их. Нужные люди явились в нужное время и место; дверь, через которую Павел мог бы ускользнуть, он сам же велел забить; войска, способные его защитить, остались на местах…

Екатерина II посылает из царства мертвых семь смертей, но ни одна не может подобраться к Павлу. Наконец является «белая смерть необычайного росту», которая приводит Павла на офицерском шарфе… «Екатерина отдает Павла Фридриху II Прусскому погонщиком лошадей — в суконном колпаке, за поясом кнут. Суворов, видя это, кричит: „Помилуй бог, как хорошо!“»

Так заканчивается упомянутый «Разговор в царство мертвых». Рослая белая смерть — Николай Зубов, который остановил «капитанину». Офицерский шарф — одно из орудий убийства, вместе с табакеркой, которой царя били в висок… Кажется, сами заговорщики не сумели бы сказать точно, кто нанес последний удар: в темноте били, душили, «стоявшие сзади напирали на передних, многие, стоявшие ближе, таким образом повалились на борющихся».

Матвей Муравьев (о себе в третьем лице): «12 марта 1801 года утром, после чаю, он подошел к окну и вдруг спрашивает у своей матери: — „Разве сегодня пасха?“ — „Нет, что ты?“ — „Да что же вон солдаты на улице христосуются?“

Оказалось, солдаты поздравляли друг друга с воцарением Александра I».

Державин сочинил стихи с намеком:

> Умолк рев Норда сиповатый,
> Закрылся грозный страшный взгляд…

Управляющий цензурой согласился пропустить эти стихи в печать только в том случае, если рядом с ними будут помещены другие, недавние, стихи Державина, восторженно воспевавшие Павла.

«Матвей Иванович был с матерью на поклонении праху покойного императора. Он помнил, что гроб был поставлен очень высоко, так что лица никто не видел».

Говорили, что реставратор, вызванный для приведения тела в более или менее пристойный вид, сошел с ума…

Хочется услышать, но почти не слышно разговора восьмилетнего Матвея с пятилетним Сергеем: царь Павел был зол и плох, папенька боялся, но и убийцы ужасны, но и Александр хорош… Сын ходил ко гробу с матерью, а не с отцом. Потому, наверное, что Иван Матвеевич — государственный человек — нужен во дворце. Новый царь, слишком обязанный отцеубийцам, радостно выискивает вокруг себя тех, кто непосредственно не участвовал в заговоре. Не участвовал Иван Муравьев — давний «кавалер», у которого сохранилась пачка писем наследника: опять — «счастливчик Муравьев»; поскольку же один из первых указов Александра разрешал унаследовать фамилию Апостол — счастливчик Муравьев-Апостол. «Мы спросили об NN, которого с жаром защищал Апостол его Муравьев» — такие шуточки в те дни начинаются и еще не скоро прекратятся.

Иван Муравьев-Апостол — Семену Воронцову в Лондон: С. Петербург (6)18 апреля 1801 г.

«Имев честь писать к вашему сиятельству в те дни, когда я чувствовал потребность поделиться моею скорбью и сокрушением, берусь за перо и теперь, когда совершенно другие чувства наполняют мою душу и в избытке радости хочу поздравить вас с общим благоденствием Отечества…

Я бы хотел передать вам точное понятие о благополучии, которым все теперь пользуются в России, но эта задача слишком превышает мои силы. Итак, попытаюсь сообщить вам некоторые черты, из которых нельзя составить полного изображения, но по которым вы можете заключить о картине общественного счастия и радости.

По воцарении, одним из первых действий нашего ангела, нашего обожаемого государя, было освобождение невинных жертв, которые целыми тысячами стонали в заточении, сами не зная, за что они были лишены свободы. Замечательнейшим из этих государственных узников был Иловайский, казацкий атаман, тот самый, которого отличала Екатерина II. Я был свидетелем, как этот почтенный старец в первый раз выглянул на свет божий после трехлетнего заключения. Имя божие мешалось в его устах с именем Александра; он просил, чтобы ему дали взглянуть на сына. Сын был уже в его объятиях, но он не мог его распознать: до такой степени горе обезобразило этого замечательного молодого

человека, который также в течение трех лет сидел в тюрьме, не подозревая, что только одна стена отделяла его от того каземата, где томился несчастный его отец. Вообразите себе, что подобных сцен, какая произошла с Иловайским, насчитывалось до 15 тысяч по всему пространству России, и ваше сиятельство составите себе понятие, что такое воцарение Александра.

Вот несколько подлинных анекдотов, его (Александра) изображающих.

Он запретил через полицию выходить из экипажей при встрече с ним. Один офицер, желая поближе взглянуть на него, нарушил это распоряжение. Государь приблизился к нему и сказал: „Я вас просил не выходить из экипажа“.

Фраки и круглые шляпы появились с первых же дней нового царствования. Военный губернатор, в видах охранения военной выправки, вошел к государю с докладом, не прикажет ли сделать распоряжение относительно одежды офицеров. „Ах, боже мой! — отвечал государь. — Пусть их ходят как хотят, мне еще легче будет распознать порядочного человека от дряни“.

Г-н Трощинский представил к подписанию милостивый манифест, начинавшийся известными словами: „По сродному нам к верноподданным нашим милосердию“, и пр. Император зачеркнул эти слова, сказав: „Пусть народ это думает и говорит, а не нам этим хвастаться“.

Другой раз тот же Трощинский принес указ Сенату с обыкновенным началом: „Указ нашему Сенату“. — „Как, — сказал с удивлением государь, — нашему Сенату! Сенат есть священное хранилище законов; он учрежден, чтобы нас просвещать. Сенат не наш: он Сенат империи“. И с этого времени стали писать в заглавии: „Указ Правительствующему Сенату“.

Г-н Ламб, заведующий военною частью, возражая однажды против какого-то распоряжения, сказал: „Извините меня, государь, если я скажу, что это дело не так“… „Ах, мой друг, — сказал император, обняв его, — пожалуй, говори мне чаще *не так.* А то ведь нас балуют“.

Я бы не кончил, если бы стал записывать вам подобного рода анекдоты нынешнего восхитительного царствования…

Граф Панин, работая с государем в его кабинете, с каждым днем все более удивляется его мудрости, рассудительности, необыкновенной толковитости. Ваше сиятельство будете довольны, узнав, что этот почтенный человек пользуется у государя уважением и доверенностью, которые столь соответствуют его заслугам…»

Прекрасное письмо, идиллическое письмо. Ничто больше не угрожает счастью отечества и новым успехам члена коллегии

иностранных дел. Трудно догадаться и, кажется, сам Иван Матвеевич еще не понимает, что в письме своем коснулся по крайней мере двух опасных, зловещих механизмов, которые уже пришли в движение.

Фразы: «Сенат не наш», «Говорите мне чаще не так» — заключают в себе, между прочим, следующую мысль: столь добрый и хороший государь лучше, чем парламент, конституция и прочее. По крайней мере, не надо торопиться. Может быть, когда-нибудь…

В первые дни после переворота были, кажется, важные разговоры о конституции. Пален и другие напомнили Александру про его старые планы — ограничить самодержавие, чтобы не было больше Павлов. Говорили, будто командир Преображенского полка Талызин убедил молодого царя ни за что не соглашаться на эти уговоры, за что вскоре и поплатился жизнью…

Как бы то ни было, принимать конституцию из рук заговорщиков царь не хотел; скорее уж — разогнать их из столицы под разными предлогами и затем, не торопясь, заняться этим вопросом. Когда возвращается из ссылки Никита Панин, Александр обнимает его и произносит со слезами: «Увы, события повернулись не так, как мы предполагали». То есть хотели ареста Павла, регентства, и тогда имел бы смысл «устав», конституция…

Тут был фактически произнесен приговор тем, кто по инерции и сейчас желает *устава*… Их дела неважные, они неприятны.

Но внешне все благопристойно; Александр милостив к Панину и его друзьям, Никита Петрович летом 1801 года — во главе русской дипломатии. Однако, делясь этим радостным известием с общим другом Воронцовым, Иван Матвеевич не догадывается, что льет кислоту на рану. Пока Павел I грозил всем, Панин и лондонский посол — друзья по несчастью и обмениваются «невидимыми» письмами. Но после грозы Воронцов ревнует, не хочет подчиняться ни Панину, ни его людям — чует издали, что царь ждет повода их отдалить, и конечно же повод найдется…

Летом 1801 года Иван Муравьев-Апостол, «в жару, по пескам, преодолевая апатию прусских почтальонов», мчится в Вену, затем в Берлин с посланиями императора и его матери к австрийскому и прусскому двору. В письмах сообщается о происшедших в стране переменах и начале нового царствования. Навстречу все время попадаются кареты дворянских семейств, возвращающихся на родину из «павловских бегов». Своему начальнику, Панину, Иван Матвеевич регулярно посылает донесения, в том числе одно

— невидимыми чернилами, что «первый консул (то есть Бонапарт) теряет в Париже влияние и вот-вот будет свергнут». Торопится Иван Матвеевич… Однако в Вене, оказывается, легче узнать петербургские тайны, чем европейские, и 23 августа Панину отправляется «частное и совершенно секретное» послание через посредство вернейшего курьера (того самого чиновника Приклонского, который полгода назад раскрыл истину с «милым Цинциннатом»). Муравьев-Апостол предупреждает шефа, что против него — обширный заговор, надеется, что «интрига бессильна при ангельском характере нашего государя», но беспокоится, и это беспокойство открывает нам лучшие свойства Ивана Матвеевича. Ведь, к сожалению, почти весь его архив пропал, бумаги детей были сожжены после 14 декабря, по дипломатическим же депешам человека почти не видно, и поэтому особенно ценно, когда сквозь мглу, обволакивающую историю семьи Муравьевых, проскальзывают живые черты и эпизоды.

«Я знаю Вас, — пишет Муравьев-Апостол Панину. — Вы способны противиться урагану, ненастью. Но способны ли Вы перенести низкие интриги? Сильный безупречной совестью, целиком преданный делу, верный подданный и пламенный радетель за благо отечества, Вы всегда пойдете прямо к цели, с поднятой головой, пренебрегая или презирая те маленькие предосторожности, без которых невозможно долго шагать по скользкому паркету царских дворцов».

Про Ивана Матвеевича враги говорят, что он «преданная Панину душа»: «Я не сержусь на это определение, но они добавляют, что я ваше создание, и это меня сердит, так как я не являюсь чьим-либо созданием, кроме создателя».

В конце письма: «Дорогой и восхитительный Цинциннатус! Не отказывайтесь от услуги, которую я Вам делаю, и знайте, что Ваше несогласие будет для меня немалым огорчением».

Письмо не помогло. Муравьев видел только часть интриги. Он не мог даже вообразить, что в это самое время Семен Воронцов, получив панинское «невидимое» письмо, перешлет его Александру I, а в том письме — нелестные слова о характере и способностях молодого императора.

Осенью 1801-го Панин подает в отставку; вскоре ему запрещают въезд в столицы, берут под надзор, и опала эта продлится дольше всех других — 36 лет, до самой смерти этого деятеля в 1837 году. Многое здесь таинственно, предательство Воронцова — скорее повод; причина, видимо, в неприятных царю воспоминаниях о потаенных беседах в дворцовых подземельях, бане, где было произнесено и повторено — «конституция»,

«регентство».

Царю не доложили, насколько Иван Матвеевич был посвящен в предысторию 11 марта, но кому же не видна столь близкая его дружба с Паниным?

Правда, мы ничего не знаем о продолжении той дружбы. Поздних писем Ивана Матвеевича в обширном панинском архиве нет. Если отношения прервались, то по чьей инициативе? Неужели Иван Матвеевич для карьеры избегает человека, которому так предан? Но никто никогда его в том не обвинял…

Пока же Муравьев-Апостол и сам не знает, не началась ли его опала? Как и в начале прежнего царствования, нужно ехать, чтобы представлять Россию в иностранной столице.

Вся семья — Анна Семеновна, четыре девочки и два мальчика — отправляется за отцом в Мадрид, через Европу, где все громче звучит имя первого консула Французской республики.

«Сергей Муравьев-Апостол… ростом был не очень велик, но довольно толст; чертами лица и в особенности в профиль он так походил на Наполеона I, что этот последний, увидев его раз в Париже в политехнической школе, где он воспитывался, сказал одному из приближенных: „Кто скажет, что это не мой сын!“» (из воспоминаний Софьи Капнист, доброй знакомой и соседки Муравьевых).

Наполеон рос быстрее, чем дети. Когда родился Матвей, он был еще простым артиллерийским офицером. При появлении Сергея — уже генерал, главнокомандующий в Италии. Пока жили в Гамбурге — повоевал в Египте и сделался первым консулом во Франции. Стоило мальчикам оказаться в Париже — и они попадают на коронацию императора Наполеона I.

И опять — двойной счет, от которого никак не убежать… Отец находит, что Мадрид — захолустье, где детей по-настоящему «не образовать», и жену с детьми через Пиренеи отправляет в лучшие парижские пансионы. Уже в Париже появляется на свет седьмое дитя — Ипполит, с которым отец не скоро познакомится. Сам остается в Мадриде, где успешно настраивает испанского короля и министров против Наполеона. Бороться с Францией для Ивана Матвеевича — старая привычка.

Итак, Наполеон — враг, узурпатор, вскоре начнется с ним новая война, и русско-австрийская армия проиграет Аустерлицкое сражение… «Никогда не забуду, — вспоминает Иван Матвеевич, — что в то самое время, как только начинал составляться новый двор *Царю-Тигру* (тогда еще под названием первого консула), случилось мне повстречаться с Касти, сочинителем поэмы „Говорящие животные“, с которым я был

довольно коротко знаком. „Животные заговорили!“— сказал я ему, а он мне в ответ: „И сколько животных, чтобы служить одному!“»

Анна Семеновна — Ивану Матвеевичу. Из Парижа в Москву. Письмо № 65:

«Дорогой друг… Катерина Федоровна Муравьева упрекает меня за то, что остаюсь за границей, и пишет, что в Москве учителя не хуже, чем в Париже, и что скоро все поверят, будто ты сам не хочешь нашего возвращения, и таким образом я невольно повредю твоей репутации. Однако разве не ясно, что я здесь не по своей воле? Меня связывают большие долги, обучение детей, пансион, больные ноги Матвея…»

Архив Октябрьской революции в Москве на Пироговской улице. Первые листки в толстой пачке из 56 писем, регулярно, с порядковым номером, отправлявшихся из Парижа в Москву, — чудом уцелевшая и неизучавшаяся часть архива Ивана Матвеевича… Номер на письмах ставился для того, чтобы адресат знал, сколько посланий затерялось по дороге, и кажется, доходило одно письмо из четырех (после № 65 сохранилось № 69, потом — № 73): война между Францией и Россией, пожалуй, не самое благоприятное условие для бесперебойной почтовой связи между этими державами… Те же самые обстоятельства, что тормозили переписку, переместили, как видим, Ивана Матвеевича из Мадрида на родину. Наполеон слишком грозен и победоносен, чтобы испанский двор смел интриговать против него. Франции не нравится активный русский посол за Пиренеями — Ивану Матвеевичу приходится уехать; он выполнил долг, в Петербурге должны одобрять его дипломатию; возвращаясь, он, кажется, ждет наград, повышения. И вот старший Муравьев-Апостол в Москве, на Никитской. Катерина Федоровна Муравьева выговаривает Ивану Матвеевичу и пишет в Париж его супруге, что негоже обучать детей на вражеской территории, а сыновьям хозяйки, десятилетнему Никите и четырехлетнему Александру, очень любопытно, как там поживают в бонапартовом логове троюродные братья Матюша, Сережа и девочки…

Нас тоже очень интересует Анна Семеновна Муравьева-Апостол и семеро ее детей, пачка же старинных писем на французском языке из Архива Октябрьской революции вполне способна удовлетворить любопытство…

Прочитав писем десять, привыкаем к их ритму, структуре и уж уверены, что 11-е, 25-е, 50-е послание начнется, скорее всего, с упреков рассеянному и ленивому Ивану Матвеевичу — редко пишет, на вопросы не отвечает, номеров на письмах не

выставляет… Затем неизменная вторая часть всякого письма: денег нет, долги растут — что делать? Наконец — дети. Странно и даже страшновато читать милые подробности, смешные эпизоды, материнские опасения — а мы уже все наперед знаем, какими станут, что испытают, сколько проживут.

Письма из далеких старых лет — из первых томов «Войны и мира»…

О трех младших Анна Семеновна пишет маловато, уверенная, что отца пока что они не очень интересуют.

Крохотный Ипполит… У этого — особые права: самый юный, незнакомый отцу, но все же сын — третий продолжатель фамилии.

«Ипполит единственный из всех нас, кто делает все, что хочет», «Ипполит начинает интересоваться своим пап***а***».

Анна Семеновна энергично, твердо, разумно управляет маленьким шумным государством (только изредка намекает на собственные болезни — «кровь горлом», — не думая и не гадая, что стоит на пороге смерти, и вспомнив о ней только однажды: «Если я увижу детей несчастными, то умру от горя!»).

Едва ли не в каждом письме отдается должное ее первой помощнице во всех делах, почти что второй матери для малышей, старшей дочери — Лизе (или Элизе).

Анна Семеновна однажды замечает, что «Элиза вообще самая необыкновенная девушка, которую она когда-либо знала»; в ту пору, пожалуй, только одну особу находили красивее Лизы Муравьевой-Апостол — Екатерину Муравьеву-Апостол, вторую дочь, которую мать ценит как личность не столь высоко, но «хороша так, что дальше уж некуда, и где ни появляется, все восхищаются». Между двумя красавицами и тремя малышами — двое мальчиков, которые большей частью находятся вне дома. 10 августа 1806 года, через 9 месяцев после Аустерлица и за 10 месяцев до Тильзита, сквозь воюющие армии, прорывается письмецо № 79: «Сегодня большой день, мальчики возвращаются в пансион», — то есть кончились каникулы. В связи с таким событием сыновьям разрешено самим написать отцу, и перед нами самые ранние из писем Матвея и Сергея, — конечно, по-французски.

13-летний Матвей: «Дорогой папа, сегодня я возвращаюсь. Я очень огорчен тем, что не получил награды, но я надеюсь, что награда будет возвращена в течение этого полугодия. Мама давала обед моему профессору, который обещал ей хорошенько за мной смотреть».

Чуть ниже корявый почерк десятилетнего Сергея: «Дорогой папа, я обнимаю тебя от глубины души. Я бы хотел иметь

маленькое письмецо от тебя (к этому месту примечание матери: „Того же требует Матвей“). Ты еще мне никогда не писал. В этом году я иду на третий курс вместе с братом. Я обещал тебе хорошо работать. До свидания, дорогой папа, я тебя обнимаю от всего сердца». Подпись «Serge».

Младший тремя годами Сергей, как видно, по успехам догоняет старшего…

В парижские годы происходят постепенные перемены в старшинстве: Сергей, впервые обогнавший брата, незаметно становится «лидером», чье превосходство все более признает добродушный, склонный к сердечной меланхолии Матвей.

Пансионат господина Хикса — заведение первоклассное и весьма независимое.

Дети переходят из класса в класс под гром наполеоновских побед.

Двойной счет: «Наполеон — изверг»

«Мы все Глядим в Наполеоны…»

Замечают, что Сергей Муравьев похож на Наполеона, Пестель похож на Наполеона, пушкинский Германн «профилем напоминал Наполеона». Но — странное дело — никто не найдет, будто Муравьев похож на Пестеля.

Время было такое, что Наполеона искали в лицах и характерах — и конечно же находили! Может быть, даже в мирном, трезвом человеке Наполеон тогда рождал невольное восхищение: каждый мечтает одолеть судьбу, подчинить обстоятельства — свою скромную судьбу, свои обыкновенные обстоятельства. Но нет, не выходит… Грустно и скучно! И вдруг обыкновенный артиллерийский офицер, вроде бы одолевший, подчинивший миры, армии, стихии. Значит, можно надеяться, мечтать всякому… Но когда один из учеников господина Хикса задевает насмешкою Россию, Сергей кидается в бой, и враг отступает. Директор, как может, сглаживает противоречия: знатные русские ученики, дети известного дипломата, поднимают репутацию заведения, не говоря уже о 3500 ливрах (около полутора тысяч рублей) — годовой плате за двоих мальчиков.

Будто с другой планеты, от одного из Муравьевых приходит весть, которую жена пересказывает мужу по-русски: «Старики не припомнят такого недостатку». Парижские долги растут, Анна Семеновна выдает векселя десяткам людей, даже слугам, и взывает к мужу: «Мой дорогой, продай пожалуйста земли и пришли поскорее денег». Между тем подарок кузена Апостола — полтавская деревня Бакумовка и 500 душ — почти растрачен…

Заканчивая послание, жена пишет Ивану Матвеевичу: «Кажется, мой друг, наше счастье минуло». Больше по почте ни слова о самом главном семейном событии — *опале…*

«Когда составлялся заговор, Иван Матвеевич… отказался: потом участники заговора сумели восстановить Александра I против Ивана Матвеевича, который так никогда и не пользовался его милостью».

Так рассказывал Матвей Муравьев. А вот запись Александра Сергеевича Пушкина:

«Дмитриев предлагал имп. Александру Муравьева в сенаторы. Царь отказал начисто и, помолчав, объяснил на то причину. Он был в заговоре Палена. Пален заставил Муравьева писать конституцию, а между тем произошло дело 11 марта. Муравьев хвастался впоследствии времени, что он будто бы не иначе соглашался на революцию, как с тем, чтобы наследник подписал хартию. Вздор. — План был начертан Рибасом и Паниным. Первый отстал, раскаясь и будучи осыпан милостями Павла. — Падение Панина произошло от того, что он сказал что всё произошло по его плану. Слова сии были доведены до государыни Марии Федоровны — и Панин был удален. (Слышал от Дмитриева)».

Эта запись (сделанная Пушкиным, скорее всего, осенью 1834-го) до сих пор отчасти таинственна. До истины нелегко доискаться даже такому важному человеку, как поэт Иван Иванович Дмитриев (при Павле — обер-прокурор Сената, при Александре I — министр юстиции). Его память, к которой нередко обращался Пушкин, занимаясь потаенной русской историей, была точна. Начало эпизода до слова «вздор», кажется, довольно верное воспроизведение разговора Дмитриева с царем, происходившего между 1810 и 1812 годами. Именно в это время министр юстиции много занимался составом Сената; позже царь уехал на войну, Дмитриев попал в немилость, в 1814-м попросился в отставку и почти безвыездно жил в Москве.

Итак, Александру донесли, что Муравьев «хвастался». «Вздор!».

Это кто говорит — Пушкин или Дмитриев? Скорее всего, Дмитриев, потому что пушкинское пояснение — «слышал от Дмитриева» — относится ко всему эпизоду. «Вздор», — говорит Дмитриев, и, вероятно, соглашается Пушкин. Дмитриев и Пушкин знают, что царь говорит вздор, потому что план заговора (регентство, конституция) принадлежит Панину и Рибасу.

Насчет адмирала Рибаса точно известно, что он был одним из первых заговорщиков, по умер еще в декабре 1800 года.

Непонятно только, когда успел раскаяться? Впрочем, Дмитриев мог знать и нечто нам неведомое. И все же — как странно: смысл воспоминания Дмитриева в том, что не Пален с Муравьевым, а Панин все придумал. Но ведь Иван Матвеевич был с Паниным заодно, «преданная душа». Естественно было бы услышать царское негодование по поводу сговора «Панин — Муравьев»… Но Дмитриев настаивает: «Вздор!» — не Пален — Муравьев, а Панин — Рибас. Как быть? Других сведений, отвергающих или дополняющих это воспоминание, нет; Дмитриев очень много знает…

Возможно, все-таки Иван Муравьев в конце 1800-го и начале 1801-го работал с другим лидером заговора, Паленом (кстати, у Палена, несомненно, тоже была идея — ввести «хартию»…).

Иван Матвеевич виноват кругом: не хотел переворота без конституции, и, кроме того, «хвастался»…

В пушкинской записи угадываются два разговора Дмитриева с Иваном Матвеевичем: после первого Дмитриев ходатайствует, царь отказывает. Дмитриев сообщает об отказе Ивану Муравьеву, тот говорит: «Вздор» — и объясняет события по-своему.

Тут пора остановиться. Фактов нет. Приехав в Россию, Иван Матвеевич встречает холодный прием и уходит в отставку. Детям, как мы знаем, он мало рассказывал про свои тайны 1800–1801 годов. Так ли уж необъяснима была для него высочайшая немилость? Да одно то, что незадолго до этой опалы прежнему другу и покровителю Панину запрещен въезд в столицы, уже многое объясняет. Нет, Иван Матвеевич знал, в чем дело, и однажды кое-что даже занес на бумагу. Это было вскоре после неудачного разговора Дмитриева с государем… Престарелый Гаврила Романович Державин, прочитав в журнале умные и дельные рассуждения Ивана Матвеевича, написал ему, что удивлен, почему такой человек не находится на государственной службе. Ответ Ивана Матвеевича, хотя и написанный в 1814-м, содержит целую исповедь, касающуюся прежних лет. Чтобы стали понятны главные события и разговоры в семье Муравьевых, исповедь должна быть приведена полностью:

«Если бы в течение бурной политической жизни моей несправедливости, самые чувствительные для сердца, не излечили меня навсегда от замашек излишнего самолюбия, то письмо вашего высокопревосходительства могло бы мне вскружить голову: но я научен в великом училище злополучия, и плод сего испытания состоит, смею сказать, в том, что могу устоять даже противу похвал Державина.

Я родился с пламенной любовию к отечеству; воспитание еще возвысило во мне сие благородное чувство, единое достойное

быть страстию души сильной; и 44 года не уменьшило его ни на одну искру; как в двадцать лет я был, так точно и теперь, готов, как Курций, броситься в пропасть, как Фабий обречь себя на смерть: но отечество не призывает меня; итак безвестность, скромные семейственные добродетели — вот удел мой. Я и в нем не вовсе буду бесполезным отечеству: выращу детей, достойных быть русскими, достойных умереть за Россию. — Благодарю Всевышнего! Как золото в горниле, так душа моя очистилась несчастием: прежде могло ослеплять меня честолюбие, теперь же любовь моя к отечеству чем бескорыстнее, тем чище; пылает — не ожидая ни наград, ни даже признательности.

Честолюбие — ненавистный призрак! Он помрачил свет дней моих. — Первые следы мои на его поприще усыпаны были цветами, последние — тернием. Я многим показался любимцем счастия, и гнусная клевета омрачила полдень жизни моей. С тех пор протекло восемь лет; недавно еще раны сердца моего совсем закрылись; я отдохнул; и теперь честолюбие представляется мне, как тяжкий сон, от которого просыпаясь, душою веселюсь, что снова ощущаю жизнь и сладость бытия.

Вот, почтеннейший Гаврила Романович, ответ мой на столь лестное для меня ваше разумение. Людей ищут — говорите вы — меня искать не будут: я это знаю. Рука, которую и несправедливую против меня я лобызаю, отвела меня навсегда от пути служения: повинуюсь и не ропщу. Несносно мне одно только — ложное, несправедливое обо мне заключение; если бы не оно, я почел бы себя счастливейшим человеком на свете. Однако же и это хорошо. Вы знаете, что древние добровольно лишались чего-нибудь для себя драгоценного, когда думали о себе, что они счастливее, нежели обыкновенно суждено быть смертному; я находился бы точно в сем положении, если бы несправедливость иногда не возмущала во мне спокойствия духа — и вот жертва моя богине Немезиде.

Письмо ваше я сохраню, как драгоценнейший для себя памятник. Когда меня не будет на земле, когда память о мне едва останется в роде моем, тогда письмо ваше, попавшись в руки которому-нибудь из моих внучат, заставит его с душевной гордостью сказать: предок мой достоин был служить отечеству: так думал о нем Державин».

Сказанное, недосказанное, даже невысказанное в этом письме, самый стиль его (Державин подчеркнуто писал по-русски, Иван Матвеевич также и отвечал) позволяют кое-что понять, угадать.

«Любимец счастья», призраки честолюбия, поприще, усыпанное цветами, — и так до 35 лет. Затем — крушение и

муки; муки жестокие — восемь лет «раны сердца» не закрывались и, кажется, еще не совсем закрылись… Что же случилось? «Великое училище злополучия», «тернии», «гнусная клевета», «несправедливая рука», «несправедливое обо мне заключение».

Очевидно, Иван Матвеевич незадолго перед тем объяснялся с И. И. Дмитриевым насчет Сената и царской немилости, а теперь переживает из-за клеветы — будто он писал конституцию под нажимом Палена и хвастался, что не принимал 11 марта «без хартии»… Но, видимо, дело не только в этом. В письме четырежды говорится о честолюбии («излишнем честолюбии»). Почему-то оно названо даже «ненавистным призраком»: раньше, как можно понять, оно столь было сильным у Ивана Матвеевича, что «ослепляло», рождало сны вместо ощущения жизни и сладости бытия. Создается впечатление, что не только клеветников — себя винит автор письма; та клевета как-то даже вытекает из его честолюбия: «отечество не звало», но он сам что-то предлагал отечеству! Кажется, Иван Матвеевич проявил когда-то чрезмерное усердие, полагая, что это полезно для отечества, надеясь на «награду и признательность», и это усердие могло быть истолковано как исключительное стремление к собственной карьере. 1800–1801 годы, конец павловского царствования, дружба с Паниным, предложения заговорщиков — вот тогда и было проявлено это усердие, позже криво истолкованное, поднесенное царю определенным образом.

Как увидим, через 19 лет после отставки Ивана Матвеевича все же призовут в сенаторы, но об этом потом; а сейчас, после 1805 года, конец карьеры, крах надежд, разрыв с прошлым и — два выхода. Первый: борьба за свои и общие права, продолжение общественной деятельности.

Когда прорицатель некогда объявил, что громадная пропасть поглотит Рим, если туда не бросить самое ценное, что есть в городе, Курций воскликнул: «Что может быть ценнее оружия, храбрости?» — в полном боевом облачении кинулся вниз, и пропасть захлопнулась…

Второй выход — по Цинциннату: уход в себя, в свой мир, «скромные семейственные добродетели», воспитание детей, которые, впрочем, давно находятся за тысячи верст от отца.

Тильзитский мир; летним днем 1807 года низенький Наполеон и длинный Александр обнялись на плоту посреди Немана. Россия и Франция в мире, дружбе. Пария? наполняется русскими, которых так много, что Анне Семеновне кажется — «город скоро будет более русским, чем французским». Балы, приемы (расходы!) неизбежны. Отвыкшая от соотечественников, Муравьева-Апостол удивляется, восхищается, расстраивается,

наблюдает: любезнейший князь Шаховской с дочерьми, знаменитая певица и красавица мадемуазель Лунина, вульгарный Кологривов, который, «войдя в комнату, где находились 12 дам, не только не представился, но молча осматривал их с головы до ног»; какой-то дипломат, «который находит в Париже все омерзительным кроме варьете…». Хотя Иван Матвеевич в опале, но имя не забыто, не все старые друзья лишены чести, — и Анну Семеновну приглашает посол граф Петр Толстой, а следующий посол, «бриллиантовый» (всегда в драгоценностях), князь Куракин сам напрашивается в гости, чем производит немалое опустошение в тощем бюджете семейства; наконец, в Париже появляется сам канцлер Николай Румянцев, конечно, приглашает мадам Муравьеву с двумя дочерьми (за столом их сажают между канцлером и послом), и, кажется, столь влиятельные собеседники могут кое-что сделать для детей тайного советника Муравьева-Апостола.

10 января 1808 года. «Поздравляю тебя, мой друг, с двумя взрослыми дочерьми; Катерина больше Элизы, а та выше матери; только Матвей не растет совсем, Катерина на голову выше его. Сережа тоже большой. Матвей начал работать чуть лучше… Сережа работает очень хорошо в течение последнего месяца, его профессора очень довольны им, оба начали заниматься по-русски. Посол граф Толстой разрешил одному из своих секретарей, в пансионе, трижды в неделю давать им уроки. Они от этого в восторге».

Итак, Матвей на пятнадцатом, Сергей на тринадцатом году знакомятся с родным языком. Позже Льву Толстому, размышлявшему над воспитанием многих декабристов, покажется, будто все движение это занесено, завезено вместе с «французским багажом», что оно не на русской почве выросло. В этом была одна из причин (правда, не единственная — о других еще скажем!), отчего «Война и мир» не идет дальше 1820 года, роман «Декабристы» оставлен. Но затем писатель еще и еще проверит себя; художественное, историческое чувство подсказывало, что «декабристы-французы» — это фальшь, что слишком легко таким способом «отделаться» от серьезного объяснения серьезнейших чувств и поступков сотен молодых людей.

Поздно начинают учить русскому языку, но «они в восторге», и Анна Семеновна еще повторит в других письмах, даже с некоторым удивлением: «В восторге!» Откуда восторг? Во что перельется? Тут почти афоризм, формула воспитания, развития личности. Вероятно, они знакомятся со своим языком позже всех

молодых людей в мире, заговорят по-русски позже миллионов неграмотных соотечественников. Но для других родной язык — явление естественное, с первым молоком, «само собой»; для них же здесь — событие осознанное, общественное. К смутным впечатлениям — «мы русские», — закрепленным домашними разговорами, стычками с одноклассниками, вдруг добавлен родной язык — и пошла бурная химическая реакция, едва ли не взрыв… Эксперимент опаснейший! Сотни недорослей, не знавших по-русски «до первых усов», останутся французиками, вроде Ипполита Курагина из «Войны и мира». Но для некоторых, таких, как Матвей и Сергей, первые слова, строки по-русски — столь значительное событие, что, если бы составлялась летопись их жизни, ему следовало бы идти наравне, скажем, с 1812 годом, образованием тайных обществ; в той летописи было бы записано: «Зима 1808-го. Начинают учиться по-русски. Восторг».

«Дорогой папа, писать тебе для меня истинный праздник. Я же очень давно не имела от тебя ни строчки. Неужели ты забыл свою Элизу, которая думает о тебе постоянно? Мы здесь проводим немало времени на балах. Надеюсь, что ты развлекаешься в своем Киеве и уверена, что ты часто видишься с Михаилом Илларионовичем Кутузовым, чьи дочери — мои друзья, особенно младшая, Доротея… Я тебе говорила, что Матвея и Сергея сравнивают в пансионе с Кастором и Поллуксом, так как пока один в небесах, другой — в аду; то есть пока один успевает в учении, другой ничего не делает, и так длится почти все пятнадцать дней, пока они не меняются местами. Вообще же оба становятся все более симпатичными. Матвей уже сложившийся мужчина, Сергей идет по стопам своего достойного брата… Впрочем, в списке тех, кто получил награды за учение в этом году, ты найдешь Сергея счастливым, Матвея — несчастным, хотя он очень старался; но для Сергея — важнее всех призов было бы получить письмо от тебя. Он боится, как бы его письма не наскучили тебе, и сегодня только говорил мне с грустью, что сколько он себя помнит, ты ни разу не отвечал на его послания. Если это правда, то это нехорошо. Я умоляю тебя о милости к нему — пришли ему ответ, которого он ждет с таким нетерпением… Осмелюсь ли попросить также прислать несколько утешительных слов для Матвея? Ручаюсь, что этот знак твоей доброты заставит его возобновить занятия с новым пылом, чтобы превзойти или по крайней мере сравняться с братом.

Аннета и Елена тоже стараются, учительницы довольны ими.

Что же касается меня, этот год подарил мне повелителя, и повелителя, которого я очень люблю, и ты, мой дорогой папа, я уверена, непременно его сильно полюбишь. Не следует ли отсюда, что я заслужила первый приз, так как именно я больше всех думаю о будущем… Ипполит тебя обнимает и ничего другого так не желает, как познакомиться с „папой Муравьевым“. До свидания, папочка, прошу прощения тысячу раз за длинное письмо, но я говорю в нем о твоих детях, а этот сюжет ведь тебя наверняка интересует!»

О любви самой Элизы — чуть позже; кажется, она пишет по заданию матери, надеющейся, что дочь добьется больше жены

(отец действительно напишет вскоре детям, и ему сообщат, что «Матвей после того значительно лучше работает»). Тем временем культ Ивана Матвеевича растет, от Лизы до Ипполита — все, особенно старшие мальчики, относятся с обожанием к эгоистичному, усталому, сильно занятому своими неприятностями тайному советнику: чем дальше он, чем недоступнее, чем реже отзывается, тем, по известной психологической формуле, милее, притягательнее для детей. Мать — проза, отец — поэзия, даль, Россия.

Восторг первых русских уроков сродни преклонению перед отцом — чем сильнее интерес к своему «далеко», тем горячее желание встретиться с отцом.

Между тем 12-летний Сергей неожиданно получает от жизни, или судьбы, такое предложение, которое может сильно переменить его планы и восторги.

Мать — отцу. Май 1808 года: «Прошлую неделю твой маленький Сергей был третьим в классе по французскому чистописанию, по риторике — наравне с мальчиками, которым всем почти 16 и 17 лет, а преподаватель математики очень доволен Сергеем и сказал мне, что у него хорошая голова; подумать только, что ему нет и 12 лет! Нужно тебе сказать, что он много работает, очень любит читать и охотнее проведет целый день за книгой, чем пойдет прогуляться; и притом он такое дитя, что иногда проводит время со своими маленькими сестрами, играя в куклы или вышивая кукольные платьица. В самом деле он необыкновенный!»

Позже учитель передаст матери, что Сергей способен «совершить нечто великое в науке».

В эти дни Анне Семеновне случилось побеседовать с генералом Бетанкуром, главным директором путей сообщения в России, так сказать, представителем технической мысли. Разговор быстро переводится на мальчиков, и тут генерал говорит нечто совершенно новое для матери; вместо обычных советов — в какой полк или к какому министру лучше бы записаться — Бетанкур советует делать карьеру математическую: «Он меня заверил, что опытных русских инженеров очень мало, и поскольку Сергей так силен в математике, ему следовало бы после пансиона окончить Политехническую школу. На все это надо еще лет пять, но получение в результате высшего технического образования было бы благом и для него и для отечества. Что же касается Матвея, то математика может сделать его артиллерийским офицером. Настоящее математическое образование можно получить только здесь. В России — труднее, или, говоря яснее — невозможно.

Матвею к тому времени будет 20 лет, Сергею — 17».

Точные науки, техническое образование… Будто голос из следующего века. И вдруг Сергей — математик, завершающий курс в 1813 году, а потом, может быть, Сергей Иванович Муравьев-Апостол — академик, основатель школы — и служба отечеству просвещением, наукой, изобретением, техническим прогрессом? И разве не заметят вскоре, что одни изобретают паровой двигатель, другие штурмуют Бастилию, третьи душат тирана, четвертые выводят формулы — и, может быть, все вместе, сами того не подозревая, с разных сторон подогревают, расплавляют громадную льдину деспотизма?

Но такие мысли юному математику из пансиона Хикса пока и не снятся… Зато родители взволнованы: на одних весах — авторитет генерала Бетанкура, высокий престиж математики в стране Лапласа, Лагранжа, Араго. Немало! Но на другие весы кладется побольше: европейский мир неустойчив, призрачен, дальновидные люди ужо предчувствуют «1812 год» — пять лет во Франции не высидеть! К тому же, если на Западе точные науки, уже «в чинах генеральских», то в России — даже не в обер-офицерских (хотя подают немалые надежды!). И тот вечный «нуль», который лицейский математик Кошанский выставлял Александру Пушкину и многим его сотоварищам, ничуть не помешал им благополучно завершить обучение. На первом месте — политика, изящная словесность, философия; и, кстати, один из противников чрезмерного употребления «лапласова зелья», математики, как раз Иван Матвеевич, да еще с какими аргументами!

«Еще ни одна нация не исторгнута из варварства математикой… Ты, друг мой, счастливый отец семейства; дети твои, подобно прелестному цвету дерева, обещают тебе сладкие плоды. Бога ради, не учи их математике, доколе умы их не украсятся прелестями изящной словесности, а сердца их не приучатся любить и искать красоты, не подлежащие размеру циркуля, одним словом: образуй в них прежде всего воображение… В великой картине мироздания разум усматривает чертеж; воображение видит краски. Что же картина без красок? И что жизнь наша без воображения?»

Иван Матвеевич не просто опасается одностороннего образования, по даже указывает в одной из своих статей на опасную связь: в революционной и наполеоновской Франции «музы уступают место геометрии», математика для «неокрепшего ума» — путь к неверию, неверие — путь к революции!

Ясно, что при такой позиции дух времени сулит обоим мальчикам службу военную, которая конечно же убережет их от

опасной тропы: геометрия — бунт! Да и Анна Семеновна не очень-то настаивает: российский аристократ-математик — дело небывалое. Оставив в стороне случайные мечтания, она тем решительнее требует от мужа задуматься над будущим Матвея и Сергея. 30 сентября того же 1808 года сетует, что нет у нее средств выехать из Парижа в Эрфурт, где встретятся Александр с Наполеоном и куда отправляется «вся Европа». «Мне кажется, я нашла бы способ поговорить с императором и уладить дела наших детей». Но денег не находится — ни для карьеры сыновей, ни для старшей дочери: у нее красивая, романтическая любовь с молодым флигель-адъютантом Ожаровским, состоящим при посольстве, и мать одобряет выбор дочери, а Ивану Матвеевичу вдруг показалось, что 500 душ за женихом маловато, и вообще, «знает ли мать свою дочь?» — на что Анна Семеновна отвечает письмом злым и решительным, что не ему, Ивану Матвеевичу, судить, ибо за последние 10 лет провел с семьей «всего 22 месяца». Иван Матвеевич отступает, свадьба решена, но нет денег, и вообще пора возвращаться!

«Ради бога, вытащи нас из этой парижской пучины. Я ничего другого не желаю на свете». Этот вопль был наконец услышан, Иван Матвеевич все же продает какие-то земли, Анна Семеновна расплачивается с долгами. О постепенных приготовлениях к отъезду знает только Элиза: «Я боюсь, что, если мальчики узнают, они перестанут совсем трудиться, в то время как сейчас они убеждены, что пробудут здесь еще два года».

Наконец 21 июня 1809 года отправляется последнее письмо из Парижа: «Я еду завтра!»

А на другой день кондуктор дилижанса прослезится, наблюдая прощание Лизы с Ожаровским, Анна Семеновна ужаснется, догадавшись, что до Франкфурта ехать неделю «в совершенно открытой коляске, без рессор и без скамеек», а мальчики обрадуются невиданной дороге и неслыханным приключениям.

К выброшенному из службы и отвыкшему от семейного шума Ивану Матвеевичу едет из Парижа жена с семью детьми. На дворе лето 1809 года, и у Анны Семеновны впереди меньше года жизни, у Сергея — семнадцать. Иван Матвеевич на полдороге — еще жить 42 года, старшему же сыну Матвею остается семьдесят семь…

Глава III
«На воле»

Лицейские, ермоловцы, поэты,
Товарищи! Вас подлинно ли нет?

Кюхельбекер

«В проезде через Берлин они остановились в Липовой аллее. В одно прекрасное утро, когда Анна Семеновна сидела с детьми за утренним чаем, с раскрытыми окошками, вблизи раздался ружейный залп. По приказанию Наполеона были расстреляны в Берлине, против королевского дворца, взятые в плен несколько кавалеристов из отряда Шиля. Прусский король и его семейство жили в Кенигсберге. Все прусские крепости были заняты французами» (записано со слов Матвея Муравьева).

Наполеон не любил вешать; гильотина напоминала о революции. Расстрел — казнь военная, так как Европа в войне. Расстреливают тирольского партизана Андрея Гофера, расстреливают герцога Энгийенского, испанских партизан, французских монархистов.

Дорога из Парижа в Россию проходит, как прежде, через разные королевства, великие герцогства, союзы, вольные города, но все это псевдонимы одной империи.

«Бонька (Boney — так называл он Бонапарта) вздумал основать великую империю свою и глотает своих робких и малодушных соседей, но и ему наконец подавиться… Сила без благоразумия сокрушается под собственной своей тяжестью».

Таким остались в памяти отставленного посла Ивана Муравьева-Апостола разговоры о «международном положении», которые вел с ним несколько лет назад коллега, американский посланник в Мадриде. Разнообразие кличек-ругательств в адрес французского императора может сравниться разве что с числом его официальных королевских, протекторских, герцогских и прочих титулов.

«Наполеон-Пугачев» — придумает позже Иван Матвеевич.

Как во той-то было во французской земелюшке,
Проявился там сукин враг — Наполеон-король…

Потом, в 1812-м, из Москвы и других мест, «спаленных пожаром», понесется:

Неприятель да наш Палиён,

Да наш Палиён, ох Напольёнпчек…

Но до того еще более двух лет. Пока же мать с детьми едет через Европу, где от Норвегии до Гибралтара и от Ла-Манша до Немана владычествует друг и брат российского императора Александра I — император Наполеон.

Впрочем, для обогащения дорожных впечатлений Анны Семеновны и детей, именно в те месяцы, когда они наконец пускаются в путь, загорается очередная война в центре континента — Австрия делает отчаянную попытку реванша… Два экипажа, купленные во Франкфурте и набитые до отказа взрослыми и малышами, чемоданами и корзинами. медленно пересекают Германию меж двух воюющих армий; и лошадей нигде нет — приходится платить и переплачивать, а Ипполит и Елена вздумали заболеть, и однажды, в 10 часов вечера, в темном лесу, путешественников останавливает отряд гусаров и спрашивает: «Кто такие и куда едут?» «Ты можешь представить, — напишет жена мужу, — что потребовалось много смелости и твердости, имея в этой ситуации семь детей, в том число двух девушек». К счастью, это оказались французы; завтрашние противники — сегодня они благосклонны к русской даме, едущей из Парижа; от будущих же союзников, австрийцев, так просто бы не отделаться.

Для Сергея и Матвея — легкая репетиция будущих боев и походов, которые через четыре года приведут их в эти же места. Но как это далеко и нескоро!

Наконец Берлин, куда вместе со звуками очередного расстрела доносится весть о новой полной победе Наполеона над австрийцами при Ваграме…

Последняя остановка, пока отец из России не дошлет еще 2500 рублей; в экипажах так тесно, что в придачу куплен предмет, обозначенный в последнем письме с дороги как «une britchka».

Путь лежит на Кенигсберг, Митаву — и оттуда до Киева, где дожидается Иван Матвеевич. Всего несколько суток до российской границы.

«На границе Пруссии с Россией дети, завидевши казака на часах, выскочили из кареты и бросились его обнимать. Усевшись в карету ехать далее, они выслушали от своей матушки весть, очень поразившую их. „Я очень рада, — сказала она детям, — что долгое пребывание за границей не охладило ваших чувств к родине, по готовьтесь, дети, я вам должна сообщить ужасную

весть; вы найдете то, чего и не знаете: в России вы найдете рабов!“ Действительно, нужно преклониться перед такой женщиной-матерью, которая до 15-летнего возраста своих детей ни разу не упоминала им о рабах, боясь растлевающего влияния этого сознания на детей».

Строки, записанные со слов Матвея Ивановича, появились в журнале «Русская старина» в 1873 году. Анна Семеновна, если ее слова были точно такими, нарушала указ, изданный еще Екатериной II и решительно подтвержденный ее внуком: запрещение употреблять слово «раб» при характеристике любого подданного империи (после чего почти исчезают канцелярские обороты, вроде «просит раб твой», «бьет челом раб»). Рабами же Иван Матвеевич тогда и позже любил называть подданных Наполеона: «С тех пор, как я себя помню, французы представлялись моим взорам то мятежными гражданами, то подлыми и низкими рабами».

Но Анна Семеновна женщина искренняя и простая: «В России вы найдете рабов».

Комментатор этих строк в «Русской старине» восхищается, очевидно, вслед за Матвеем Ивановичем, что дети прежде ни о чем не догадывались (или догадывались, но помимо родителей). На этот счет, конечно, имелись отцовские директивы: сначала словесность, воображение — потом математика и размышления о несовершенстве мира… 40 лет спустя в романе «Кто виноват?» Герцен представит читателям подобный тип:

«Как все перепутано, как все странно на белом свете! Ни мать, ни воспитатель, разумеется, не думали, сколько горечи, сколько искуса они приготовляют Володе этим отшельническим воспитанием. Они сделали все, чтоб он не понимал действительности; они рачительно завесили от него, что делается на сером свете и вместо горького посвящения в жизнь передали ему блестящие идеалы; вместо того, чтобы вести на рынок и показать жадную нестройность толпы, мечущейся за деньгами, они привели его на прекрасный балет и уверили ребенка, что эта грация, что это музыкальное сочетание движений с звуками — обыкновенная жизнь».

Матвей, Сергей, умные мальчики, не знают, что их великолепное образование и благополучие оплачены трудом полутора тысяч полтавских, тамбовских, новгородских рабов? Родные находят, что такое знание может растлить, то есть воспитать крепостника, циника, равнодушного. Итак — сначала благородные правила, не допускающие рабства, а затем — внезапное открытие: страна рабов, оплачивающих, между прочим, и обучение благородным правилам.

Разумеется, длинной дорогой от границы до столицы мальчики успели надоесть матери (а позже — отцу) вопросами: как же так? И конечно, было отвечено, что это пройдет: ведь государь полагает, что рабство должно быть уничтожено и «с божьей помощью прекратится еще в мое правление».

В Киеве происходит знакомство Ивана Матвеевича с семью детьми.

Затем Петербург. Свадьба Лизы и Ожаровского.

28 февраля 1810 года Анна Семеновна пишет последнее из писем, сохранившихся в той пачке, что мы начали читать в прошлой главе, — долги, долги, надо ехать в полтавское имение и заняться хозяйством, чтобы хоть немного поправить дела: «Мой муж намерен остаться в Москве с сыновьями, это для них необходимо».

Адрес родного Муравейника писали так: «В Москве, на Большой Никитской улице, в приходе Георгия на Вспольях, нумер 237, в доме бывшем княгини Дашковой».

Двоюродные, троюродные братья — 16-летний прапорщик Николай, будущий знаменитый генерал Муравьев-Карский; его брат Александр, предлагающий всем вступить в масоны; ровесник Сергея, уже фантастически образованный Никита и ровесник Матвея, веселый и тщеславный Артамон…

На детском вечере заметили, что Никитушка Муравьев не танцует, и мать пошла его уговаривать. Он тихонько ее спросил: «Матушка, разве Аристид и Катон танцевали?» Мать на это ему отвечала: «Надо думать, танцевали в твоем возрасте». Он тотчас встал и пошел танцевать…

«Как водится в молодые лета, мы судили о многом, и я, не ставя преграды воображению своему, возбужденному чтением „Contrat social“[3] Руссо, мысленно начертывал себе всякие предположения в будущем. Думал и выдумал следующее: удалиться через пять лет на какой-нибудь остров, населенный дикими, взять с собой надежных товарищей, образовать жителей острова и составить новую республику, для чего товарищи мои обязывались быть мне помощниками. Сочинив и изложив на бумаге законы, я уговорил следовать со мною Артамона Муравьева, Матвея Муравьева-Апостола и двух Перовских, Льва и Василия… В собрании их я прочитал законы, которые им поправились. Затем были учреждены настоящие собрания и введены условные знаки для узнавания друг друга при встрече. Положено было взяться правою рукою за шею и топнуть ногой; потом, пожав товарищу руку, подавить ему ладонь средним пальцем и взаимно произнести друг другу на ухо слово „чока“.

Слово „чока“ означало Сахалин. Именно этот остров и был выбран…»

В этих воспоминаниях Муравьева-Карского, составленных много лет спустя, кажется, одна только неточность. Еще не было окончательно доказано, Сахалин — остров или нет? Там кончались границы человеческого знания и начиналось безграничное воображение…

Иван Матвеевич как в воду глядел: математика не приведет к добру, даже эмблему тайного союза заимствовали у этой вреднейшей науки: «Меня избрали президентом общества, хотели сделать складчину, дабы нанять и убрать особую комнату по нашему новому обычаю: но денег на то ни у кого не оказалось. Одежда назначена была самая простая и удобная: синие шаровары, куртка и пояс с кинжалом, на груди две параллельные линии из меди в знак равенства… Между прочим постановили, чтобы каждый из членов научился какому-нибудь ремеслу, за исключением меня, по причине возложенной на меня обязанности учредить воинскую часть и защищать владение наше против нападения соседей. Артамону назначено быть лекарем, Матвею — столяром. Вступивший к нам юнкер конной гвардии Сенявин должен был заняться флотом».

Так, подобно потешным полкам юного Петра, составлялись юношеские республики.

Николай Муравьев не называет Сергея, которого, может быть, считали еще слишком юным; но Александр Муравьев уже помнит, как являлись оба брата — «прекрасные, благородные, ученые»…

«Мы с ними проводили время отчасти в чтении и научных беседах, отчасти в дружеских разговорах. Характер двух братьев был различен: Матвей был веселый и приятный товарищ. Сергей же сурьезный…»

Те, кто брались правой рукой за шею и топали ногой, подтрунивали над масоном Александром: в Вене убили какого-то графа-масона, и «сахалинцы» убеждают родственника, что это их люди прикончили «того, кто хотел открыть нашу тайну…»

Но время ли рисовать знак равенства и искать на географической карте подходящее для него место?

Время ли — Бонапарт у ворот!

«Тысячи поклонов Вашим дамам и особенно божественной мадемуазель Муравьевой».

Эта светская строчка из письма, написанного 7 июля 1810 года (и напечатанная сто лет спустя в редком издании на французском языке «Переписка императора Александра I со своей сестрой великой княгиней Екатериной») имеет некоторое

отношение к судьбам России и немалое — к биографиям Муравьевых-Апостолов.

Великая княгиня Екатерина Павловна была исключительно почитаема и любима братом-царем. Только недавно к ней посватался сам Наполеон и получил отказ: объяснили «запретом матери» (вдовствующей императрицы Марии Федоровны). Но передавали и реплику самой невесты: «Скорее пойду замуж за последнего русского истопника, чем за этого корсиканца». Наполеон гневался — еще один шаг к войне; позже русские солдаты споют про «Палеонщичка, парня молодого, неженатого, с роду холостого». Женитьба «парня» на Марии-Луизе прошла незамеченной, об отказе же слухи ходили. Екатерину Павловну спешно отдали замуж за герцога Ольденбургского, а отвергнутый жених захватил герцогство Ольденбург… Возле Екатерины Павловны собрался кружок лиц, особенно непримиримых к Франции, осуждающих Александра за объятия и поцелуи при встречах с Бонапартом и заодно предостерегающих против всяких коренных реформ. Кажется, Иван Матвеевич тут пришелся ко двору, и царь, гостящий у сестры, уж замечает «божественную» Екатерину Ивановну Муравьеву, тогда еще 15-летнюю фрейлину, но вскоре обвенчанную с молодым знатным офицером Илларионом Бибиковым (через 24 года Пушкин посоветует жене поближе сойтись с Екатериной Ивановной Бибиковой, калужской губернаторшей, которая «очень мила и умна»). Поскольку же дочь Лиза теперь в близком родстве с влиятельным генерал-адъютантом Ожаровским, придворные связи опального дипломата постепенно восстанавливаются. То ли через божественную дочь, то ли прямою просьбою Иван Матвеевич обращает внимание царской сестры и на двух прибывших сыновей. Екатерина Павловна — шеф и покровитель недавно образованного училища инженеров путей сообщения. 14-летний математик Сергей легко сдает два экзамена, Матвею инженерные идеи, видно, не по душе: «Узнавши, что война у нас будет с французами, я определился подпрапорщиком в лейб-гвардии Семеновский полк».

Честолюбивый отец, несмотря на боязнь «геометрических умов», гордится успехами Сережи и, как видно из туманных намеков современников, несколько недоволен Матюшей.

«Nous étions les enfants de 1812». «Мы дети 1812 года». Эта вошедшая в учебники и хрестоматии фраза принадлежала Матвею Муравьеву-Апостолу. Смысл ее ясен. Ну, разумеется, они также дети своего отца. Но не о семейных делах речь. А впрочем, как сказать? Если задуматься, выйдет, что 1812-й весит больше, много больше всего, что понято и усвоено прежде, и понять ли это родителям, которые тоже дети каких-то лет, эпох, событий? Ивана

Матвеевича сыновья любят, почитают, но не всегда понимают, и он тоже регулярно уходит от них к себе — в 1801, 1796 годы и дальше…

Мать… По дороге с Невы на Полтавщину, на Большой Никитской улице в доме 237 в Москве, Анна Семеновна вдруг заболевает и через несколько дней умирает.

За гробом — муж и семеро детей. Младшему — четыре года, старшей — девятнадцать.

Иван Матвеевич разглядывает ту же знаменитую комету, которую наблюдал Пьер Безухов, когда новогодней ночью вышел от Ростовых на Арбатскую площадь.

«Когда я в первый раз увидел комету, знаешь ли какое странное чувство — не скажу: тревожило меня — а как-то шевелило мое сердце? Мысль о возможном разрушении вселенной казалась мне страшною, потому что я бы мог пережить, хотя на минуту, понятие мое о бесконечности мира…»

Матвей: Бородино, Тарутино, Малоярославец…

Сергей: Витебск, Бородино, Тарутино, Малоярославец, Красное, Березина…

«Я пускал в ход многие шарлатанства, обещая легкую победу, лишь бы не терять бодрости и оставаться непреклонным» — так признавался в одном дружеском письме бывший начальник Ивана Матвеевича московский генерал-губернатор Ростопчин, вспоминая о своих лживых бодряческих афишах, извещавших население Москвы о ходе войны. Правительственные «Известия», выходившие сначала через. каждые два-три дня, после Смоленска вовсе не публикуются. В штаб-квартире Аракчеева находят, что «ненадобно людям скудоумным ни знать, ни отгадывать великие планы военных действий».

Даже важные люди, вроде тайного советника Муравьева-Апостола, узнают о ходе операций изустно и по запоздалым письмам. Известия же были таковы, что с конца августа москвичи потянулись в Нижний Новгород.

«Мы живем теперь в трех комнатах, мы, то есть Екатерина Федоровну Муравьева с тремя детьми, Иван Матвеевич, Н. М. Дружинин, англичанка Эвене, которую мы спасли от французов, две иностранки, я, грешный (поэт Константин Батюшков), да шесть собак. Нет угла, где бы можно было поворотиться».

Ведомость об уборке тел на Бородинском поле (после изгнания французов)

«Сожжено было 56 811 человеческих тел и 31 664 лошадиных. Операция эта стоила 2101 рубль 50 копеек, 776 сажен дров и две

бочки вина».

Матвей Иванович Муравьев на Бородинском поле отшвыривал, как бы играя, неприятельские ядра: так представлял своего родственника другой участник сражения, бывший президент республики «Чока» Николай Муравьев. Прочитав в журнале эти строки, 92-летний Матвеи Иванович вспомнил, как было на самом деле:

«26 августа 1812 г. еще было темно, когда неприятельские ядра стали долетать до нас. Так началось Бородинское сражение. Гвардия стояла в резерве, по под сильными пушечными выстрелами. Правее 1-го баталиона Семеновского полка находился 2-й баталион. Петр Алексеевич Оленин, как адъютант 2-го баталиона, был перед ним верхом. В 8 час. утра ядро пролетело близ его головы; он упал с лошади, и его сочли убитым. Князь Сергей Петрович Трубецкой, ходивший к раненым на перевязку, успокоил старшего Оленина тем, что брат его только контужен и останется жив. Оленин был вне себя от радости. Офицеры собрались перед баталионом в кружок, чтобы порасспросить о контуженном. В это время неприятельский огонь усилился, и ядра начали нас бить. Тогда командир 2-го баталиона, полковник барон Максим Иванович де-Дама скомандовал: „Г-да офицеры, по местам“. Николай Алексеевич Оленин стал у своего взвода, а граф Татищев перед ним у своего, лицом к Оленину. Они оба радовались только что сообщенному счастливому известию; в эту самую минуту ядро пробило спину графа Татищева и грудь Оленина, а унтер-офицеру оторвало ногу. Я стоял в 3-м баталионе под знаменем вместе с Иваном Дмитриевичем Якушкиным и, конечно, не смел отлучаться со своего места; следовательно, ядрами играть не мог».

Впрочем, когда в Семеновский полк были присланы Бородинские награды, командование попросило солдат проголосовать за достойных офицеров, и Матвей Иванович получит «Знак отличия Военного ордена по большинству голосов от нижних чинов седьмой роты полка».

Сергею же через два дня после битвы исполнится 15 лет и 11 месяцев. Во время Бородина его держат при главной квартире армии. Возможно, сам Кутузов бережет юного сына столь знаменитого отца. Ведь узнал главнокомандующий и тем спас от расправы внезапно появившегося в армии мальчика, которого приняли за французского шпиона, а был это удравший из дому Никитушка Муравьев.

После Малоярославца молодых офицеров Корпуса путей сообщения возвращают доучиваться в Петербург, но Сергей

Иванович, к тому времени уже 16-летний, использует родственные связи и остается. Его берет в свой отряд родственник — генерал Адам Ожаровский. После сражения при Красном Сергею — золотая шпага с надписью: «За храбрость». К концу года, после Березины, он уже поручик и получает Анну 3-й степени…

Русская армия наступает, солдатские песни заметно веселеют.

Воинов российских что может унять?
Трах, тарарах,
Тарарушечки мои!

27 августа 1813 года Сергей Муравьев-Апостол из немецкого городка Петервальсдау пишет сестре Елизавете Ожаровской:

«Я живу вместе с братом, и поскольку мы в сходном положении, то есть без единого су, мы философствуем каждый на свой лад, поглощая довольно тощий обед… Когда граф Адам Ожаровский был здесь, я обедал у него, но, увы, он убыл, и его обеды вместе с ним». Матвей в приписке поясняет, что «философия с успехом заменяет пищу».

Они пишут по-русски: неудобно пользоваться языком врага, к тому же, два года с солдатами — неплохая практика.

Смерть — рядом с этими веселыми голодными юношами: зацепляет Матвея в знаменитом Кульмском сражении и целится в Сергея, выходящего на «битву народов».

Матвей из города Готы, где долечивает рану, пишет сестре 21 октября 1813 года: «Под Лейпцигом Сергей дрался со своим батальоном, и такого еще не видал, но остался цел и невредим, хотя с полудня до ночи четвертого октября находился под обстрелом, и даже старые воины говорят, что не припомнят подобного огня».

Но все обошлось, братья вместе, «в прекрасной Готе, и сегодня город даст бал, который мы навсегда запомним, и впереди движение к Рейну и сладостное возвращение».

Матвей Иванович — 60 лет спустя:

«Каждый раз, когда я ухожу от настоящего и возвращаюсь к прошедшему, я нахожу в нем значительно больше теплоты. Разница в обоих моментах выражается одним словом: *любили.* Мы были дети 1812 года. Принести в жертву все, даже самую жизнь, ради любви к отечеству, было сердечным побуждением. Наши чувства были чужды эгоизма. Бог свидетель тому…»

Престарелый семеновец ворчит на «нынешнее племя», вспоминая счастливейшие дни своей жизни, когда купались в

октябре, спали на снегу без всяких последствий, когда все были молоды, все были заодно и цель была так же проста и справедлива, как солдатская песня.

Может быть, он прав, что время было теплее?

Пушкин запишет о мальчиках:

Которые, пустясь в пятнадцать лет на воле,
Привыкли в трех войнах лишь к пороху да к полю.

В этих строках представлено много «пятнадцатилетних», но не все. А что же у всех? Чем отличался среднестатистический «сын 1812-го» от своих внуков, правнуков, отцов? Как уловить в их речах, записях, манерах, шутках, огорчениях нечто особенное, что позже, при подобных же обстоятельствах, иначе проявлялось?

«Дражайший родитель!

Весна в полном сиянии своем покрыла поля и луга зеленью и украсила разновидными цветами, но окрашенными кровью соотчичей наших! — Древы оделись листьями, представляют величественную картину атмосферы и изображают как бы вновь воскресшую природу; зефир, играя между листочков и порхая по деревьям, производит легкий шорох, словом, вся природа торжествует. — Один только человек, не делая подражания оной, забыл самого себя, влеком будучи своими страстями, стремится удовольствовать неистовые свои желания. Бонапарте, сей лютый корсиканец, разинув алчные свои челюсти, бросался много раз на непобедимое российское воинство, от коего зияющие его челюсти запеклись кровию и он был опрокинут…»

Это письмо неизвестного сочинителя, переписанное во многие альбомы. А вот другое:

«Молчание вселенной, дух природы, война — исторгают из нашей груди восторг, преданность и слезы».

Эти строки из дневника Александра Чичерина — молодого человека, который, если б не погиб в бою, верно, был бы с декабристами.

И наконец, третье письмо:

Сергей Муравьев-Апостол — отцу. 1813 год: «Милостивый государь батюшка.

Я был несколько дней тому назад в г. Франкфурте, где пребывает главная квартира государя императора, и нашел у графа Ожаровского письмо ваше к брату Матвею. Я осмелился его распечатать, потому что брата еще здесь нет, и спешу вас на его счет совершенно успокоить, ибо я уже знаю, что он совсем здоров и выехал уже из Праги полк свой догонять. Я надеюсь его через несколько дней здесь увидеть и уж более с ним не расставаться,

потому что наш баталион теперь к гвардии прикомандирован. Он получил в награждение Анненскую шпагу; по говорят, что ее переменят и что дадут Владимирский крест. Дай бог, чтобы это сбылось. Если б то возможно было, я бы ему свой отдал: он его более меня заслужил.

Что до нас касается, милостивый государь батюшка, мы теперь спокойно стоим в г. Ганау, в окрестностях Рейна, где мы очень хорошо приняты жителями, которые так рады, что избавились от французского ига, что не знают, как нам благодарность свою изъявить. Мы теперь там отдыхаем после столь славной, но вместе и тяжкой кампании. Говорят, однако, что мы скоро пойдем вперед.

Несколько дней тому назад была здесь великая княгиня Екатерина Павловна, шеф нашего баталиона… Она со всеми говорила и благодарила нас за наше хорошее поведение во все время, и даже сказать изволила, что мы честь делаем ее имени, и что государь император в награждение за наши труды приказать изволил, чтобы мы с гвардией вместе остались…»

Если б не «кампания», «крест», рана Матвея и то обстоятельство, что в батальоне Екатерины Павловны из 1000 человек вернулось домой 418,— если б не все это, письмо было бы вполне детским отчетом перед папенькой в благонравном поведении…

Но хватит примеров: таким путем нелегко доказать, какова была молодежь 1812 года. Ведь можно найти письма циничные, проникновенные, поэтические, бездарные… Но, прочитав или хоть просмотрев 10, 100, 1000 таких документов, причем написанных не выдающимися, а обыкновенными грамотными молодыми людьми, можно уловить нечто, именуемое «духом времени», хотя метод этот скорее эмоциональный, чем научный.

Мне вот каким представляется «сын 1812-го», юный, более или менее образованный дворянин, офицер: ему 15–20 лет, но он много взрослее своих сверстников из последующих поколений, служит, видал кровь и порох, выходил на дуэли, имел любовные приключения (или, по крайней мере, так утверждает), ездит верхом, фехтует, танцует, болтает по-французски, немало читал и слыхал еще больше.

Итак, молодые и ранние. Но эти прапорщики, поручики, воины и танцоры часто пишут так чувствительно, как в наши дни не решился бы зеленый школьник.

Ну, разумеется, надо сделать скидку на эпоху, стиль, сентиментализм, когда не скупились на «ах!» и «сколь!», «листочки» и «приятности». И все же эти юноши были и впрямь чувствительны, воображение их, по теории Ивана Матвеевича,

наполняло мир красками.

«Из всех писателей, которых я читал в жизни, — признается Матвей Муравьев, — больше всего благодарности я питаю, бесспорно, к Стерну [4]. Я себя чувствовал более склонным к добру всякий раз, что оставлял его. Он меня сопровождал всюду. Он понял значение чувства, и это было в век, когда чувство поднимали на смех».

Это сочетание зрелости и детскости поражает при знакомстве с людьми, жившими полтора и более века назад.

Если есть эпохи детские и старческие, так это была — юная. Пушкин скажет: «Время славы и восторгов».

В счастливой строке, появившейся в одном из последних стихотворений Кюхельбекера, — целая глава русской истории…

Лицейские, ермоловцы, поэты…

Часто удивляются, откуда вдруг, «сразу» родилась великая русская литература? Почти у всех ее классиков, как заметил недавно писатель Сергей Залыгин, могла быть одна мать, родившая первенца — Пушкина в 1799-м, младшего — Льва Толстого в 1828-м (а между ними Тютчев — 1803, Гоголь — 1809, Белинский — 1811, Герцен и Гончаров — 1812, Лермонтов — 1814, Тургенев — 1818, Достоевский, Некрасов — 1821, Щедрин — 1826)…

Откуда это?

Не претендуя на полный ответ, с уважением относясь к выводам историков и литературоведов об особенностях той эпохи, породившей столько гениев, хочу только обратить внимание на одну из причин, которая кажется очень существенной.

Прежде чем появились великие писатели и одновременно с ними должен был появиться *читатель.*

Мальчики, «которые пустясь в пятнадцать лет на воле…» — они и были теми, кому нужны были настоящие книги. Они, «по детскости своей», еще не кашли ответов на важнейшие вопросы и задавали их; а по взрослости — думали сильно, вопросы задавали настоящие и книжки искали не для отдохновения и щекотания нервов.

Ну как тут не появиться Пушкину!

Равнодушное, усталое, все знающее или (что одно и то же) ничего не желающее знать общество — для литературы страшнее николаевских цензоров. Последние стремятся свалить исполинов, но при равнодушии гиганты вовсе не родятся на свет. Или нет — родятся… Но их могут и не увидеть или заметить сыто, небрежно. Однако довольно об этом. Война не кончилась…

Матвей: Лютцен, Бауцен, Пирн, Кульм (рана в ногу, два

ордена), Лейпциг, Париж.

Сергей: Лютцен (Владимир IV степени с бантом), Бауцен (произведен в штабс-капитаны), Лейпциг (в капитаны) — затем состоит при генерале от кавалерии Раевском и участвует в битвах 1814 года: Провен, Арси-сюр-об, Фершампенуаз — Париж (св. Анна 2-го класса).

Братья-победители: гвардии прапорщик Матвей, двадцати лет; Сергей — 17-летний капитан (позже, когда перейдет в гвардию, то, по принятым правилам, будет переименован в гвардии поручика).

Война кончилась. Мысли торопятся к дому.

Ты Париж мой. Пярижок,
Париж — славный городок!..
Как у нашего царя
Есть получше города,
Есть и Питер, и Москва,
Еще лучше Кострома:
Вся по плану строена,
Диким камнем выстлана,
Березками сажена,
Желтым песком сыпана,
Железами крытая…

С 18(30) марта 1814 года братья в Париже, проделав боем и пешком ту дорогу, по которой в обратном направлении ехали с Анной Семеновной пять лет назад. Наверное, бегали на свидания с детством — пансион Хикса, старый дом, опера, посольство…

В конце марта 1814-го в Париже собралась едва ли не половина будущих декабристов — от прапорщика Матвея Муравьева-Апостола до генерал-майоров Орлова и Волконского; одних Муравьевых — шесть человек. Первый съезд первых, революционеров задолго до того, как они стали таковыми.

Но пора домой — к отцу, сестрам, восьмилетнему Ипполиту, который уже давно играет в старших братьев.

Сергей с гренадерским корпусом опять шагает через всю Францию и Германию, в четвертый и последний раз в жизни. Матвей же, с гвардией, — «от Парижа через Нормандию до города Шербурга, откуда на российской эскадре в город Кронштадт»…

Глава IV
В надежде

Смертный миг наш будет светел…

Пушкин

«Из Франции в 1814-м году мы возвратились морем в Россию… Во время молебствия полиция нещадно била народ, пытавшийся приблизиться к выстроенному войску. Это произвело на нас первое неблагоприятное впечатление по возвращении в отечество… Наконец, показался император, предводительствующий гвардейской дивизией, на славном рыжем коне, с обнаженной шпагой, которую он уже готов был опустить перед императрицей. Мы им любовались; но в самую эту минуту почти перед его лошадью перебежал через улицу мужик. Император дал шпоры своей лошади и бросился на бегущего с обнаженной шпагой. Полиция приняла мужика в палки. Мы не верили собственным глазам и отвернулись, стыдясь за любимого нами царя. Это было во мне первое разочарование на его счет; я невольно вспомнил о кошке, обращенной в красавицу, которая однако ж не могла видеть мыши, не бросившись на нее».

Эту сцену, описанную Иваном Якушкиным, видел другой семеновский офицер Матвей Муравьев-Апостол. Между прочим, генерал-адъютант граф Ожаровский, родственник Сергея и Матвея Муравьевых, возвратившись однажды из дворца, рассказал им, что император, говоря о русских вообще, сказал, что «каждый из них плут или дурак»…

В различных декабристских воспоминаниях приводятся похожие эпизоды, запомнившиеся навсегда; первый толчок в опасном направлении.

Но конечно же молодой офицер, возвращающийся с войны, при всех победных восторгах и радостях, может быть, незаметно для себя, давно уже подготовлен к важным мыслям. «За военных два года, — заметит Якушкин, — каждый из нас сколько-нибудь вырос».

Вчерашние крепостные, переименованные в российских солдат, во главе с офицерами-помещиками только что прошагали по дорогам Европы, освобождая края, уже начинающие забывать о крепостном праве.

Война закончилась в стропе, где и прежний Наполеон, и нынешний Людовик не тронули крестьянской земли и свободы,

завоеванных в 1789–1794 годах. Возвращающимся же победителям перед родными границами не нужно объяснять: «В России найдете рабов!..»

«Народ российский, народ доблестный, не унывай! Доколе пребудешь верен церкви, царю и самому себе, дотоле не превозможет тебя никакая сила. Познай сам себя и свергни с могучей выи свой ярем, поработивший тебя — исполина!..»

Эти строки появляются в журнале «Сын отечества», где Иван Матвеевич Муравьев-Апостол регулярно печатает свои «Письма из Москвы в Нижний Новгород в 1813 году». Отец, как и дети, видит в народе «доблестного исполина». Но, как почти все отцы, уверенно выписывает рецепт, когда дети еще не поняли, что за болезнь… «Ярем, поработивший исполина», — звучит очень гневно, по имеется в виду «ярем подражания пигмеям», то есть французам. «Послушай! — восклицает Иван Матвеевич. — Не пройдет целого века, и французская нация исчезнет…

Приговор „истребить Францию“ во всех сердцах, если еще не у всех в устах; он исполнится!»

Горячится 44-летний тайный советник…

Ровно через 20 лет заключенный Свеаборгской крепости Вильгельм Кюхельбекер запишет:

«В „Сыне Отечества“ попались мне „Письма из Москвы в Нижний Новгород“; они исполнены живого ума, таланта; смысл не везде правильный, но лучше много правильного. Жаль только, чта автор, писавший так хорошо против пристрастия к французам, воспитал своих несчастных сыновей в Парижском политехническом училище. Бедный Иван Матвеевич…»

Тут не простой разговор, что вот-де Иван Матвеевич ратует против Франции, а сам офранцузился. Иван Матвеевич совсем не мракобес, но он четко выстраивает в своих «Письмах» логическую цепь: французский язык — французский образ мыслей — безверие — революция… (а раньше, как помним, безверие выводилось из математики). Сначала «поют водевили, танцуют гавот и, вытараща глаза, храпят в нос тирады из французской трагедии, — потом начнут в бурном исступлении самодовольства поражать друг друга», наконец, «сделаются орудием тирана — в войне противу всех народов».

Горячится Иван Матвеевич и даже древнего Рима по щадит. Только что писал Державину, что готов умереть, как Фабий, Курций; дети, понятно, влюблены в Катона, Гракхов. Но к чему же Курций и Гракхи, если в Риме вот что происходит: «Тарквиний изгоняется, власть делится и выходит аристократия, т. е. вместо одного тирана — сто. Против аристократии борется демократия, одолевает первую и кончается ужасной тиранией. Но что я говорю

о древних! Французы, острые скорые французы в 20 лет пробежали вверх и вниз лестницу, по которой римляне тащились 700 лет».

Вот какой град аргументов сыплется на 18–20-летних прапорщиков, поручиков и капитанов, пришедших с войны. Дети еще молчат, отцы уже спорят. 2300 лет назад изгнали тирана Тарквиния, и все равно не спаслись от тирании; но что отсюда следует? Не надо было гнать тирана? Плоха Франция, но хорошо ли дома?

«В 14-м году существование молодежи в Петербурге было томительно. В продолжение двух лет мы имели перед глазами великие события, решившие судьбы народов, и некоторым образом участвовали в них; теперь было невыносимо смотреть на пустую петербургскую жизнь и слушать болтовню стариков, выхваляющих все старое и порицающих всякое движение вперед. Мы ушли от них на 100 лет вперед».

Якушкинский залп чуть-чуть задевает Ивана Матвеевича, но в основном идет мимо. Ведь «старик» с молодым, даже чрезмерным задором требует от русских, чтобы они были сами собою, но разве не о том же будет через 10 лет кричать Чацкий — Грибоедов?

Да и вообще Иван Матвеевич не участвует в петербургской болтовне, так как в столице давно не бывал; второй раз женился и живет в деревне с молодой супругой. Вскоре у Матвея и Сергея появится еще брат Васинька да сестры Дуняша и Лилинька. Старшие дочери замужем или на выданье, а восьмилетний Ипполит окажется меж взрослыми и грудными братьями-сестрами, с новой матерью и очень скоро начнет почитать отца не столько в Иване Матвеевиче, сколько в Сергее Ивановиче…

Женитьба отца делает сыновей-офицеров еще взрослее. Только вчера — 1809 год, уроки, куклы с младшими сестрами. И вдруг из детства — в зрелость. Отрочество и юность пройдены ускоренно, как офицерские чины после каждой крупной битвы.

Разом, без передышки — смерть матери, война, новая семья отца, а при возвращении на родину еще внезапная смерть старшей сестры.

> Потухла, как заря по мраке тихой ночи,
> Как эхо темное в пустыне соловья…

Сергей. 11 октября 1814 года. «Мой дорогой Ожаровский, ужасную новость я узнал тотчас по моему прибытию в Москву, в момент, когда я должен был быть особенно счастлив, как раз тогда, когда я должен был ее увидеть».

Письмо это — самое позднее из того большого скопления

семейных посланий, которые можно прочесть сегодня в Архиве Октябрьской революции. И мы догадываемся, отчего за следующие годы попадаются только отдельные, случайные листки: сначала Анна Семеновна все собирала, потом — Лиза, и вот Лизы нет, и никто не собирает: «Она была более, чем сестра для нас… Мир недостоин был иметь ее. Она была слишком хороша и добродетельна, чтобы бог не соединил ее с нашей доброй матерью».

Искренние, хотя и вполне стандартные слова утешения… Глубокая вера или форма? Отец, старый вольтерьянец, к богу относится с равнодушным уважением; в письмах покойной матери религиозных настроений совсем не чувствуется. Однако письмо Сергея по поводу кончины Лизы заставляет задуматься. Обычные скорбные формулы, принятые в разговоре о смерти, не умещаются у него в нескольких строках, требуют страниц. Пишущий как будто разговаривает не столько с родственниками, сколько с самим собой; по ходу письма образы, чувства — все горючее. Нет, это не просто обряд! Он страстно умоляет Ожаровского не верить в вечную разлуку, понять, что «только религия может облегчить нашу печаль», и несколько раз возвращается к важной для него мысли: какой-то особый знак «свыше» заключается в том, что «горе ударило в момент наибольшего ликования», победы, возвращения…

Не будем по одному письму слишком много решать, определять. Сергей Муравьев Апостол вообще не легко открывается современникам и потомкам. Заметим только работу мысли: скрытый упрек себе и друзьям в бездумной радости — победа, возвращение домой — той радости, которая порою обезоруживает человека перед горем. И древняя мудрость, нигде прямо не высказанная, но ясно видная уже в этом, а позже и в других письмах: находить добро в самом худшем, видеть зло в самом лучшем. Так, если б не было смерти, ценность и значение жизни во многом бы утратились.

18-летний мыслитель, отвергающий «вечную разлуку», верящий в посмертные радости… Может быть, это вынесено из той философии, которая в походе, в палатке недавно *«с* успехом заменяла пищу»?

Или в радостные головы победителей успело просочиться то печальное сомнение в разуме, которое закипало еще во времена небывало поздней осенней грозы 1796 года?

Серьезные юноши 1814 года… «Страсть к игре, как мне казалось, исчезла среди молодежи». Матвею Муравьеву вторит Якушкин: «Перед войной в Семеновском полку офицеры, сходившись между собою, или играли в карты, без зазрения

совести, или пили и кутили напропалую». Теперь — артель, совместные обеды, после которых «одни играли в шахматы, другие читали громко иностранные газеты и следили за происшествиями в Европе — такое времяпрепровождение было решительно нововведением».

Их не манил летучий бал
Бессмысленным кружебным шумом…

Поэт Федор Глинка в старости вспоминает «семеновскую юность»…

Но можно ли поверить? Не слишком ли юноши 1814 года стары? Ведь на дворе пушкинское время: где же Вакх, где «подруги шалунов», где сами шалуны?

Лицейские, ермоловцы, поэты…

Пушкинское время. Горе от ума еще впереди, пока же от ума — радость. Ну конечно, случается, проговорят весь вечер, «а об водке ни полслова», но куда чаще гимн разуму произносится с поднятыми и разом содвинутыми стаканами. По понятиям некоторых болтливых стариков — «вы, нынешние, нутка» — и повеселиться не можете; но лицейские и ермоловцы не хотят того веселья, что процветало 100 лет назад: прочь, «ребяческий разврат».

«Брат мой Сергей… вознамерился оставить на время службу и ехать за границу слушать лекции в университете, на что отец не дал своего согласия».

Одна такая фраза может быть значительнее целых томов биографических материалов. Но — увы! — только одна фраза… Что происходит с Сергеем? Потянуло к математике? Вспомнились парижские разговоры об ученой карьере? Или цель его — не «плоды наук», а «добро и зло, гроба тайны роковые», то есть, проще говоря, лекции по философии, праву, богословию? Почему он вдруг желает оставить армию? Опротивело или, наоборот, собирается затем вернуться на службу с пользой для дела?

Не знаем. Сергей Иванович не раскрывается. Вежлив, весел, общителен. Но о главном думает молча. В эту пору собирается уйти, уехать немалое число лучших офицеров. Троюродный брат Михаил Лунин оставляет блестящую кавалергардскую службу, ищет смысла жизни, обитая близ «парижского дна», но Сергею Ивановичу отец запрещает или решительно не советует. Почему же? Ведь отец сам готов бескорыстно служить человечеству и проклял свое прежнее честолюбие… Впрочем, Иван Матвеевич никогда не страдал от избытка последовательности. И по желанию отца Сергей вскоре становится поручиком Семеновского

полка. Вместе с Якушкиным, братом Матвеем и некоторыми другими примечательными людьми.

Якушкин: «Одни раз, Трубецкой и я, мы были у Муравьевых, Матвея и Сергея; к ним приехали Александр и Никита Муравьевы с предложением составить тайное общество, цель которого, по словам Александра, должна была состоять в противодействии немцам, находящимся в русской службе. Я знал, что Александр и его братья были враги всякой немчизне, и сказал ему, что никак не согласен вступить в заговор против немцев, но что если бы составилось тайное общество, членам которого поставлялось бы в обязанность всеми силами трудиться для блага России, то я охотно вступил бы в такое общество. Матвей и Сергеи Муравьевы на предложение Александра отвечали почти то же, что и я. После некоторых прений Александр признался, что предложение составить общество против немцев было только пробное предложение, что сам он, Никита и Трубецкой условились еще прежде составить общество, цель которого была в обширном смысле благо России. Таким образом, положено основание Тайному обществу, которое существовало, может быть, но совсем бесплодно для России».

Дату этого собрания помнили и через много десятилетий: 9 февраля 1816 года; вчерашние победители Наполеона, повзрослевшие создатели детской республики «Чока»…

«Немцы» в этих рассуждениях очень похожи на «французов», против которых прежде ополчался Иван Матвеевич.

Но дети, отдав легкий поклон тем, кто возражает против немецких и французских излишеств, соединяются в Союз спасении. Иван Матвеевич, возможно, сказал бы, что нельзя спасать, коли никто на помощь не зовет. Но тут уж дети с племянниками нашли бы, что ответить…

Послушать тот спор младших и старших интересно. Правда, прямых записей старинных диалогов и дискуссий почти не сохранилось, однако есть разные способы услышать «умолкнувшие речи».

В Киеве, на Владимирской улице, — Научная библиотека Украинской Академии наук. В библиотеке — отдел рукописей. Как все архивы, место не совсем обычное, временами странное, зачарованное, заколдованное, что ли. Тысячу раз написано и десять тысяч раз будет написано, как исследователь в архиве переносится в прошлое, забывает, сколько с тех пор прошло лет, веков… От частого повторения образ стирается, и рождается подозрение, будто это не совсем так: в конце концов архив — почтенное государственное учреждение, куда люди приходят писать диссертации, книги, статьи, то есть заниматься вполне

современным делом, а не «переноситься»… Но даже тысячекратное повторение фраз вроде «архивная пыль приносит запах ушедших веков» и т. п. не может совсем зачеркнуть то обстоятельство, что ушедшие века и в самом деле являются. Автор, привыкший к архивам, все же однажды забылся и понюхал розовый листочек, несомненно, надушенный той ручкой, которая вывела несколько французских строк почерком немыслимого изящества… Но в 1970-х годах листочек уж пахнул бумагой; на нем стояла дата. 16 июля 1826 года.

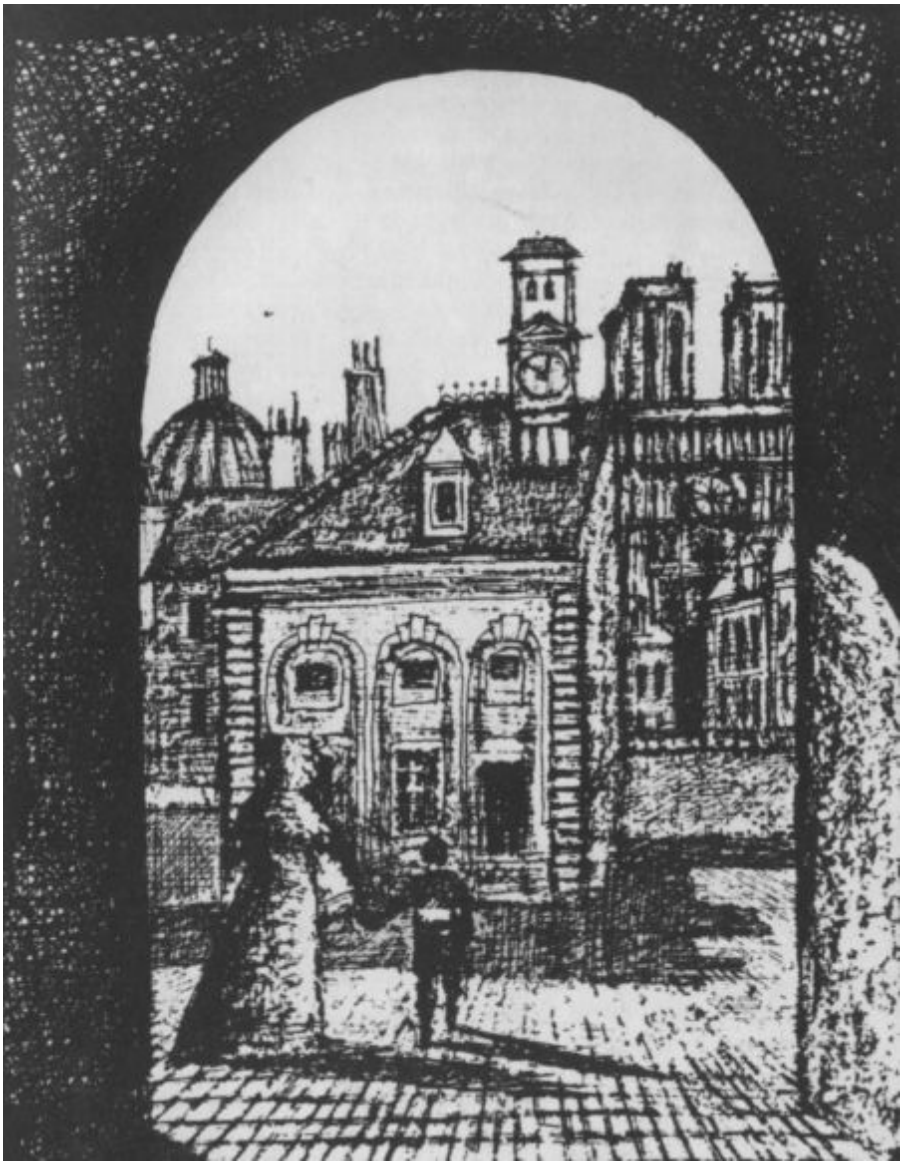
Из шкафов отдела рукописей на Владимирской улице, всего одной строчкой на бланке заказа, легко вызываются добрые и злые духи: украинская старина, латинские стихи, разучивавшиеся в Софийской духовной академии, малабарская рукопись на 138 пальмовых листах, старинные записи запорожских песен, грамоты польских королей и красно-золотые фирманы турецких султанов, зеленый с застежками альбом юной помещичьей дочери мадемуазель Петрулиной, где твердым гусарским почерком какого-то Жана Черткова выведено:

Когда мы будем жить в разлуке.
Когда не буду зреть тебя,
Тогда возьми альбом сей в руки
И вспомни, кто любил тебя.

150 лет назад за двести с лишним верст к востоку от Киева, в барском доме имения Хомутец, хранились тысячи писем, деловых документов, рукописей на многих языках, составлявших то, что мы бы сегодня назвали «архив Муравьевых-Апостолов». Но судьба разметала детей, неведомо куда забросила почти все бумаги отца. В двадцати же верстах от Хомутца, в Обуховке, жил сосед-помещик и поэт Василий Капнист, который уже не раз появлялся в нашем рассказе. Судьба этой семьи — более спокойная, благополучная, и потомки архив сохранили.

Написав на архивном бланке римское III и несколько пятизначных арабских чисел, вскоре вижу на своем столе более 170 страничек: это лишь небольшая часть писем, полученных Василием Васильевичем Капнистом с 1813 по 1823 год.

Мы прислушиваемся к громким голосам отцов, помня слова Юрия Тынянова.



«Сам человек — сколько он скрывает, как иногда похожи его письма на торопливые отписки! Человек не говорит главного, а за тем, что он сам считает главным, есть еще более главное. Ну, и приходится заняться его делами и договаривать за него».

«Апостол, урожденный Муравьев, вчера приехал на берег Хорола, желает знать о здоровий знакомых ему прибрежных жителей Псела. Он очень устал с дороги, и коль скоро немного отдохнет, то непременно будет на поклон к обуховским пенатам» (даты на письме нет, но водяные знаки на бумаге — 1815 года, а время написания — не позднее 1817-го).

Попробуем, «по Тынянову», договорить за него. Перед нами торопливая, но изящная «отписка», где не сообщается, зачем литератор, тайный советник и бывший посол во многих державах прибывает (и надолго) в те края, куда почта из столицы доставляется примерно через две-три недели, где гостя провожают за 50–70 верст, где подают «грушевый квас с терновыми ягодами, варенуху с изюмом и сливами, кутрю с молоком» и где образованный хозяин Обуховки, надевая на головы дочерей сплетенные им самим венки, разрешает говорить по-русски только за ужином, но особенно любит переходить «с французского на малороссийский».

Узнав, что Иван Матвеевич считает главной причиной переезда в эти края, постараемся услышать еще более главное — обещанный спор с детьми…

Но все по порядку, полтавские картины 20-х годов прошлого века не любят торопливости.

«Соседство Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола, бывшего посланника в Испании, было для нас очень приятно… Промотав имение свое, он не имел средств… Отец мой посоветовал ему ехать к родственнику своему в Малороссию, что он и исполнил, получив от того четыре тысячи душ в потомственное владение и фамилию Апостола… Так как после смерти Апостола настоящие наследники, с досады, сожгли дом его и вырубили лучшую в саду столетнюю липовую аллею, то Муравьев помещался в то время в небольшом экономическом доме, стоявшем на плоском и низком месте, окруженном небольшим фруктовым садом. Он жил, можно сказать, роскошно. Несмотря на скромное помещение свое, роскошь его состояла в изящном столе. Он, как отличный гастроном, ничего не жалел для стола своего. Дородный и франтовски одетый испанец, мэтр д'отель, ловко подносил блюда, предлагая лучшие куски и объясняя то на французском, то на немецком языке, из чего они составлены, — с хозяином же он говорил по-испански».

Вспоминает Софья Васильевна Капнист (в замужестве — Скалон), одна из дочерей поэта; ее записки остаются важнейшим свидетельством и отчасти «договаривают» за Ивана Матвеевича и других тогдашних жителей Псела и Хорола.

По-прежнему долги, сотни тысяч рублей, ушедших на радости жизни, «изящный стол на первом месте». Дети старшие как будто устроены, хотя служить в гвардии убыточно. А души и десятины все закладываются и перезакладываются. Оказывается, что 4000 бывших подданных Михайлы Даниловича Апостола (а с ними — 10 000 десятин земли!) — пустяк.

«Муравьев — Алкивиад, — ядовито замечает родственник и поэт Константин Батюшков. — Готов в Афинах, в Спарте и у даков жить весело». Афины и Спарта — столицы, древнегреческие Петербург, Москва; но даки, среди которых коротал век Овидий, — это нечто вроде тогдашней Полтавщины?

В одном из архивов сохранилась курьезная переписка Ивана Матвеевича с министром юстиции: дело в том, что из Испании пришел счет от повара, услугами которого русский посланник пользовался 15 лет назад. Муравьев клянется, что давным-давно «перевел повару 40 316 реалов, что составляло тогда 3359 рублей, и с тех пор забыл, что он существует». Но поскольку повар из-за семи морей жалуется, что своих реалов не получил, Иван Матвеевич платит второй раз; меж тем «славный кулинар» умирает, его вдова жалуется Александру I, что денег все нет, и из Хомутца безропотно платят в третий раз! Кажется, Ивану Матвеевичу даже поправилось, что у него был когда-то в Мадриде не простой, а столь дорогой повар!

Девиз Ивана Матвеевича: «Пока жив — хочу наслаждаться». И это уже целая общественно-политическая программа, успехи которой видим хотя бы из такого письма:

«Пану Хорольскому не было до сих пор досужего часа поклониться Пселу-Иппокрене. — Да к тому же и способов не было: иппов всех забрал Синельников, а поэтическая крена, или крина, или креница (какая находка для Шишкова!) за 20 верст от прозаического Хорола».

Как легко две украинские речки сливаются с мифологической Иппокреной, простые лошади, взятые губернатором Синельниковым, уж древнегреческие иппосы, а поборник старинной речи адмирал-писатель Шишков должен засвидетельствовать права счастливого автора.

Так забавлялся около 1817-го полтавский родитель петербургских детей…

Теперь прислушаемся к детям.

«У многих из молодежи было столько избытка жизни при тогдашней ее ничтожной обстановке, что увидеть перед собой прямую и высокую цель почиталось уже блаженством, и потому немудрено, что все порядочные люди из молодежи, бывшей тогда в Москве, или поступили в Военное (тайное) общество, или по единомыслию сочувствовали членам его» *(Якушкин)*.

«Избыток жизни», «блаженство» — слова те же, что в декларациях отцов. Сергей Апостол, почти как Иван Матвеевич, защищает право «жить весело». «Будь я поэт, — обращается он к Батюшкову-поэту, — я натер бы самых мрачных красок, чтобы вырвать тебя из рук того отвратительного чудовища, которого

тебе и знать бы не следовало. Я сказал бы тебе: „В мрачном вертепе, среди болот, удушливые испарения которых распространяют в даль свое вредоносное действие, царствует Скука, незаконное порождение музы, настигнутой во время оно зловредным духом… Беги, беги, молодой человек, сих зачумленных пределов, проклятых богами; бойся пагубного влияния и предоставь сей приют несчастным поэтам, осужденным Аполлоном и квакающим в грязи, в которой они валяются“.

Расправившись со скукой, Сергей затем борется со злом по формуле „будь я философ-платоник“, затем „будь я эпикуреец“: „Если парка сплела тебе лишний день, считай себя в прибыли…“

Сергею Апостолу некогда скучать. Оба брата приняты в масонскую ложу „Трех добродетелей“, Сергей даже церемониймейстер ложи». А старики в Полтавской губернии, случайно о том проведав, улыбаются и вспоминают, как в молодости, при Екатерине, тоже забавлялись подобным образом. Впрочем, в отличие от детей, здесь ничего не скрывают, и смысл жизни излагается почти в каждом послании.

И. М. Муравьев-Апостол — В. В. Капнисту 4 ноября (без года), (хранится в Киеве, в отделе рукописей): «Если не противно тебе будет сидеть за столом на стульях работы Кирила Сапка, и не погнушаешься простой трапезой из глиняной посуды, я завтра буду ждать тебя, Капнист, до захождения солнца. Вино ты будешь пить у меня из винограда, что растет между Яссами и Бухарестом, в бочки разлитое… Буде есть у тебя лучше, привези с собой, а в моем доме будь хозяин. Для тебя уже пылает огонь на очаге моем, вычищены диваны, трубки и чубуки. Оставь на один день попечения твои о винокурне, заботы о приращении доходов, тяжбу… Завтрашнее число, ради мученика Галактиона, можно отдохнуть от хлопот и целые сутки провести в дружеской беседе. К чему мне кусок хлеба, если не есть его с добрым другом! Кто жмется да скупится, сберегая карман наследникам, тот недалеко от себя ищи безумного. Я, чтоб о мне ни говорили, хочу начать пить и веселиться. Чего в хмелю не предпримешь. Хмель открывает сокровенное, в душе родит надежды, труса толкает в сраженье, с печального снимает бремя… Кто не красноречив за доброй чаркой? Кто с ней не забывает скудость свою? На этакое дело нет человека способнее меня. Черной скатерти не увидишь, ни вчерашних салфеток, от коих можно нос поморщить; стаканы и рюмки хоть глядись в них, и между гостями не будет такого, который бы вынес говоримое за порог… Я для тебя приглашу Трохимовского, Корбута и Глокера, если голубка жена его, которая ему дороже всех пиров на свете, позволит ему от себя

отлучиться. Пожалуй, место будет и теням, только лучше как попросторнее; худо там ется, где локтям не свободно. Итак, если захочешь посетить меня, отпиши, и, оставя заботы, обмани калиткой поверенного, ожидающего тебя у ворот».

Калиток много. Все дело в том, какую выбрать…

Находясь в веселом расположении духа после удачного смотра, император обращается к генералу Киселеву с вопросом, примиряется ли он наконец с военными поселениями. Киселев говорит, что его обязанность верить в пользу военных поселений, «потому что его императорскому величеству это угодно; но что сам он тут решительно ничего не понимает. „Как же ты не понимаешь, — возразил император Александр, — что при теперешнем порядке всякий раз, что объявляется рекрутский набор, вся Россия плачет и рыдает; когда же окончательно устроятся военные поселения, не будет рекрутских наборов“».

Вероятно, Александр и в самом деле искал добра, но, в противоположность греческому царю, от прикосновения которого все превращалось в золото, здесь все чернеет: разговоры и кое-какие меры в пользу крепостных — крепостным хуже; конституция Польше, тайные проекты будущей конституции для России — и аракчеевщина. Расходы на улучшение дорог — дороги не лучше, крестьяне разорены работами. Мечты о том, чтобы Россия вследствие военных поселений не рыдала от рекрутских наборов, — рыдает и от тех, и от других.

К тому же царь Александр впадает в павловское заблуждение: запреты, расправы, может, прежде и хуже бывали, но всему свое время — Павла задушили люди, уж хлебнувшие «екатерининских свобод». Александр ограничивает тех, кто однажды вздохнул в 1801-м и еще свободнее — в 1812-м; то есть просвещенных полтавских старичков и петербургских гвардейцев.

Василий Васильевич Капнист имел устойчивые привычки: «После обеда, отдохнув самое короткое время на диване в гостиной, выпив с трубочкой свою чашечку кофею, он сходил по террасам вниз в свой любимый небольшой домик, выстроенный на берегу реки и окруженный высоким лесом, где царствовали вечный шум мельниц и вечная прохлада; здесь по большей части он писал все, что внушало ему вдохновение».

К нему часто приходят крестьяне за советом или с жалобою на несправедливости и притеснения исправников и заседателей.

Софья Капнист помнит, «в какое негодование, в какой ужас он пришел раз, когда увидел, катаясь зимой по деревне, в

сильный холод и мороз, почти нагих людей, привязанных к колодам на дворе за то, что они не платят податей. Он немедленно приказал отпустить их. Он так был встревожен этим зрелищем, что, приехав домой, чуть было не заболел и впоследствии своим ходатайством лишил исправника места».

Старик Капнист так любил свою Обуховку, что собирался уехать в Америку, если бы при разделе с братьями она ему не досталась.

Иван Матвеевич, по наблюдениям дочери Капниста, явно исповедует ту же веру.

Он любит гостей, которые в Хомутце, рассаживаясь вокруг камина, беседуют, читают вслух и восхищаются чудным пением хозяина и дуэтами с прекрасной его дочерью Еленой… Старик был до неимоверности учтив, ласков, приветлив к гостям.

Много лет спустя Софья Капнист напишет: «В нынешний эгоистический, холодный век такая любезность, конечно, казалась бы смешною, но в то время она, истинно, была трогательна».

«Эгоистический век» придет, когда состарятся сыновья и дочери любезников. Но успеют ли состариться?

Гвардия в Москве. Если поверить случайному письму Сергея Ивановича к Ожаровскому (сохранившемуся в архиве), то главные события выглядят так:

«Долгие дни, оживляемые лишь свадьбами; Каблуков женился на Завадовской, Обресков на Шереметевой, конногвардеец Сергей Голицын — на юной графине Морковой и 300 000 рублях впридачу. Но Вы не думайте, что я собираюсь под ярмо Гименея; по Вашему совету — жду самую прекрасную, самую умную и любезную москвичку, хотя соблазн велик — и тогда, когда найду, я оставлю службу императорскую, чтобы посвятить себя ей — и стать философом… Никита здесь и чувствует себя хорошо; Ипполит более учен, чем Аристотель и Платон и очень важничает» (по-французски — буквально — «выглядит как новый мост»).

Шуточки шутит гвардии капитан, хотя вперемежку с рассуждениями о «прекрасной москвичке» вскользь брошены знакомые слова — «оставить службу», «стать философом». Но все же было бы совершенно невозможно «договаривать за Сергея Ивановича», если б о тех днях сохранился только этот документ.

Якушкин: «Меня проникла дрожь; я ходил по комнате и спросил у присутствующих, точно ли они верят всему сказанному в письме Трубецкого и тому, что Россия не может быть более несчастна, как оставаясь под управлением царствующего императора; все стали меня уверять, что то и другое несомненно.

В таком случае, сказал я, Тайному обществу тут нечего делать, и теперь каждый из нас должен действовать по собственной совести и собственному убеждению. На минуту все замолчали. Наконец Александр Муравьев сказал, что для отвращения бедствий, угрожающих России, необходимо прекратить царствование императора Александра и что он предлагает бросить между нами жребий, чтобы узнать, кому достанется нанесть удар царю. На это я ему отвечал, что они опоздали, что я решился без всякого жребия принести себя в жертву и никому не уступлю этой чести».

На следующий день это предложение было отвергнуто. Особенно подействовал на собравшихся Сергей Муравьев-Апостол. Он был болен и передал через Матвея записку, доказывающую «скудость средств к достижению цели», то есть: ничего не сделаем после убийства царя.

Другой семеновец, Федор Шаховской, потребует, чтобы дело было передано в его руки. Он так горячится, описывая гибель тирана, что товарищи улыбаются, а Сергей Муравьев-Апостол отныне величает его *тигром.*

Тигр — еще одна муравьевская шуточка, с виду вполне добродушная, но добирающаяся до сути и оттеняющая некоторую несерьезность, чрезмерную пылкость молодого офицера.

Дело далеко зашло. Вспомнив о религиозных чувствах Сергея Ивановича и заметив, что о заповеди «не убий»

серьезные разговоры не ведутся, вычисляем: «Священное писание» поощряет его не к смирению, а к жертвенности. Вопрос только, и только, в том, какой вид жертвы целесообразней!

По некоторым признакам тут был вот какой ход мысли: молодой человек видит тяжелое положение родины, в уме складывается ясное решение, что следовало бы переменить, какую жертву принести. Тот, кто додумался, может возблагодарить разум; однако старинное религиозное чувство нашептывает: если мозг дошел до таких высоких мыслей, это неспроста, это знак, сигнал «свыше». Разумная идея подкрепляется, усиливается особым чувством, иногда даже экзальтацией.

Из века в век так бывало: Жанна д’Арк думает о своей несчастной Франции, тут же слышит некие таинственные «голоса» и ей кажется, что «голоса» первыми произнесли — «несчастная Франция»! Правда, Жанна жила совсем в другое время. Просвещенный же век чаще выводит к действию иной человеческий тип: мозг логический, математический, погасивший до возможных пределов религиозную чувствительность. Наполеон, Вашингтон.

Для Пестеля и его ближайших помощников, Барятинского,

Крюкова, эмоции, страсти, религиозные размышления — только «подданные» в царстве разума. Математический склад ума Сергея Ивановича, кажется, должен вести его в этот ряд сильных людей. Но первый ученик пансиона Хикса не перестает прислушиваться к «голосам».

«Ум ищет божества, а сердце не находит», — это строчка Пушкина, с которой соглашался Пестель.

Но Сергей Иванович, вероятно, тут бы задумался, промолчал, не принял: сердце «находит». И если так, то Апостол слабее, неувереннее тех твердых логиков, кому не нужно подкреплять разум сигналами свыше. Сильный разум вступает в конфликт с нежной, нервной, эмоциональной натурой.

Однако логика чувств зато безусловнее чистого разума. Если уж Жанна д'Арк вышла в поход, ее не остановить. Можно ли переубедить того, кто слышит «голос»?

Пока поставим на этом точку. Поход только начинается. Первые клятвы только произнесены.

«По некоторым доводам, — вспомнит будущий царь Николай I, — я должен полагать, что государю (Александру I) еще в 1818 году в Москве после богоявления (то есть в январе) сделались известными замыслы и вызов Якушкина на цареубийство: с той поры весьма заметна была в государе крупная перемена в расположении духа, и никогда я его не видал столь мрачным, как тогда…»

Вероятно, Александр имел своего осведомителя. Позже получит список членов тайного общества — и не один раз; заговорщиков под благовидными предлогами удалят из столицы — в дальние дивизии, гарнизоны. Но при этом никаких арестов. Однажды царь скажет князю Васильчикову: «Не мне их судить». Возможно, царь имел в виду, что сам поощрял когда-то «либеральные надежды»; но, несомненно, здесь присутствует и тень Павла: ведь наследник был тогда в заговоре и не ему теперь судить новых заговорщиков. Царю Александру впору задуматься о своем наследнике и, может быть, об отречении.

Заговорщики произносят первые клятвы. Отцы кое о чем догадываются.

У Дмитрия Прокофьевича Трощинского 70 тысяч десятин земли, 6 тысяч душ крепостных крестьян, дома в Петербурге и Киеве, движимого имущества на сумму около миллиона рублей серебром.

Весь полтавский край замечает прибытие такого человека в имение Кибинцы (подарок Екатерины, вызвавший некогда известное восклицание «Что скажет Зубов!»). Василий Васильевич

Капнист принципиально не читает газет, однако новости сами являются в облике вчерашнего министра юстиции, служившего трем царям, а ныне свергнутого Аракчеевым. «Милостивый государь мой, — пишет Трощинский одному из друзей. — Поздно отвечаю Вам на два дружеских письма по данному самому себе и вам уже известному обету — никогда не посылать писем моих на нескромную киевскую почту».

«Дай хоть посмотреть на тебя», — просили опального министра простые казаки, такие, каким он сам был когда-то.

И вот на первых же именинах экс-министра, 26 октября, — величайший съезд гостей — от генерал-губернатора князя Репнина-Волконского до всех Капнистов; и от Муравьевых-Апостолов до «Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича», ибо ссора между этими достойнейшими людьми (согласно жалобе, которую съела бурая свинья) произошла 1810 года июля 7-го дня и еще не была решена миргородским судом даже в 1831 году.

Гостей развлекает дальний родственник хозяина Василий Федорович Гоголь-Яновский, а привезенный на поклон его сын Николай смущенно раскланивается с целой залой своих будущих героев… Как будто оценивая собравшихся, Иван Якушкин издалека замечает: «Все почти помещики смотрели на крестьян своих как на собственность, вполне им принадлежащую… Вообще свобода мыслей тогдашней молодежи пугала всех».

Заметим «все почти» в начале этой фразы и «всех» в конце: Якушкин и его молодые друзья, случалось, пугали своим свободомыслием даже тех, кто не смотрел на крестьян, как на продаваемый и покупаемый предмет… Молодые спорили и с хорошими стариками, не попавшими в группу «все почти», но вздрагивающими вместе со всеми.

С некоторых пор не только отдаленная полемика — прямые стычки. Матвей Муравьев-Апостол, по-прежнему числясь по Семеновскому полку, переводится из столицы поближе к родне — в адъютанты к малороссийскому (полтавскому) генерал-губернатору князю Репнину-Волконскому, не худшему из начальников (между прочим, родному брату декабриста Сергея Волконского). В прямой и заочный спор вступает меж тем сильный противник — Николай Михайлович Карамзин, с которым Сергей и его друзья довольно часто видятся в Петербурге.

«Всякое гражданское общество, веками утвержденное, есть святыня для добрых граждан; и в самом несовершеннейшем надобно удивляться чудесной гармонии, благоустройству, порядку. Все исправить — мечта доброго сердца. Перемены произойдут лишь посредством медленных, но верных, безопасных

успехов разума, просвещения, воспитания, добрых нравов». Когда люди уверятся, что для собственного их счастья добродетель необходима, тогда настанет «век златой…». Всякие же насильственные потрясения гибельны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот.

«Предадим, друзья мои, предадим себя во власть Провидения; оно, конечно, имеет свой план; в его руке сердца государей — и довольно.

Легкие умы думают, что все легко; мудрые знают опасность всякой перемены и живут тихо».

Молодым брошено предостережение — «легкие умы». Но «мудрый» тут же получает в ответ цитату из собственного сочинения: «В Англии нет человека, от которого зависится жизнь другого» (имеется в виду суд присяжных).

И еще слышит из Карамзина: «Цветущее состояние швейцарских земледельцев происходит наиболее от того, что они не платят почти никаких податей и живут в совершенной свободе и независимости, отдавая Правлению только десятую часть из собираемых ими полевых плодов».

Ну а российский суд, российский земледелец?

Иван Матвеевич извещает Капниста, что очень доволен историей Карамзина, особенно предисловием к ней.

«Молодые якобинцы, — по словам Пушкина, — негодовали… Некоторые из людей светских письменно критиковали Карамзина. Никита Муравьев, молодой человек, умный и пылкий, разобрал предисловие или введение».

Юный поэт видит в Карамзине умного защитника «самовластья и кнута».

Важный спор все резче. Суд присяжных, конституции, заговоры… «Молодым якобинцам» начинает возражать не старец — ровесник, Федор Герман, образованный чиновник, родственник и приятель нескольких декабристов: «Гражданское общество должно состоять из граждан; законы должны иметь исполнителей; а ни теми и ни другими не могут быть ни дикие, ни полудикие дети природы… Какая, например, мне выгода в суде присяжных, когда они будут судить меня бессовестнее неприсяжных, не понимая святости клятвы и предавая свою присягу моему обвинителю?.. Кто будут у нас представители, кто избираемые и избраны? Одним словом, нам потребен другой Петр I со всем его самодержавием, а не Вильгельм III, не Людовик XVIII с их конституциями; даже не Франклин и не Вашингтон с их добродетелями… Младенческий возраст России пройдет… Тогда сами цари даруют ей основные законы, ибо они не могут быть счастливы и истинно велики без счастья и величия

пародов своих».

«Еще волнуются живые голоса
О сладкой вольности гражданства!»
Но жертвы не хотят слепые небеса:
Вернее труд и постоянство.

Законы, гражданское общество, величие народов!.. А по Пречистенке из Хамовнических казарм идет батальон Семеновского полка под начальством полковника, будущего генерала Леонтия Гурко.

«Когда полк пришел в манеж, — вспоминает Матвей Муравьев, — людям, как водится, дали поправиться, затем учение началось, как всегда, ружейными приемами. Гурко заметил, что один солдат не скоро отвел руку от ружья, делая на караул, и приказал ему выйти пред батальоном, обнажить тесаки, спустить с провинившегося ремни от сумы и тесака.

Брат мой повысил шпагу, подошел к Гурко, сказал, что солдат, выведенный из фронта, числится в его роте, поведения беспримерного и никогда не был наказан. Гурко так потерялся, что стал объясняться с братом перед фронтом по-французски. И солдат не был наказан.

Когда ученье кончилось, солдатам дали отдохнуть, а офицеры собрались в кружок пред батальоном, тогда я взял и поцеловал руку брата, смутив его такой неожиданной с моей стороны выходкой».

Когда узнают об этом отцы, Карамзин, Федор Герман, что скажут? Ну, разумеется: «Молодец, Апостол, браво!» Но прибавят, что суть не в этом. Суть в том, откуда взялся Леонтий Гурко.

«Аракчеев и другие орудия тиранства возникли посреди нас», — восклицает Федор Герман. «Государь, — пишет Карамзин Александру, — я люблю только ту свободу, которую ни один тиран не сможет у меня отнять».

Дерзко! Хорошо, что Александр не считал себя тираном и на свой счет не принял.

Но разве молодые читатели «Истории государства российского» любят иную свободу, чем автор?

«Государь, — напишет Каховский из крепости, — мне собственно ничего не нужно, мне не нужна и свобода, я и в цепях буду вечно свободен».

Но те, кто изнутри рабы, будут ли свободны и без цепей?

Сто душ имеешь ты, поверю, за собой;
Да это и когда я мнил опровергать?

Назвав тебя бедняк, хотел лишь я сказать,
Что нет в тебе одной.

Эту распространенную эпиграмму толковали по-разному. Одни — что нужно освободить «сто душ» и еще миллионы; другие — что неплохо бы улучшить душу самого владельца. Князь Репнин-Волконский (кажется, но без влияния своего адъютанта Матвея Муравьева) заклинает полтавских дворян «не нарушать спасительные связи между вами и крестьянами». Губернатор опасается, что у дворян «в семье не без урода, а в большом семействе много уродов, и чуть ли не больше таковых, чем добрых людей».

Спорят, ищут…

Иван Матвеевич позже напишет приятелю, что главной идеей греческого трагика было показать «борьбу деспотизма с мощью сильной души, просветленной рассудком здравым, умом спасительным…».

Прометей, по мнению отца декабристов, — это герой, который не желает удостоить ни одним словом слуг тирана, ни того, кто его жалеет, ни даже тех, кто злорадствует над его несчастьем. «Он старается сдержать себя, не произнося ни единого слова, когда видит себя одним. Не напоминает ли вам это столь же сильного презрения Вергилия, когда поэт, ведя Данте по аду и показывая ему равнодушных, ограничивается лишь замечанием: „Моя стража прошла…“»

Старший Муравьев-Апостол прославляет ту свободу Прометея, которую не отнять даже Зевсу. Хорошо, верно…

Итак, внутренняя свобода прежде всего! Но все же о похищении огня, подарке людям, об этих свободных действиях еще не закованного титана Иван Матвеевич почему-то не говорит… Он любит толковать с детьми о Демокрите и Эпикуре. Демокрит — вся жизнь в поисках, странствиях, борьбе, страданиях — во всем мире ищет и не находит истины и в конце концов, согласно легенде, ослепляет себя, чтобы внешний мир не мешал главному делу — познанию самого себя. Эпикур стремится к высшей истине, никуда не выезжая из родных Афин, любит тихие беседы, мирные услады, умирая, просит положить его в теплую усыпляющую ванну.

Отец зовет в эпикуры, жизнь посылает в демокриты…

Рой пчел был в это время эмблемой, девизом нового тайного общества — Союза благоденствия. Одна пчела за всю свою

пчелиную жизнь едва изготовляет один грамм меда… Ложка сладкого нектара, съеденная разом, — примерно 20 пчелиных жизней.

Таков прогресс, такова история — и если пчел много… Один из декабристов вспомнит: они считали, что в каждом городе (очевидно, крупном) должно быть минимум 150 членов тайного союза, и, когда это будет достигнуто, «улей наполнится». Но не найдется ли какого-нибудь иного способа увеличить добычу в 10, 100 раз, быстро овладеть сладкой тайной?

Ждать ли, пока Общество благоденствия постепенно просочится во все поры государственного механизма, улучшая по пути правосудие, экономику, нравы, освобождая тысячи людей внутренне, и лет через 25–50 добиться коренной перемены дел в стране?

Или взяться за оружие, сразиться сейчас же? Чуть позднее? Уверенность, что надо принести себя в жертву, крепнет. Но мука в том, как сделать это? Когда? Такому, как Сергей Иванович, вдвойне, втройне тяжко: нельзя не погибнуть, если велят разум и чувство; но еще невозможнее погибнуть зря, погибнуть не так… И торопиться надо, «пока свободою горим».

Пока свободою горим…

Все ли замечают это изумительное *«пока»!* Пока горим — надо посвятить отчизне «души прекрасные порывы». Пока… А то вдруг после гореть не будем и не посвятим?

Пушкин через шесть лет сочинит новое послание Чаадаеву:

> Чедаев, помнишь ли былое?
> Давно ль с восторгом молодым
> Я мыслил имя роковое
> Предать развалинам иным?
> Но в сердце, бурями смиренном,
> Теперь и лень и тишина,
> И, в умиленье вдохновенном,
> На камне, дружбой освященном,
> Пишу я наши имена.

То, прежнее, «пока горим» минуло, но перешло в иное высокое чувство: а не было бы того «молодого восторга», не пришли бы теперь «умиленное вдохновенье», «священная дружба». Кстати, второе послание к Чаадаеву начинается словами «К чему холодные сомненья?». Пушкин имел в виду точку зрения Ивана Матвеевича Муравьева на древнюю историю Крыма… Не угадал ли снова поэт разницу «холодных сомнений» отца и «горячих» («пока… горим») — у детей?

Большой альбом, обтянутый черным сафьяном, с золотыми застежками и золотым обрезом появился в ту пору в Тригорском: подарок Прасковье Александровне Осиповой от родственника Сергея Муравьева-Апостола.

Согласно поверью, — тому, кто открывал своей записью подобный альбом, угрожала насильственная смерть. Поэтому начала хозяйка дома, будущая добрая приятельница Пушкина: «Так как я ничего не боюсь, и менее всего смерти, то и начинаю мой альбом».

Вслед за нею вписал несколько французских строк Сергей Муравьев-Апостол: «Я тем более не боюсь смерти, но и не желаю ее… Когда она явится, то найдет меня совершенно готовым, и только тогда память о Вас, любезная кузина, оставит мое сердце, если только не последует за мною на тот свет (за что я уж не могу поручиться).

Ваш кузен Сергей Муравьев-Апостол.

1816. 12 мая, Петербург».

А на следующих листах тригорского альбома несколько стихотворений, вписанных пушкинской рукой: «Редеет облаков летучая гряда…»; то самое послание Чаадаеву, о котором только что говорилось.

Еще Пушкин — «Быть может, уж недолго мне…», «Цветы осенние милей…», меж пушкинскими строками — Дельвиг:

И прежде нас много веселых
Любили и пить и любить:
Не худо гулякам усопшим
Веселья бокал посвятить.
И после нас много веселых
Полюбят любовь и вино,
И в честь нам напенят бокалы,
Любившим и павшим давно.

Так встретились в одном альбоме примечательные современники.

В рисунках, набросанных пушкинским пером, угадывается лицо Сергея Муравьева. Они встречались, может быть, не раз — у «беспокойного Никиты», в компании других родственников и друзей, например Лунина. Там были люди, к которым шли эпитеты — дерзкий, вдохновенный, мятежный, но только не холодный.

Сложнейшие перемены в душе и мыслях Пушкина происходят в странствиях, начавшихся после изгнания из столицы в мае 1820 года.

Через пять месяцев командир роты Семеновского полка Сергей Муравьев-Апостол отправляется вослед, и тень Демокрита, вызванная Иваном Матвеевичем, ждет еще одного последователя…

Желчный, наблюдательный мемуарист Филипп Вигель осенью 1820 года встречает на Гороховой улице Сергея Муравьева с каким-то однополчанином:

«Что с вами? — спросил я. — Мне кажется, вы нездоровы?

— Нет, я здоров, только не весел, — радоваться почему.

— Потерпите, — сказал я, — надейтесь.

Грустно взглянул он на меня, промолвив: „Жить в надежде, умереть в дерьме“; поклонился и пошел дальше».

Любимый Семеновский полк был отдан в начало 1820 года аракчеевцу Федору Шварцу, которому объяснили, что офицеры не применяют здесь телесные наказания. Шварц также не применял их первые месяцы. А вскоре…

«Недовольный учением, обращал одну шеренгу лицом к другой и заставлял солдат плевать в лицо друг другу: утроил учение…»

Затем, поняв, что семеновцы перешли на новый режим, полковой командир ввел и телесные наказания, «прославившись в армии погостом своего имени».

Матвею Ивановичу Муравьеву-Апостолу, находившемуся на службе в Полтаве, было очень интересно и важно, что происходит в родном Семеновском. Сергей написал большое письмо, оно сохранилось в бумагах Матвея, попало к следователю, после приговора было передано родне, и тут-то Бибиков, муж сестры Екатерины, «в припадке непонятного страха» (выражение его родственников) уничтожил переписку братьев… Матвей Иванович «с ужасным сожалением вспоминал о погибших тут письмах брата»…

Первая гренадерская рота полка приносит жалобу на командира, роту отправляют в крепость, солдаты ищут Шварца, тот прячется в навозную кучу. Одиннадцать других рот, в том числе рота Сергея Муравьева, выходят из казарм: «Отдайте нам стариков или посадите вместе с ними». Известие быстро распространяется за сотни и тысячи верст. Капнисту доставляют записочку из Хомутца: «Меж тем как Вы, дорогой сосед мой, любите меня и Сережу моего, то я уверен порадуетесь со мною вместе о том, что получил о нем. Я посылаю Вам копию письма Мейендорфа к мадемуазель Малфузовой» (очень близкой к семье Муравьевых).

В Киеве, к счастью, удалось ту копию разыскать, и вот она в переводе с французского:

«30 ноября (1820).

Вчера я получил Ваше письмо от 12 ноября и спешу ответить. Я, как никто, понимаю ту тревогу, которую должна была вызвать у Вас новость о Семеновском полке, по к тому моменту, когда Вы получите это письмо, у Вас не будет оснований для беспокойства. Вы, без сомнения, имеете точные и подробные описания события, важного не столько самого по себе, сколько тем, что было сделано для подавления бунта. Господин Серж[5] в этих обстоятельствах не изменил себе; напротив, они помогли ему обнаружить прекрасный характер и показать, как благородно он мыслит и действует. Во время кризиса он своею властью удержал всю роту, готовую восстать. Он ночевал у своих гренадеров, сумел их успокоить. Это было всего через несколько часов после того, как волнение охватило солдат, которые относились к нему с предельным уважением в течение всего кризиса. В крепости Сергей первый собрал свою роту. Это будет учтено военным судом и еще более увеличит то уважение, которое все время испытывали к нему его начальники и товарищи. Вам известен, конечно, приказ императора. Будущность Сергея не должна вызывать у Вас какого-либо беспокойства. Могу Вам сказать уверенно, что в обществе отдают должное твердому, разумному и уверенному поведению Сергея. О нем говорят только с большим уважением; даже те, которые знают его лишь понаслышке, бесконечно сожалеют, что гвардия теряет одного из лучших офицеров, который в этой ситуации сделался еще более достойным всеобщего уважения…»

Так видит события умеренный, верноподданный и тем не менее недовольный человек.

Сергей Иванович выводит семеновцев из крепости поротно и затем, как полагается, идет рапортовать Шварцу. «Этот, растроганный, подвел Сергея Ивановича к образу и сказал ему приблизительно следующее:

„Бог свидетель, я не виновен, что лишил Россию такого полка, я его не знал; мне говорили, что это полк бунтовщиков, и я поверил, а я не стою последнего солдата этого полка“».

Шварца приговаривают к смертной казни, но заменяют «увольнением от службы без права вступить в нее».

18–19 октября 1820-го:

Полковник *Ермолаев* и *Сергей Муравьев-Апостол* — их другу полковнику *Щербатову:*

«Жаль, что для одного человека, подобного Шварцу, должны теперь пострадать столько хороших людей… Участь наша неизвестна, мы не под арестом и пользуемся свободой. Впрочем, что бы ни было, совесть наша чиста».

Солдат удержали, спасли от крови, каторги — дело хорошее. Совесть чиста. Но отчего же так невесело? Отчего — «жить в надежде, умереть…»?

Через 20 дней *Федор Шаховской* («тигр») — *Щербатову:*

«Первый батальон преспокойно живет в крепости, второй попал только одной половиной в Свеаборг, а другая прибита бурею в Ревель, куда послан для командования Сергей Муравьев».

Кстати, это письмо, как и предыдущее, сохранилось в копии, сделанной правительственными чиновниками при вскрытии, перлюстрации чужих писем. В отделе рукописей Публичной библиотеки в Ленинграде лежит более шестидесяти таких копий, снятых с самых разных «семеновских посланий». На каждом документе пометка «с подлинным верно» и подпись соответствующего почтмейстера: если письмо вскрывалось в Москве — московского, в Киеве — киевского и т. п.

И чего только не выписывают на тех почтамтах! Вот бывший семеновец Бибиков пишет своей жене Екатерине (урожденной Муравьевой-Апостол), что во всей этой истории «из мухи сделали слона»; а у Сергея Муравьева-Апостола прочитали (и скопировали) жалобу: «Каково сдавать роту в сем ужасном беспорядке. Я тогда отдохну и порадуюсь, когда сяду в сани, чтобы ехать в Полтаву».

И вдруг — письмо 17-летнего семеновского юнкера, который доказывает отцу, что нынешнее происшествие вовсе не связано с его шалостями (как родители непременно подумают!).

«Еду в Полтаву. Долго ли пробудем, неизвестно, есть надежда, что нас простят. Ради бога, не огорчайтесь, карьера может поправиться. В бытность мою в Петербурге не успел заслужить прежние вины, но новых не делал, и вперед все возможное старание употреблю сделаться достойным Вашей любви. *Михаил Бестужев-Рюмин».*

Так этот юноша впервые появляется в нашем рассказе.

Иван Матвеевич — Капнисту 1 декабря 1820 года:

«Чувствительно Вам благодарен, любезный сосед, за принимаемое Вами участие в моих беспокойствах о Сереже; и не менее того благодарен и любезному Семену Васильевичу (сыну Капниста)… А я вчера получил от 16 (ноября) от возвратившегося уже из Ревеля Сережи, который в восхищении от эстляндских красавиц, пишет, что его носили на руках, давали ему званый обед у губернатора, бал великолепный, не знаю где — и вот все тут…»

Надо полагать, красавицы и губернатор давали балы оппозиционные — из сочувствия и приязни к семеновцам и неуважения к аракчеевцам. Но аракчеевцы не отдали эстляндским

красавицам семеновских офицеров. Иван Матвеевич уже кое-что слышал и волнуется.

«О приказе, распечатанном в Петербурге по 16-е число (от Сережи), ни слова».

Сергей не спешит известить родных о своем появлении в их краях. Один из лучших офицеров лучшего гвардейского полка сослан в армию — сначала в Полтавский, а потом Черниговский полк. Его брат Матвей, хоть и не был в Петербурге, тоже числится семеновцем и отвечает за «историю».

«Нашелся ли хотя бы один офицер Семеновского полка, который подверг себя расстрелянию? Вы меня спросите, зачем им подвергать себя этому, по дело идет не о пользе, которую это принесло бы, а о порыве к иному порядку вещей, который был бы сим обнаружен».

Так писал позже один прежний семеновец другому: Матвей Муравьев-Апостол — Сергею. Вопрос о «расстрелянии» и «порыве» оставался нерешенным. Годом раньше Карамзин сказал: «Честному человеку не должно подвергать себя виселице». Сергей Муравьев-Апостол наверняка слышал эту фразу одного из «отцов». Может быть теперь в последний раз он пытается найти честный путь мимо виселицы; «жить в надежде»…

Через 63 года, в 1883-м, когда в Преображенской слободе праздновалось 200-летие Семеновского полка, высокое начальство и царская фамилия были поражены видом престарелого семеновца с бородинским крестом (только что ему возвращенным), спросили: кто это?

— Муравьев-Апостол, девяноста лет.

В эту пору Матвея Ивановича посещал один из знаменитейших людей. Он запомнил его рассказ, которым несколько лет спустя и начал известную статью против телесных наказаний под названием «Стыдно»:

«В 1820-х годах семеновские офицеры, цвет тогдашней молодежи, большей частью масоны и впоследствии декабристы, решили не употреблять в своем полку телесного наказания и, несмотря на тогдашние строгие требования фронтовой службы, полк и без употребления телесного наказания продолжал быть образцовым.

Один из ротных командиров Семеновского же полка, встретясь раз с Сергеем Ивановичем Муравьевым, одним из лучших людей своего, да и всякого, времени, рассказал ему про одного из своих солдат, вора и пьяницу, говоря, что такого солдата ничем нельзя укротить, кроме розог. Сергей Муравьев не сошелся с ним и предложил взять этого солдата в свою роту.

Перевод состоялся, и переведенный солдат в первые же дни

украл у товарища сапоги, пропил их и набуянил. Сергей Иванович собрал роту и, вызвав перед фронт солдата, сказал ему: „Ты знаешь, что у меня в роте не бьют и не секут, и тебя я не буду наказывать. За сапоги, украденные тобой, я заплачу свои деньги, но прошу тебя, не для себя, а для тебя самого, подумай о своей жизни и измени ее“. И сделав дружеское наставление солдату, Сергей Иванович отпустил его.

Солдат опять напился и подрался. И опять не наказали его, но только уговаривали: „Еще больше повредишь себе; если же ты исправишься, то тебе самому станет лучше. Поэтому прошу тебя больше не делать таких вещей“.

Солдат был так поражен этим новым для него обращением, что совершенно изменился и стал образцовым солдатом.

Рассказывавший мне это брат Сергея Ивановича, Матвей Иванович, считавший, так же как и его брат и все лучшие люди его времени, телесное наказание постыдным остатком варварства, позорным не столько для наказываемых, сколько для наказывающих, никогда не мог удержаться от слез умиления и восторга, когда говорил про это. И слушая его, трудно было удержаться от того же».

Запись Льва Толстого почему-то редко учитывается среди декабристских воспоминаний (между тем этот эпизод вообще сохранился для нас только благодаря писателю). Заметим слова об «одном из лучших людей своего, да и всякого, времени»; не потому только заметим, что великий Толстой хорошо отозвался о нашем герое; ведь мнение это особенно дорого, так как Лев Николаевич не разделял основных идей Сергея Ивановича, считал ложным путем мятеж, восстание, пролитие крови, даже ради самой благородной цели. Всю жизнь писателем владело искушение написать о декабристах — и несколько раз отказывался от замысла. Причин тому было немало — о «французском воспитании» уже говорилось. Но одна из главных причин — несогласие. Повторяя, что «человек, совершающий насилие, менее свободен, чем тот, который терпит его», Толстой откладывает начатый роман о декабристах, по через год-другой опять к нему возвращается. Отчего же? Да оттого, что многие декабристы были чистыми, хорошими людьми и нравственность их была такой, какую Лев Николаевич мечтал вообще видеть в людях. Итак: кровь, бунт — *нет;* но люди-то какие! И как быть, если решительнейший бунтовщик — «один из лучших людей своего, да и всякого, времени»? Тут концы не сходились с концами, и великий Лев волновался, даже сердился, но не мог забыть…

Между тем кончается 1820-й — последний год в романе

«Война и мир», последний для старого Семеновского полка.

Глава V
«Слишком чист»

«Ах, Юлия, — печально заметил я. — Для чего нам отныне наша постылая молодость?»

Руссо. «Юлия, или Новая Элоиза»

Аристоник восстал за свободу, разбит и казнен.

Пергам. 133–129 гг. до н. э.

Согласно «Списку существующих в Российской империи ярмарок», с 7 по 31 января в город Киев, на крещенскую, или иначе контрактовую ярмарку, съезжается достаточно торгующих людей, чтобы предложить российских, европейских и колониальных товаров на 4 миллиона 100 тысяч рублей, покупатели же увезут приблизительно половину экипажей, мягкой рухляди, вина, картин, кож, рогож, книг, оптических инструментов, шалей, медикаментов и «протчих мелочей». Другая половина названных товаров остается нераспроданной, ибо, как сообщается в том же справочнике, «народу стекается до 50 тысяч», и в среднем каждый тратит 40 рублей, каковую сумму солдатик киевского гарнизона или заезжий крестьянин едва ли соберет за год, а подполковник Сергей Муравьев-Апостол с 18-летним братом-кадетом, конечно, могут себе позволить такие траты, но задумаются, стоит ли; для генерала же Сергея Григорьевича Волконского, хозяина квартиры в сердце ярмарки, на Подоле, с 40 рублей «деньги еще не начинаются».

Январь 1823-го — два года спустя после того, как Север «стал вреден» Семеновским солдатам и офицерам.

«Пестель *торжественно* открыл заседание». Самый юный и впечатлительный из участников подчеркнул в своей записи слово «торжественно». Запомнил.

Два генерала, Волконский и Юшневский, два полковника, Пестель и Давыдов, подполковник Сергей Муравьев-Апостол и прапорщик Михаил Бестужев-Рюмин — все из разных полков, дивизий, губерний, верст за 300–500 друг от друга. Но сейчас праздник, контракты, «вина разного продано на 107 тысяч рублей», офицерские пирушки повсюду, и даже веселому

любознательному Ипполиту не нужно объяснять, отчего ему следует погулять несколько дней по Киеву одному, да и не соскучится — развлечений для всех возрастов и сословий в изобилии…

Полковник Пестель «торжественно открыл», потому что его просят председательствовать.

«Он спросил: согласны ли мы на введение республиканского правления в России. — Мы сказали: да».

Пестель объясняет, как все произойдет: начнет Петербург, ибо там «средоточие всех властей», южане поддерживают удар, берут под контроль многие губернии, корпуса и — дело сделано!

Сергей Муравьев-Апостол вдруг возражает: «Не ждать удобных обстоятельств, а стараться возродить оные», то есть не надеяться на Петербург, а самим начать.

Что произошло? Откуда эта необыкновенная решительность?

Сергей: «Со времени вступления моего в общество, даже до начала 1822 года, когда я свиделся в первый раз по переводе моем в армию с Пестелем в Киеве, я был самый недеятельный… не всегда бывал на назначенных собраниях, мало входил в дела, соглашался с большинством голосов и во все время не сделал ни одного приема. С 1822 года… имел деятельнейшее участие во всех делах общества».

Год назад он возвращался с прежних январских контрактов *«боярином»* — так именовались вступившие в Южный союз прежние члены Общества (кроме Пестеля и Юшневского — *директоров)*. А те, кого примут в будущем, — *братии.*

С Пестелем Сергей Муравьев давно знаком по Петербургу, но впервые увиделись на юге лишь год назад. Тогда разъехались, многого не решив; Пестель изложил свою «Русскую Правду», план будущего переворота, временного правления после победы. Всем предложено думать; а так как переписываться, кроме вернейших оказий, не рекомендуется и нет возможности из разных украинских городов и местечек съехаться иначе как на следующую контрактовую ярмарку, значит, думать целый год.

Однако Южное общество создано, и Сергей Иванович Муравьев возвращается в свой Полтавский полк, а затем переходит в Черниговский «по стезе добродетели и опасности». В январе 1823-го — снова крещенская ярмарка, 50 ООО покупателей; и ответы на прошлогодние задачи; в Пушкин позже запишет строки о Муравьеве, который «минуту вспышки торопил…».

Только в плохих пьесах недеятельный герой вдруг становится самым деятельным. Какая-то пружина распрямилась, нечто важное произошло с Сергеем Муравьевым между Семеновским

бунтом и Киевскими контрактами. Но разве дознаешься у этого молчаливого, вежливого, добродушного офицера?

Но попробуем все же. Преследования властей, обида? Было. Еще в мае 1821 года к императору поступает злобный и толковый донос:

«С поверхностными большею частью сведениями, воспламеняемые искусно написанными речами и мелкими сочинениями корифеев революционной партии, не понимая, что такое конституция, часто не смысля, как при-< вести собственные дела в порядок, и состоя большею частью в низших чинах, мнили они управлять государством…

Кажется, что наиболее должно быть обращено внимание на следующих людей:

1) Николая Тургенева

2) Федора Глинку

3) фон-дер-Бриггена

4) всех Муравьевых, недовольных неудачею по службе и жадных возвыситься

5) Фон-Визина и Граббе

6) Михайлу Орлова

7) Бурцова».

Доносит Михаил Грибовский, доктор Харьковского университета, библиотекарь гвардейского Генерального штаба, автор известной книги о необходимости освобождения крепостных, член Коренной управы Союза благоденствия.

Уже не первый, но самый компетентный осведомитель. «Недовольные Муравьевы»… Это замечено, это сработает, и, когда командование захочет дать Сергею Ивановичу полк, наверху «придержат».

Но не стоит и преувеличивать: существует большая литература о том, почему Александр I не принял мер, не произвел арестов и позже оставлял «без внимания» сведения о тайных обществах, так что Николаю I понадобилось лишь дать ход некоторым бумагам, без движения лежавшим в кабинете его старшего брата… «Не мне их судить».

Брат Константин повсюду именуется наследником, но уже в 1819 году младшему брату Николаю сообщено, что престол достанется ему. Завещание Александра и отречение Константина запечатано и спрятано в Государственном Совете, Сенате, Синоде и Успенском соборе в Москве.

Тайна соблюдается строжайшая: Аракчеев по поручению царя специально спросил московского митрополита Филарета, каким образом он собирается внести конверт в Успенский собор. Тот объяснил, что во время торжественного богослужения войдет в

алтарь (это ни у кого не вызовет подозрений) и спрячет конверт в ковчег.

Аракчеев подчеркнул, что «государю императору неугодна ни малейшая гласность».

Почему?

Возможно, царь до поры до времени щадил самолюбие Константина, избегая «нежелательных толков» об этом отречении.

Однако даже в 1824-м, во время серьезной болезни, Александр не сделал никаких дополнительных распоряжений.

Разве не понимал, что необъявленное завещание легковесно и опасно? Разве не помнил 1796 года, когда такой же конверт с *его* именем «не сработал», поскольку не был вовремя оглашен?

Что же это: легкомыслие? Боязнь смуты, появления «константиновской партии»? Или суеверное ожидание: в 1796-м промедление избавило его от трона, принадлежавшего отцу; может быть, какие-то иные события переменят и нынешнюю обстановку?

Число вопросов можно увеличить… Донос Грибовского пущен в ход и в то же время сокрыт, как и «главное завещание». «Недовольные Муравьевы», на которых доносит Грибовский, кто в отставке, кто возвращается на службу с повышением, кто, наоборот, обезврежен переводом из гвардии в далекие армейские полки.

Наблюдательная соседка Софья Капнист заметила, запомнила и много лет спустя признавалась: «Я и теперь с ужасом представляю себе его (Сергея) жестокое в то время положение.

После службы в гвардии, где умели узнать его достоинства, где все его любили, отдавая полную справедливость его уму и добрым качествам души его, он брошен был в Бобруйск, в страшную глушь, в полк к необразованному и почти всегда пьяному полковому командиру, которого никак не мог он уважать и потому в отпуск даже ездил всегда без его ведома.

В Бобруйске он был совершенно один, без родных, без товарищей, окруженный каторжными в цепях и в диких нарядах, получерных и полубелых, с головами наполовину обритыми, народом несчастным и угнетенным, на который нельзя смотреть без ужаса и без страдания.

После этого не мудрено, что он всегда был в каком-то раздражительном положении; все его томило, все казалось ему в черном виде, и все ожидал он чего-то ужасного в будущем…»

Так или иначе, тяжелые предчувствия кажутся признаками усталости, а не подъема. Перелистывая сохранившиеся южные письма, также наблюдаем, что «петербургские меры» как будто дают эффект. Подполковник устал, хочет отдохнуть, уйти.

Младшей сестре Анне и ее мужу А. Д. Хрущову в Бакумовку Полтавской губернии пишутся такие строки: «Как этот несносный поход мне наскучил! Как был бы я счастлив, если бы мог бросить службу и удалиться в Хомутец, где теперь я был бы счастливее, чем когда-либо!

Чем более я живу, тем более я убеждаюсь в той истине, что подлинное счастье есть отдых на лоне семьи согласной и достойной быть таковою! И скажите мне, дорогой брат, возможно ли желать другой, чем та, к которой мы принадлежим? Где найти женщину более добродетельную, более чистую и лучшую, чем мама! А папа — какой прекрасный и добрый характер! Как я всегда трогал его каким-нибудь поступком великодушным и деликатным, как всегда видел я его счастливым при событии, которое позволяло его сердцу раскрыться!..»

Автор письма с наслаждением весь погружается в мир семейственный, идиллический: сестра родила, «и Аннет, я уверен, будет превосходной матерью. Жду и не дождусь увидеть ее как Мадонну Рафаэля с ее ребенком на руках. Кормит ли она сама? Это самая важная, самая святая обязанность, и ребенок женщины, которая кормит его сама, вдвойне принадлежит ей».

И только одной фразой Сергей высказывает нечто большее: «Все то, что мы делаем для утверждения и созидания счастья лиц, которых мы любим, которыми дорожим, велико, прекрасно и благородно».

Все то… Наверное, у него меж разными мирами нет перегородок. Сестра кормит сама. Принести благо ей, братьям, отцу, матери (то есть мачехе), друзьям, всем страждущим, отечеству… К этому зовет всякое благое чувство, может быть посланное свыше, религия.

«Мадонна Рафаэля», жертва за отечество…

Конечно, мы знаем, как он умеет толковать в письмах о *неглавном* (но при том поддерживая необходимую «душевную форму»). И все же пока нет ответа, почему посреди ярмарочного шума, в просторной квартире на Подоле, он торопит — самим, скорее…

Хотя отпуска запрещены, но на несколько дней вырваться из Киева или Василькова за сотню-другую верст в Хомутец можно, и время от времени Сергей Иванович там появляется, а Матвею, состоящему при полтавском генерал-губернаторе, и того проще это делать.

Иван Матвеевич — Капнисту:

«Сережа мой приехал, и я еще не видел его. Прикатив до света, когда все еще в доме спало, он отправился… высыпать все ночи, которые вытрясла из него перекладная».

Софья Капнист помнила, что Сергей был любимцем отца и имел большое влияние на него. «Так как старик был некоторым образом и эгоист и деспот, и часто несправедлив против старших детей своих, вообще не любил и не ласкал их после второй женитьбы своей, то приезд в дом Сергея Ивановича был всегда благодетельный.

Его в семействе все обожали и не называли иначе, как добрым гением; он всегда все улаживал и всех примирял, давал хорошие советы; меньшие сестры называли его вторым отцом своим».

Отношения с отцом — и «вспышку торопил». Какая связь?

Летом 1820 года в Одессе в одно время оказались Иван Матвеевич с женой и младшими детьми, Капнисты, братья Никита и Александр Муравьевы с матерью, Михаил Лунин.

Софья Капнист вспомнит:

«Мы часто виделись там с Иваном Матвеевичем Муравьевым-Апостолом, у которого была прекрасная квартира над самым морем. Я никогда не забуду, как одни раз отец мой, сидя у них на балконе и видя молодых людей наших, ходивших взад и вперед по двору, споривших горячо и толковавших о политических делах и о разных предложениях и преобразованиях, в самом жару их разговоров внезапно остановил их вопросом:

— Знаете ли, господа, как далеко простираются ваши политические предположения?

Лунин первый воскликнул:

— Ах, скажите, ради бога!

— Не далее как от конюшни до сарая! — сказал мой отец, и эта неожиданная ирония смутила и сконфузила их совершенно».

Лунин и Никита Муравьев были не из тех, кто легко конфузится даже перед столь почтенной особой, как Василий Капнист. Смутились же, может быть, потому, что старик задел больное место. «От конюшни до сарая», то есть занимаетесь мелочами, а это не имеет особой перспективы!

Старики посмеиваются над молодыми, может быть, вспоминая, как один сочинял когда-то оду против рабства, а другой размышлял над конституцией, что заменит Павла I?

Подзадоривают старики.

Смиряя молодежь, они обязательно кинут: «Да, были люди в наше время!», усмехнутся: «От конюшни до сарая». А ведь при этом радуются, что молодежь благоразумна и не распространяется от сарая… до дворца или еще подальше!

Радуются и подтрунивают, восклицая: «Ничего вы, дети, не достигнете бунтом — только постепенностью!» И так красноречиво нарисуют спящую Россию, которую не взбунтовать, что у молодых руки чешутся…

Карамзин осуждает «легкие умы, которые думают, что все легко», а сам дерзит царям, подает записки, в сущности угрожающие, пишет про Ивана Грозного, объясняя молодым: вот что такое настоящий деспотизм. А у молодых руки чешутся.

Петр Капнист, старший брат поэта, человек фантастической, даже, пожалуй, ненормальной доброты, в своих Турбайцах (на той же Полтавщине) немало делает для крестьян. Много лет спустя знавшие его декабристы вспомнят: «Добрый старик скоро заметил зревшие в молодых людях освободительные идеи, он разделял их, но и он говорил, что еще слишком рано».

Иван Матвеевич с Василием Капнистом сдерживают детей, но позже в Обуховке будут рассуждать, что именно старший Муравьев-Апостол «повредил детям своим слишком смелым либерализмом».

Может быть, Пушкин, как обычно, все разглядел, когда после строк:

Вот время: добрые ленивцы,
Эпикурейцы-мудрецы,

прибавил:

Вы, равнодушные счастливцы…

«Во всех углах, — вспоминает современник, — виделись недовольные лица, на улицах пожимали плечами, везде шептались — все говорили: к чему это приведет? Все элементы были в брожении. Одно лишь правительство беззаботно дремало над волканом».

Неужели отцы не понимают, что невольно укрепляют детей в их «детской» вере, а не в своей? Может быть, это от счастливого равнодушия? Или в самом деле они не видят, что дети могут пойти дальше? Думают: мы — люди с лучшими понятиями, но слава богу, живы, веселы, целы; а как были горячи и мечтательны — куда этим!

Они совсем того не знают,
Что где парят орлы, там жуки не летают.

И все же: пусть накопился порох — где искра? Власть, отцы?

Как же, когда умный, добрый, спокойный семеновец все-таки сжег мосты, решился?

«Люди рождены друг для друга. Поэтому или вразумляй или терпи…» Римский император и великий философ Марк Аврелий не сомневался, что эта мысль не устареет и через тысячелетия. Но вот призванный вразумлять не может терпеть. Отчего?

Может быть, так: честный, чистый человек сначала, как правило, становится на сравнительно мирный путь — помогает солдатам, сеет разумное, не ждет быстрых результатов, надеется на медленные всходы. Так думали одно время в Семеновском полку, через полвека с такими надеждами отправятся в народ. Но честному и чистому вскоре приходится тяжко. Действительность является перед ним во всем своем безобразии. Дружеская доброта к солдатам — и полк разогнан, солдатам худо, офицерам горько.

Хождение в народ — пожалуйте в ссылку…

Вразумляй или терпи…

И тут наступает самый важный момент. Честный и чистый не просто задет — оскорблен, ему уже невозможно, неудобно, стыдно уйти, отступить. Неловко терпеть, начав вразумлять. Он бы, возможно, призадумался, даже согласился с тем, что «вышел рано, до звезды», если б услыхал это мнение от кого-нибудь из своих. Но он не услыхал.

И еще — «бойся гнева доброго человека!».

Ослушаться угрозы, окрика такому человеку — пустяк, даже слишком легко. Трудно другое… Сергею Ивановичу, к примеру, неудобно не пожертвовать собою. К тому же рядом с ним друг, разделяющий его мысли.

«Бестужев был пустой малый и весьма недалекий человек, все товарищи постоянно над ним смеялись, — Сергей Муравьев больше других. „Я не узнаю тебя, брат, — сказал ему однажды Матвей Иванович Муравьев, — позволяя такие насмешки над Бестужевым, ты уничижаешь себя, и чем виноват он, что родился дураком?“ После этих слов брата Сергей Муравьев стал совершенно иначе общаться с Бестужевым, он стал заискивать его дружбы и всячески старался загладить свое прежнее обращение с ним. Бестужев к нему привязался, и он также потом очень полюбил Бестужева».

Эту запись Евгений Якушкин, сын декабриста, сделал, несомненно, со слов самого Матвея Ивановича, и можно верить, что отношения начались приблизительно так; о наивности, странности, экзальтированности Бестужева-Рюмина писали мемуаристы — декабристы и недекабристы, — удивляясь

непонятной дружбе видавшего виды подполковника с зеленым прапорщиком.

Позже, на следствии, Пестель, узнав, что оба друга оспаривают одно из его показаний, скажет: «Сергей Муравьев и Бестужев-Рюмин составляют, так сказать, одного человека».

Бестужев-Рюмин (на следствии): «Пестель был уважаем в Обществе за необыкновенные способности, но недостаток чувствительности в нем был причиною, что его не любили. Чрезмерная недоверчивость его всех отталкивала, ибо нельзя было надеяться, что связь с ним будет продолжительна. Все приводило его в сомнение; и чрез это он делал множество ошибок. Людей он знал мало. Стараясь его распознать, я уверился в истине, что есть вещи, которые можно лишь понять сердцем, по кои остаются вечною загадкою для самого проницательного ума».

Сергей Муравьев-Апостол — Бибикову из Бобруйска: «Единственными приятными минутами я обязан Бестужеву… Не можете себе представить, как я счастлив его дружбою: нельзя иметь лучшего сердца и ума при полном отсутствии суетности и почти без сознания своих достоинств. В особенности я привязан к нему потому, что он очень похож на моего чудесного Матвея, который тоже не знает, как в нем много хорошего».

Матвей Муравьев-Апостол — брату Сергею: «Лорер… сообщил мне, что ты [6] не говоришь о Бестужеве-Рюмине иначе как со слезами на глазах, что с первого знакомства твой мнимый друг сказал ему, что вы связаны тесной дружбой, что он все время летает то туда, то сюда, что служа в другом полку, он постоянно вместе с тобою… и т. д. Ты знаешь мои принципы, знаешь, что согласно моим воззрениям нет такого чувства, которое требовало бы большей деятельности, чем дружба, которое при этом так исключало бы даже тень тщеславия».

Бестужев-Рюмин: «Здесь повторяю, что пылким своим нравом увлекая Муравьева, я его во все преступное ввергнул. Сие готов в присутствии Комитета доказать самому Муравьеву разительными доводами. Одно только, на что он дал согласие прежде нежели со мной подружился — это на вступление в Общество. Но как он характера не деятельного и всегда имел отвращение от жестокостей, то Пестель часто меня просил то на то, то на другое его уговорить. К несчастию, Муравьев имел слишком обо мне выгодное мнение и верил мне гораздо более, нежели самому себе. — Это все Общество знает».

Так показывает на следствии подпоручик Полтавского пехотного полка, в формулярном списке которого на вопрос: «Во время службы своей в походах и в делах против неприятеля где и когда был?» — короткое: «Не бывал» (в 1812 году —

одиннадцатилетний). Конечно же пытается спасти, выгородить лучшего друга; но в его приведенном только что показании много правды. Отметим пока только слог, которым он пишет, — экзальтированный, поэтический; заметим уверенность, что сердцем он познает больше, чем Пестель всем своим громадным умом! Здесь начинается загадка особенного обаяния этого молодого человека, о чем скажем после, а пока что «боярин» Сергей привозит «брата» Михаила на зимние контракты 1823 года; два генерала и два полковника, кажется, сначала не очень довольны, но вскоре удивлены и даже несколько ошеломлены ясным мнением, «так сказать, одного человека» — Муравьева-Бестужева: «Не ждать удобных обстоятельств, а стараться возродить оные».

Сергей Муравьев: «Каким образом поступить со всею императорской фамилией? — Мнения членов были: Пестеля, Юшневского, В. Давыдова, кн. Волконского: истребление всех. — Бестужева: одного государя. Мое: никого». «Ваш брат слишком чист, надо покончить со всем царствующим домом», — эти слова Пестеля припомнил в крепости Матвей Муравьев-Апостол и объяснил их тем, что «Сергей всегда имел мысль отдалить Пестеля от Петербурга в начале действий, чтобы ему не дать исполнить намерение его насчет истребления всей царской фамилии… Его сношения с Пестелем были довольно холодны, и, чтобы более еще не удалиться от него, он не говорил явно всем — но, впрочем, он очень откровенно сказывал о сем Пестелю».

Понятно, Матвей перед следователями преувеличивает разногласия между братом и Пестелем; понятно, Сергей Муравьев не для того думал опередить вспышку в столице, чтобы спасти императорскую фамилию. Просто по складу характера он размышляет преимущественно о самопожертвовании, а не о принесении в жертву других. Мы знаем и его последний аргумент: ведь нас в любой момент могут открыть — медленность умножает опасность — и может случиться, что вообще ничего не сделаем…

С киевских контрактов — мыслью переносились через версты и века. Пестель, Юшневский, Волконский, Давыдов уговаривали: не будет царской семьи — не возникнет никакого движения для ее восстановления; напоминали, что в Англии свергнутые Кромвелем Стюарты позже вернулись на трон; а во Франции целая провинция, Вандея, поднялась на защиту не истребленных до корня Бурбонов — и в конце концов произошла реставрация старой власти.

Но Бестужев-Рюмин, очевидно при поддержке Сергея

Муравьева, доказывает, что реставрации Стюартов и Бурбонов происходила совсем не потому, что сохранились «королевские фамилии», а, наоборот, из-за «тирании» новой власти и «жестоких мер, утомивших пород»…

Молодой человек запомнит, что, когда он умолк, начались не только возражения, но и насмешки. Генерал Юшневский, например, «разговор сей признавал одним только празднословием», и конечно же были приведены различные примеры — из недавней итальянской, португальской истории, когда испуганные короли подписывали сначала все, что от них требовала революция, а затем переходили в наступление и казнили свободу.

Но упрямый полтавский прапорщик размышляет о том, что будет в России после успеха заговорщиков: «Опасность, каковой можно было бы подвергнуться со стороны какого-либо властолюбивого человека, который влиянием своим в народе или в армии захотел бы присвоить себе исключительную власть».

Пестель отвечает, и не раз, что не желает быть ни Вашингтоном, ни Бонапартом, что после победы непременно удалится от дел, и еще раз напоминает, что все решат события в Петербурге. Но снова и снова не соглашается молчаливый черниговский подполковник, напоминающий, что за Пиренеями добились конституции, подняв восстание не в Мадриде, «испанском Петербурге», а на краю королевства, близ Кадиса и Севильи, что вполне соответствует Тульчину — Киеву. Поэтому — начать военное восстание здесь, на юге, и побыстрее! Может быть, оттого он и не желает уточнять судьбу царской семьи, что события, он думает, начнутся за тысячу верст от ее местонахождения…

Наблюдая, как Сергей Иванович постоянно торопит, торопит, приходим к выводу, что его тяготит, угнетает неопределенность. К тому же скрываться, конспирировать не в его характере; в этом кроется некий обман, а он даже на такую ложь не очень способен. Еще больше огорчает, что кто-то другой в столице должен начать. Выходит, будто главное дело перелагается на других, а он всегда хочет труднейшее — себе, на себя. Да так и вернее: неизвестно, как на Севере повернется, а здесь все в своих руках!

Однако эти возвышенные, сильные чувства тут же сталкиваются со стальной логикой Пестеля: чем же мы виноваты, что служим на юге, а не в Петербурге? Если начнем первые, царь через несколько дней узнает, и фельдъегеря помчатся во все края, и народу в церквах, а также по полкам и дивизиям прочитают царский манифест об изменниках, бунтарях, и брат пойдет на брата, прольется кровь, неизвестно, чем дело кончится. Неужели

этого хотят Муравьев и Бестужев? Не проще ли, не лучше ли истребить Романовых в столице, и затем — быстрая бескровная революция?

Сергей: «Я стоял в своем мнении, хотя и противупоставляли мне все бедствия междуусобной брани, непременно долженствующей возникнуть от предлагаемого мною образа действия». Проголосовали: против Бестужева и Муравьева — четверо полковников и генералов. Оставшиеся в меньшинстве заявляют: «Мы предлагаем оставить сие предложение впредь до другого времени, ибо вопрос таковой важности не может быть решенным шестью человеками». Все согласились…

Меж тем на военной карте южных губерний, кроме всем известных полков, дивизий, корпусов, возникает невидимая дуга? Тульчин, где возле штаба 2-й армии размещается, так сказать, главный штаб южан — Пестель, Юшневский; затем за триста верст в поэтическую Ка-ленку, где «управой» ведает Василий Давыдов; левый же край дуги почти упирается в Киев — Васильковская управа. Контуры будущего фронта, удара, броска…

Пестель, Волконский, Юшневский, Давыдов уезжают с Киевской ярмарки, воодушевленные тем, что дело идет вперед, но обеспокоенные, как бы двое торопящихся по открыли огонь «без команды».

Два с лишним года назад Сергей Иванович буквально лег на пороге казармы, чтобы остановить взбунтовавшихся солдат. Брат Матвей сказал, что не нашлось офицера, «который подверг бы себя расстрелянию». Подвергнуть себя не трудно, труднее однажды подвергнуть других.

«Все члены, меня знающие, могут засвидетельствовать по крайней мере, что я не таковой превратности мнений, чтобы говорил сегодня одно, а завтра другое».

Решился.

«Генерал-лейтенанту Роту за образцовое состояние вверенного ему 3-го корпуса выражаю мое благоволение.

Александр.

Дано в лагере близ Бобруйска 1823 года сентября 12 дня».

Формула одобрительная, хотя и сдержанная. Как видно, Черниговский, Полтавский и другие полки прошли перед царем хорошо, но все же не так хорошо, как это сумел сделать через две недели близ Тульчина Вятский полк. У меланхоличного и усталого императора даже вырвалось: «Превосходно! Точно гвардия!» — и командиру полка Павлу Пестелю пожаловано 3

тысячи десятин земли «без крестьян».

Обеды царя с генералами в Бобруйске и Тульчине, и Сергей очень рад приезду государя, хотя бы потому, что в его свите прибыл из той, оставленной три года назад, столичной жизни любезный Илларион Бибиков, флигель-адъютант, муж сестры Кати.

Последняя встреча Александра I с южными декабристами, о чем никто еще, разумеется, и не подозревает.

Радость и усталость, смотр окончен, даны отпуска. Царь, правда, что-то знает и среди улыбок и благоволений как бы между прочим кидает Волконскому, что наконец-то генерал занимается делом, то есть своей бригадой, а не политикой. Предостережение, по, кажется, по грозное. Во всяком случае, не соответствующее тем подкопам, над которыми сам монарх ходит в эти дни. И где ему знать, какие слагаемые, доводы и контрдоводы, бешеные вспышки и холодное отрезвление в конце концов привели к четкому церемониальному маршу у Бобруйска и у Тульчина.

Идея Муравьева-Бестужева выглядела простой и ясной: царя у Бобруйска захватить, чем как будто примиряется план Пестеля с их идеями. Если нужен удар сразу в сердце власти, самое время нанести его здесь, на смотру. К Пестелю, другим директорам и управам несется весть о бобруйском плане, но в Тульчине — решительно возражают. Пестель несколько раздраженно замечает, что у него найдется тысяча доводов против этого замысла, начиная с того, что все министерства и управления в Петербурге и Москве, узнав про захват царя, придут в движение, направленное хотя бы великими князьями, и вся затея рухнет. Среди тысячи возражений нашлось и такое: как взять императора? Солдаты, даже очень отягощенные службою и жизнью, могут не повиноваться, если, скажем, командир роты или батальона прикажет схватить царя. Что тогда сделаете? «Тогда убьем», — отвечали из Бобруйска; Бестужев-Рюмин под первым предлогом опрометью (ему нипочем!) скачет в Москву, ближайшую к Бобруйску столицу, узнать, не будет ли оттуда поддержки. Однако у московских членов тайного общества ничего не готово.

Бобруйский порыв загнан внутрь. Сергей Муравьев и Михаил Бестужев печатают шаг во главе своих солдат. Царь уезжает.

Нервное напряжение перед бобруйским ударом, не отпускавшее несколько месяцев, сменяется усталостью, упадком сил. Отпуск не спасает, потому что Хомутец в ту осень отнюдь не столица радости.

Капнист сей глыбою покрылся,
Друг муз, друг родины он был;
Отраду в том лишь находил,
Что ей, как мог, служа, трудился,
И только здесь он опочил.

Эпитафию для самого себя владелец Обуховки сочинил уже давно и выбрал дерево, из которого завещал сделать гроб. Возле Василия Васильевича Капниста, умиравшего в конце октября 1823 года, собралась его большая семья, а из соседей — Лан, домашний доктор Ивана Матвеевича, а также случайно приехавший на несколько дней из полка Сергей Иванович.

Последними словами Капниста было: «Старайтесь забыть меня первое время. Да, говорю, первое время».

Внезапная смерть Капниста поразила многих обитателей края. С ним ушел целый мир старой культуры — XVIII век, время отцов, с его понятиями, иронией, добродушной ограниченностью и особым внутренним спокойствием.

Софья Капнист вспомнит, что приезды Муравьевых-Апостолов «были истинно целебным бальзамом для скорбных душ наших»… В особенности беседы и суждения Сергея Ивановича «были так умны, так ясны, нравственны и увлекательны, что оставляли после всегда самые приятные и полезные впечатления. Я всякий почти раз, приглася к себе, записывала их в мою памятную книгу, которую, к большому сожалению, по некоторым обстоятельствам в 1824 году должна была сжечь».

На следствии Сергей Иванович не мог точно вспомнить, сколько времени не был на исповеди и причастим, по крайней мере несколько лет (в то время как брат Матвей бывал постоянно). Сергей Апостол — мы знаем по его отклику на смерть сестры — дорожил своей верой. Однако об этом, как вообще обо всем глубоко личном, говорить не любил. Иван Матвеевич требовал соблюдения обрядов, скорее для того, чтобы не совсем офранцузиться, сохранить русское начало. Старый эпикуреец вообще с подозрением относился ко всякой чрезмерности, даже добродетельной; он, конечно, замечал, что дети разделяют его правила, но, увы, доводят их до опасных пределов, в то время как «честному человеку не должно подвергать себя виселице».

Ивану Матвеевичу вера нужна была для его образа жизни.

Сергею — для своего…

Человеку, спокойно и сознательно решившемуся на жертву, было что сказать скорбным Капнистам.

Кареты, брички, всадники с четырех сторон света, по дорогам, где «распустила грязь» поздняя осень, — в Каменку, имение, к этому времени уже завоевавшее себе место в истории: Якушкин и другие декабристы вступили как-то при Пушкине в дискуссию о тайном обществе, и поэт загорелся, хотел участвовать, но тут было объявлено, что все это шутка…

Тебя, Раевских и Орлова,
И память Каменки любя…

Нынешний же Екатеринин день, 24 ноября 1823 года, пройдет в Каменке без Пушкина, но с таким обилием примечательных гостей, что восстановить гласные обстоятельства не очень трудно.

Меньше всего, как ни парадоксально, мы представляем ту, чьи именины празднуются, ради которой гости едут из Киева, Одессы, даже из Петербурга: не знаем и точных дат жизни генерал-майорши Екатерины Николаевны Давыдовой; сохранились только смутные предания об ее «величавости, соединенной с редким добродушием, или, скорее, близорукостью относительно нравов и большой снисходительностью ко всем, кто разделяет подобный взгляд на жизнь». Однако недостаток сведений о хозяйке искупается ее родней: что ни человек — глава из истории. Старший сын — генерал Николай Николаевич Раевский, герой 1812-го и многих других кампаний, о котором Наполеон выразился, что «именно из такого материала делаются маршалы». Он, конечно, приехал вместе с сыновьями и дочерьми, и бабушка целует внучат: больного, желчного, остроумного «демона» Александра Николаевича Раевского; блестящего офицера, будущего героя Кавказских войн Николая Николаевича-младшего (кому уже посвящен «Кавказский пленник» и будет посвящен «Андрей Шенье»); внучку Катерину с мужем, генералом и декабристом Михаилом Орловым; внучку Машеньку, пока еще Раевскую, но генерал Сергей Волконский уже среди гостей; еще и еще младшие Раевские, а рядом — клан Давыдовых: дети и внуки от второго брака хозяйки с генералом Львом Давыдовым, к этому времени ушедшим в лучший мир вслед за первым супругом Екатерины Николаевны. Многие Давыдовы постоянно живут здесь, в Каменке, — «милые и умные отшельники». Полковники и герои прошедшей войны Василий Давыдов и родной брат его Александр Львович, «толстый Аристипп», «рогоносец величавый», добряк и рубака, способный бешено ругнуть власть, тут же выдать тяжелую оплеуху крепостному и забыться за огромной горой яств.

Три года назад Пушкин заметил, что в Каменке «женщин мало, много шампанского, много острых слов, много книг,

немного стихов». Поэт явно пренебрег Аглаей Антоновной Давыдовой, супругой «рогоносца величавого». Лет за десять до того ее одной хватало, чтобы, как вспоминал современник, «от главнокомандующего до корнета, все жило, ликовало и умирало у ног прелестной Аглаи». По нынче молодые люди, выходящие из экипажей и бричек, либо чересчур ветрены, либо уж слишком серьезны; и хоть не минуют увядающую кокетку, но при случае нагло сыплют комплименты зеленым девицам.

Правда, на этом празднике нет Пушкина и некому увековечить юных красавиц Марию и Катерину Бороздиных, внучек хозяйки по «давыдовской линии».

Однако у большинства гостей нет сомнения, что невесты Раевские, Давыдовы, Бороздины — главная причина появления военных друзей Василия Давыдова. Каковы женихи! Полковник Пестель; подполковник Сергей Муравьев-Апостол; красивый офицер-вдовец с итальянской фамилией Иосиф Поджио; даже странный Михаил Бестужев-Рюмин, хотя зелен, но из отличного богатого рода. В общем в тот Екатеринин день к ручке старшей хозяйки подходят целые группы заговорщиков; да что там — целые управы, можно сказать, крупнейшее тайное общество почти в полном составе! Если к этому удивительному скоплению исторических лиц присоединить еще отсутствующего «кузена» Дениса Давыдова и «духи предков» — светлейшего князя Потемкина (дядюшку Екатерины Николаевны), Михаила Васильевича Ломоносова (прадедушку юных Раевских), то придется признать именины Екатерины Николаевны чрезвычайно представительными, чуть ли не «учредительным собранием», или, по Пушкину, «разнообразной и веселой смесью умов оригинальных, людей известных в нашей России, любопытных для незнакомого наблюдателя…».

70 лет спустя приват-доцент Киевского университета Лобода посетил Каменку, стараясь найти какие-нибудь следы прежней, с виду беспечной, горячей жизни. Прогулка показалась путешественнику печальной: он заметил фруктовый сад, разросшийся на месте старого дома, громадные пни недавно срубленных деревьев и несколько уцелевших, но обреченных великанов. К ученому привели Ирину Зубрицкую, которой, по определению местного священника, было 85 лет, сама же она потеряла счет своим годам. Девочкой ее взяли в господский дом к барыне Екатерине Николаевне, и она запомнила, что «жили весело». Приват-доцент Лобода спросил о Пушкине. Старуха не знала и, подумав, ответила: «Это, верно, был тот главный, из-за которого и в Сибирь пошли». Ей сказали, что нет, к Пушкину это не относится. «Значит, он вывернулся, — сказала старуха, — а

другие пошли».

В прохладном гроте, где в жару любил вкушать пищу величавый Аристипп, попытались отколупнуть известку, недавно покрывшую стены, под которой будто бы имелись надписи, целые строки, может быть, Пушкина и декабристов. Полуразвалившаяся мельница, похожая на башню, стояла одна, наглухо заколоченная. Ходил слух, занесенный в эти края, вероятно, каким-нибудь грамотным человеком, будто некий злодей подслушал у той башни потаенные разговоры и отправил добрых молодцов за Урал.

В биллиардной ли, в гроте, может быть, на мельнице собирались раза два для самых сокровенных разговоров, но вообще большая часть вопросов обсуждалась при всех, на людях, когда «аристократические обеды» соединялись с «демагогическими спорами» (Пушкин); когда десятки людей провозглашали тосты за здоровье тех и той (мятежников, свободы).

В уже упоминавшейся сцене (сохраненной рассказом Якушкина) — искусственно возбужденном споре о необходимости или вреде тайного общества — мы обычно помним Пушкина, загоревшегося и обманутого. Но обратим внимание еще на две типические фигуры. Чревоугодник Александр Львович Давыдов посреди того диспута заснул, пища одолела. Однако тут дело не простое: заснул отчасти от скуки, ибо уж не раз слыхал такие разговоры, сам их вел, даже славился отчаянным либерализмом, — дело столь обыкновенное, что можно вздремнуть.

Заметим и другого участника беседы: генерал Раевский, избранный «президентом» этого собрания… Декабристы разыгрывают сцену, кончающуюся тем, что «тайного общества не существует», и Пушкин разочарован. Но поэт позже заметит, что в России о существовании заговора не знала только полиция. И генерал Раевский такой уж мальчишка, что верит, будто это розыгрыш и в самом деле никакого общества нет? Конечно же, Раевский многое знал, но не видел смысла в заговоре. Он убеждал двух своих сыновей не примыкать к тайному обществу, и с Сергея Волконского, когда тот будет свататься к дочери Марии, потребует обещания, что — выйдет из заговора (но Пестель, шафер на свадьбе, тогда же возьмет с жениха прямо противоположную клятву).

Среди балов, фейерверков, салютов из веселой пушечки мы слышим некоторые важные разговоры на злобу дня, и старший Раевский вместе с сыновьями видит в последних событиях глубокий и печальный смысл.

От Тибровых валов до Вислы и Невы,
От сарскосельских лип до башен Гибралтара:
Все молча ждет удара,
Все пало — под ярем склонились все главы.

Таково было «международное положение» на взгляд Александра I и в описании Александра Пушкина.

Сейчас, 150 лет спустя, мы не часто различаем годы; почти неразделимыми кажутся 1815, 1821, 1823, 1825-й — не все ли одно преддекабристское время?

А на самом деле — светлый, молодой 1815-й, задумчивый, но полный надежд 1820-й, сумрачный, зловеще тихий 1823-й… Испанский Апостол — Риего, как и российский, всего лишь командир батальона; подняв восстание на их Украине — Андалузии, близ «Гренадской волости», дает три года свободы испанской Москве, Петербургу. Но все кончено: их Романов — Фердинанд VII Бурбон берет верх, крестьяне выдают Риего. 7 ноября 1823 года — повешен. Прожил 38 лет.

Конец 1823-го. Южане толкуют, «чтобы не следовать примеру дурному Гишпании и оградить себя от возможности неудачи». Вообще тур европейских революций и мятежей оканчивается, и до следующего (как мы теперь знаем, а они и не узнают) — семь лет. Всюду — тишина, и «под ярем склонились все главы».

И правы медлящие.

И правы торопящиеся.

И не могут не явиться, особенно в это время, предчувствия, что — погибнут.

V И более всего это чувствуют лидеры.

И самых решительных посетит мысль; уйти, отойти.

«О, скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню — поля, сад, крестьяне, книги; труды поэтические — семья, любовь etc. — религия, смерть».

Пушкин запишет эти строки в другое время, при иных обстоятельствах. Вслед за стихами «Пора, мой друг, пора!».

«О скоро ли?» означает трудность или невозможность сделать то, чего хочется, — забота, известная во все эпохи.

«Скоро ли?» — задумываются Рылеев, Пестель, Сергей Муравьев-Апостол.

Придет ли час моей свободы?
Пора, пора…

Пушкин в ту пору уже шел своим, единственным путем: поэзия, «Евгений Онегин», начатый весной 1823-го.

Рылееву, Пестелю, Муравьеву-Апостолу не свернуть со своего.

Рядом был насмешливый «демон», довольно близкий приятель Александр Раевский, способный своим разъедающим скепсисом сокрушить, ошеломить, загипнотизировать… Но «единый человек» — Муравьев-Бестужев невосприимчив.

И только изредка, в тихие месяцы, особенно в глухих украинских местечках, вдруг приходит обыкновенная мысль, что жить еще долго, и кто знает, скоро ли начнется российский 1789-й (если переводить с французского), или вернется «год Риего», 1820-й (по-гишпански)? И может, не помешает штурму отечественных Бастилий, если российские Мараты, Робеспьеры, Сен-Жюсты, Риеги перед тем вспомнят, что они молоды, не разменяли еще третьего десятка, — «любовь etc… смерть».

Сергей Муравьев-Апостол — родным в Хомутец (по поводу предстоящего брака сестры Елены с сыном В. В. Капниста Семеном):

«Радость ваша подействовала и на меня — я вполне ее разделяю, так как вы теперь счастливы, забыли беспокойствия и прежнее отчаяние — но надолго ли? Смотрите, чтобы недели через две еще не написать мне письма отчаянного! Ведь вы, влюбленные, переходите от радости к печали по дуновению ветра… Признаюсь вам, однако, несмотря на стоическую мою твердость, я также нетерпеливо жду, когда настанет она, желанная минута свидания, вы увидите, что и стоик умеет радоваться в кругу тех, кои столь близки его сердцу, и на себе испытаете, что он умеет горячо обнимать друзей своих…»

Наверное, в несохранившемся письме родных, на которое отвечает Сергей Иванович, была мысль, что хоть он и стоик, римлянин, но все же не грех и ему порадоваться обыкновенному человеческому счастью.

Стоик радуется, может толковать о любви, браке, кор-млении детей, но… смотрит на все это как бы с иной планеты, которая несет его по другой орбите, лишь иногда приближающейся к тому миру, где «переходят от радости к печали по дуновению ветра».

Ну разумеется, в Хомутце, Обуховке, Каменке, Кибинцах, Полтаве, Киеве сотни раз говорят, вздыхают: «Какой жених пропадает!.. Почему не осчастливит?» И ответ легко угадывается: семеновцам ведь запрещено в отставку идти; вот когда дозволят — другое дело, а пока что за радость — глухие гарнизоны!

Или, может быть, Сергей Иванович ссылался на хорошо известное в семье Муравьевых-Апостолов эллинское понятие о трех видах любви: любовь родственная; любовь-страсть; любовь-

понимание.

И только соединение всех трех ведет к истинному счастью.

Однако все ли заговорщики — стоики, римляне?

Пестель сватался за Изабеллу Ивановну Вити, дочь начальника южных военных поселений графа Вита (позже заславшего к декабристам провокатора). Академик М. В. Нечкина пишет по поводу этого сватовства: «Женитьба могла помочь Пестелю войти в семью влиятельнейшего начальника, завоевать его доверие и основать влияние на него на прочной семейной связи. Однако проект брака разрушился и едва ли не более всего получением долгожданного командования полком».

Пестель присоединяется к стоику Муравьеву, может быть, с удивлением наблюдая, как легко проникают нежные страсти в сердца южных конспираторов…

Член Южного общества, отставной штабс-капитан Иосиф Поджио, кажется, именно на тех ноябрьских именинах 1823 года влюбится, позже сделает предложение и получит согласие Марии Бороздиной вопреки воле отца-сенатора. Счастливый Поджио проезжает через Васильков, где Бестужев-Рюмин спрашивает его об участии в Тайном обществе. Приглядимся к этой сцене: вопрос задает важнейший деятель Южного общества и молодой человек, чрезвычайно взволнованный будущим семьи Бороздиных.

«Как хотите вы, — отвечает Поджио, — чтобы я держался прежнего намерения?» Через два года в известном «Алфавите» декабристов будет записано: «Поджио Иосиф… при разговоре с Бестужевым-Рюминым, избегая ложного стыда казаться робким, вызывался вести заговорщиков на цареубийство и действительно думал сие исполнить; но вскоре раскаялся».

Трудно было 33-летнему штабс-капитану толковать с юным подпоручиком и возможным близким родственником; стремительного Бестужева-Рюмина «злая девчонка-любовь» настигает здесь же, в Каменке, стремительно, некстати: Екатерина Андреевна Бороздина, дочь сенатора, родная сестра невесты Поджио. Родители молодого человека, однако, находят, что в 20 лет, при столь малых чинах и без права выходить в отставку, не женятся. Бестужев, разумеется, обращается за помощью к лучшему другу, и тот берется за дело, предоставляя нам право гадать — не отговаривал ли старший младшего, не укорял ли, зачем жениться, если скоро, может, придется «на тот свет идтить». Или подполковник не возразил ни слова, зная горячую натуру подпоручика, не желая огорчить, боясь разрушительной силы подавленного чувства?

Сергей Иванович берется за дело. В качестве посредника между сыном и родителями избран муж двоюродной сестры

С. М. Мартынов, весьма почитаемый старшим поколением Бестужевых-Рюминых. Тема письма — легкомыслие, ошибки молодости.

Сохранился примечательный ответ Муравьева-Апостола на одно из писем Мартынова, ответ, сквозь который хорошо видны даже те послания, что к нам не дошли, за ним угадываются десятки разговоров, горячие, лучшие минуты, пережитые Мишелем Бестужевым-Рюминым.

«То, что вы мне пишете, милостивый государь, об интересе, с каким вы всегда относились к молодым людям, которые доверялись вам, служит доказательством (разрешите мне это вам сказать) как превосходства вашего ума, так и благородства души; к несчастью, этот принцип малоизвестен в свете и ему мало следуют. Там встречаешь чаще всего холодное равнодушие. Уму не свойственна непогрешимость, но кто же непогрешим?.. Я скажу более, — есть ошибки, которые в молодом человеке являются предзнаменованием будущего его превосходства, пламенная душа, деятельный ум, твердая, но еще плохо управляемая воля могут направить человека к ошибочным действиям, которых посредственность избегает просто вследствие своего бездействия, а между тем общество, которое инстинктивно, вероятно, делается покровителем посредственности, с остервенением нападает на него при первом его ложном шаге. Счастлив в таком случае тот, кто может найти снисходительного друга, который его поддержит и направит! Но сколько других людей, отвергнутых равнодушным светом, задетых боязнью оказаться смешными, этой выдумкой новейшего времени (и надо обладать мужеством большим, чем обыкновенно имеешь, чтобы презирать эту боязнь), впадает в апатию, в недоверие к самим себе и чувствует, что в их расслабленных душах иссякает навсегда источник благородных мыслей и великих деяний».

С родственниками нельзя объясняться прямо: за спокойными строками почти что мольба — Мартынову, родителям Бестужева — посмотрите на него иначе, заметьте хоть частицу того необыкновенного, что я в нем замечаю! «Сколько людей растрачивает в преступных излишествах свойственную их характеру энергию, которая, будучи хорошо направлена, могла бы быть полезна, но которую общество не признало и оскорбило. Эта картина, милостивый государь, не преувеличена; кто в течение своей жизни не почувствовал, как отчаяние входит в его душу при виде того, как организовано общество. Конечно, есть люди, столь счастливо одаренные, что даже эта школа им благоприятствует, но сколько есть других людей, сделавшихся ее жертвами? Я распространился на эту тему, милостивый государь, потому, что

чувствуешь всегда удовольствие поделиться мыслями, к которым относишься не без интереса, с человеком вашего ума. Я часто беседовал об этом предмете с Бестужевым, который также имеет некоторое право говорить о нем; он обязан этой суровой школе скороспелостью своей опытности и той наблюдательностью, которая поражает всех, кто его знает. То, что я говорю здесь, — также дань моей благодарности; мне доставляет удовольствие оплатить ему, ибо он часто мне был полезен своими советами при разных обстоятельствах, что дало мне привычку и необходимость советоваться с ним. Что касается вас, милостивый государь, то он слишком вам обязан… приписывайте его молчание не равнодушию к вам, которое ему совершенно чуждо, а нашему образу жизни, столь бедному фактами, заслуживающими сообщения».

В письме ни одного факта, только общие рассуждения, и в то же время это мемуары: как сближались младший со старшим, «снисходительным другом», и как сильно обратное влияние. Ясно, что автор письма и его лучший друг не мирятся с равнодушием, «дурно организованным обществом» и думают, как его переменить. Наверное, Муравьев разумеет самого себя и другие стоические натуры, когда пишет о людях столь одаренных, что «даже эта школа им благоприятствует»; тут же подразумевается, конечно, целая невидимая галерея посредственных, впавших в апатию, расслабленных, оскорбленных, бесполезных людей; и, наконец, «суровая школа», жизнь, наполненная идеями, страстями и делами, конечно, «не заслуживающими сообщения»…

Возможно, Мартынов догадывался, сколь опасны опытность и наблюдательность его кузена. Впрочем, множество разговоров велось в открытую — Бестужев-Рюмин не раз ошарашивал дворянское собрание или родственную компанию зажигательными речами, правда никогда не переходящими за известную конспиративную грань, но все же очень неосторожными. Родственник отвечает Бестужеву-Рюмину (который намекнул, что невеста не из пугливых): «Молодая особа, которую сейчас ничто не пугает, обманывает самое себя относительно будущего так же, как и ты, и также раскается; однако, когда имеешь немного опыта, знаешь, что это общий язык всех молодых людей, которые желают пожениться. Пусть влюбленный скажет своей возлюбленной, что через два дня после брака он должен поселиться в глубине Сибири, — я вперед отвечу ему: будут счастливы последовать за ним в ссылку, любовь-де скрашивает пустыни — и все высокие слова, которым одна неопытность придает некоторое значение».

Кто знает, не пожалел ли после кузен, что не помог хотя бы

такому обороту дел: Мишель Бестужев-Рюмин — в Сибири, Катя Бороздина едет к нему… Он решительно не желает ходатайствовать перед стариками Бестужевыми. Из Москвы приходит окончательный отказ. Молодой Бестужев-Рюмин отправляет Мартынову письмо, завершающее всю историю:

«Вы не можете себе представить ужасное будущее, которое меня ожидает. К счастью, возле меня находится друг, который разделяет мои печали, утешать меня в них было бы сверх сил. Не подумайте же, что я хочу вас испугать намеком на самоубийство. Нет. Я не покушусь на жизнь, с которой, может быть, соединена жизнь моих престарелых родителей… Причина образа действий моих родителей, на мой взгляд, заключается в их убеждении, что я глупец, которого всякий может провести в собственных интересах. Я не знаю, утешительно ли такое мнение о 24-летнем сыне, но мне хочется верить, что оно несправедливо».

Бестужев-Рюмин, конечно, думал и о своем настоящем месте среди старших офицеров и генералов, которые равны и даже ниже его по значению в Тайном обществе, да только старики родители об этом не подозревают.

Укротила бы женитьба неистового заговорщика? Кто знает… На следствии скажет мимоходом, что жизнь с некоторых пор стала ему недорога.

Предмет же его любви, Катя Бороздина, через полтора года, в августе 1825-го, выйдет за подпоручика-декабриста Владимира Лихарева, которого еще через пять месяцев арестуют; однако жена за мужем не последует, как обещала первому жениху, и дядю своего Василия Давыдова в Сибири не увидит. Воспользовавшись правом на развод с государственным преступником, она выйдет замуж вторично и больше никогда не встретится с Лихаревым, сложившим голову на Кавказе…

Но сейчас — Каменка, только ноябрь 1823-го, любовь и взаимность; и как просто предположить, что девица, которая не пошла за Лихаревым в Сибирь, не пошла бы и за Бестужевым. Но кто знает, кто докажет? Говорила, что пойдет; видно, любила, может, за Лихарева пошла с горя? Кроме самих влюбленных, все знал о них, наверное, только Сергей Муравьев — самый неприступный из каменских женихов…

Из пяти повешенных один Рылеев был отцом семейства; Каховский и Бестужев-Рюмин незадолго до гибели пережили любовь и расставание. Пестель прежде думал о браке. Остается один Муравьев-Апостол.

Но… в письме к отцу из тюрьмы он попросит:

«Осмеливаюсь поручить вашим попечениям, мой дорогой отец, двух маленьких сирот, которых я усыновил; они находятся

теперь в Хомутце. Их метрические свидетельства и другие бумаги должны находиться там же. Один из них болезненный; у него золотушная опухоль на колене, для которой доктора мне давно советовали Кавказские воды. Они найдут в вас, дорогой отец, покровителя, более им полезного, чем я».

Кроме этих строк, мы решительно ничего не знаем о детях. Доктора давно советовали воды, — значит, дети давно на попечении Сергея Ивановича; однако, судя по тексту, Иван Матвеевич, кажется, слышит о них в первый раз.

Часто в ту пору дворяне усыновляли своих внебрачных детей. Скорее всего, так было и здесь (если б это были дети какого-нибудь приятеля, солдата, их постарались бы обеспечить, но не усыновлять). Можно лишь предполагать, что связь была долгой (двое детей); что мать этих сирот сблизилась с Муравьевым на Украине (дети доставлены в Хомутец).

Сдержанный, непроницаемый, мягкий Муравьев-Апостол не хочет рассказывать никому, даже нам: пора делом заняться, таким, для которого уже надо уединиться на мельнице или во флигеле.

Пестель, Давыдов, Волконский, Сергей Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин заканчивают каменские беседы.

Испанская революция погибла… Там, в залах, среди аристократических обедов, из этого факта, несомненно, выводилось следующее заключение: народ испанский (и российский тоже) для революции не готов; приниматься за подготовку к мятежам рано. «Паситесь, мирные народы, вас не разбудит чести клич».

Другой вывод: раз в Испании так худо кончилось, значит, надо в России лучше, крепче взяться, чтобы их ошибок не повторить. Если же народ еще не проснулся, значит, тем меньше необходимо его прямое участие в деле: освободить, пока «спит»! Но солдаты? Очень просто. Пестель советует возбуждать в них неудовольствие, но не открывать сокровенных целей Тайного общества. Позже один офицер-декабрист скажет, что легко поднимет солдат на восстание: выкатит бочки вина, вызовет песенников, скомандует: «Ребята, за мной!» А другой — еще проще: «Я бы свою роту, если б она за мной не пошла, погнал бы палкою».

Муравьев и Бестужев с этим не совсем согласны, но Испания, Испания… А тут Пестель продолжает свою старую излюбленную мысль: Фердинанд VII сначала все подписал, затем при удобном случае все взял обратно, да еще вдохновил, освятил всякую контрреволюцию. Вывод — «Карфаген должен быть разрушен»: сначала удар в Петербурге, уничтожение всей династии — и дело

обеспечено. Однако Муравьев и Бестужев все спорят. Заранее планируемая казнь всех Романовых им не по душе, но уступают большинству, тем более что главный спор не о том. Снова и снова Апостол заклинает, уверяет, уговаривает восстать на Юге, быстрее — и все запылает. Разве можно рассчитывать на инициативу северян, если друг и брат Никита Муравьев недавно шутя воскликнул: «Если вы восстанете, меня здесь, в Петербурге, на гауптвахту посадят!» Что за разговоры?

Вспышку «торопил… торопил…»

Судьба царской фамилии не тема для обсуждения, если мы здесь, на Юге, начнем.

И Пестель, как в Киеве, с трудом сдерживает неистовых, рисуя, какая Вандея, резня, междоусобица начнется, если Днепр взорвется раньше Невы… Они не слишком симпатизируют друг другу, Сергей Муравьев и Пестель. За двумя планами — кроме всего прочего — и два типа личности, две психологические системы. У одного — более разума, расчета, анализа. У другою преобладает стихия, вдохновение: побольше взять на себя, ввязаться в драку, а там видно будет… Впрочем, разве семь лет назад Сергей Муравьев не отверг якушкинский замысел убить царя, сославшись на «скудость средств к достижению цели»? Все же, кто более прав теперь — он или Пестель? Большинство историков находит, что Пестель: в России решает столица. Убили Павла I — по стране разлетелись фельдъегери с вестью об «апоплексическом ударе». Россия быстро присягнула новому монарху. Одним наблюдателем-иностранцем было замечено, что «правильно расположенная гвардейская рота» может сыграть куда большую роль, чем удаленные от столицы корпуса и армии…

Однако «муравьевская» решительность, быстрота, роль первого успеха, эффект инициативы — ведь это всегда присутствовало в успехах всех революций. Видно, каждый из двух лидеров Южного общества владел частью истины; и мы, знающие, что с ними произойдет, как поздно и слабо выпалит могучий заряд, — мы невольно, даже через полтора века, ощущаем воздействие муравьевского темперамента.

Но дисциплина берет верх. Большинство придерживается точки зрения командира Вятского полка, который к тому же обещает, что сам вскорости отправится в Петербург для решительных разговоров…

Офицеры-женихи возвращаются к гостям и проявляют внимание ко внукам и внучкам Раевским, Давыдовым, Бороздиным, но кое-кто замечает странную, особенную грусть похожего на Наполеона черниговского подполковника.

Именно в этом настроении, по рассказам одного из друзей, Сергей Иванович «раза три предлагал начать действие, и безуспешно, ибо, когда доходили до дела, все задумывались». По рассказу же другого приятеля, «для отечества Сергей Муравьев-Апостол готов был жертвовать всем; но все еще казалось до такой степени отдаленным для него, что он терял терпение; в такую минуту он однажды выразил свое чувство»:

Je passerai sur cette terre
Toujours rêveur et solitaire.
Sans que personne m'aie connu.
Ce n'est qu'a la fin de ma carrière
Que par un grand trait de lumière
On verra ce qu'on a perdu.

Позже троюродный брат сочинителя Михаил Лунин так переведет эти строки:

Задумчив, одинокий,
Я по земле пройду незнаемый никем.
Лишь пред концом моим внезапно озаренный
Узнает мир, кого лишился он.

Через сто лет в прекрасной книге Александра Слонимского «Черниговцы» появится стихотворный перевод:

Как путник всем чужой, непонятый, унылый,
Пройду я по земле, в мечтанья погружен,
И только над моей открытою могилой
Внезапно мир поймет, кого лишился он.

«Голоса» Жанны д'Арк. Стихи «задумчив, одинокий» могли быть отнесены к ней, к Христу: тут нет хвастовства, Муравьев ведь для себя писал, приятель случайно услышал. Этот разговор с самим собою о жертве, к которой он призван…

Но стихи — эпизод, пауза, минутное право подумать только о себе. В следующую же минуту он понимает, что ему, пожалуй, легче, чем другу Бестужеву, над которым посмеиваются, который влюблен, и, значит, надо не о себе думать, и Муравьев-Апостол внезапно просит, чтобы старшие члены Общества выразили особую благодарность младшему за его огромные успехи в сношениях с поляками.

Пестель, Волконский, Давыдов благодарят Бестужева…

Сильно пожелтевшая записка, обнаруженная около двадцати лет назад в краковском рукописном собрании, видно, случайно подвернувшийся под руку листок, чьим-то почерком помечено: «Киев, гостиница Аксенфельда». Трое искали, но безуспешно, четвертого и наскоро, пером трактирщика, нацарапали несколько строк по-французски:

«Господину графу Ходкевичу. Пользуюсь приездом графа Олизара, чтобы выразить графу Ходкевичу почтение и сожаление, что не застал его.

Я очень желаю провести еще несколько минут с ним перед выездом… Я не перестану настаивать на выполнении его обещания не забыть обо мне, проезжая через Васильков. В ожидании приношу самые искренние уверения в уважении.

Сергей Муравьев-Апостол.

Вспоминаю Мечислава и обнимаю от всего сердца».

На обороте листка — еще несколько очень приветливых строк, заканчивающихся: «Дружески обнимаю Мечислава. Бестужев-Рюмин».

За этой трактирной запиской — очень многое.

Отставной генерал польской армии Александр Ходкевич никогда не говорил, что он член тайного польского патриотического общества, посещавшим его двум русским офицерам (обычно они появлялись в его киевском доме вместе с молодым польским офицером и поэтом графом Густавом Олизаром). Муравьев и Бестужев позже скажут, что они обо всем догадались «по образу мыслей» Ходкевича и Олизара. От этой догадки перешли к делу: откровенно объяснили полякам, что тайный союз, к которому они принадлежат, хотел бы связаться с польскими заговорщиками для общего дела…

Наверное, самое главное в записке из трактира — ев тон, теплота, не холодная вежливость, которой были обучены и российские, и ясновельможные аристократы, — душевность! «Не забыть обо мне, проезжая Васильков», «вспоминаю, обнимаю Мечислава», сына генерала Ходкевича. Дружба, равная, искренняя, растопившая первый лед между теми, кто чувствует себя униженным и зависимым, и теми, кто принадлежит к касте победителей-хозяев.

По отрывочным показаниям и воспоминаниям мы восстанавливаем картину, как вели дела с поляками черниговский подполковник и полтавский подпоручик: «Муравьев говорил мало», и, хотя к нему, как к старшему, обращались чаще,

«Бестужев не давал отвечать, а только сам все говорил», и «они были между собою неразлучны». Однако пламенные порывы Бестужева Муравьев вовремя переводит на четкий язык политических формул: «Чувства народной ненависти, родившиеся во времена варварства, должны исчезнуть в просвещенном веке, когда известно, что пользы всех народов одни и те же; на сем основании русское общество предлагает Польше возвращение прежней ее независимости и готово всеми средствами способствовать к искоренению взаимной нелюбви двух наций».

Мы знаем теперь, 150 лет спустя, сколь сильным оставалось взаимное недоверие и после первых объяснений, как медленны и молчаливы были эмиссары, приезжавшие на Украину из Варшавы, как Пестель ясно и жестко давал понять, что ежели польские заговорщики не восстанут вместе с русскими, то могут не получить своей свободы даже после перемены власти в России…

На первый взгляд трехлетние переговоры не дали результатов. Но если задуматься, может быть, важнее всех совещаний, пунктов, условий простое «обнимаю Мечислава»…

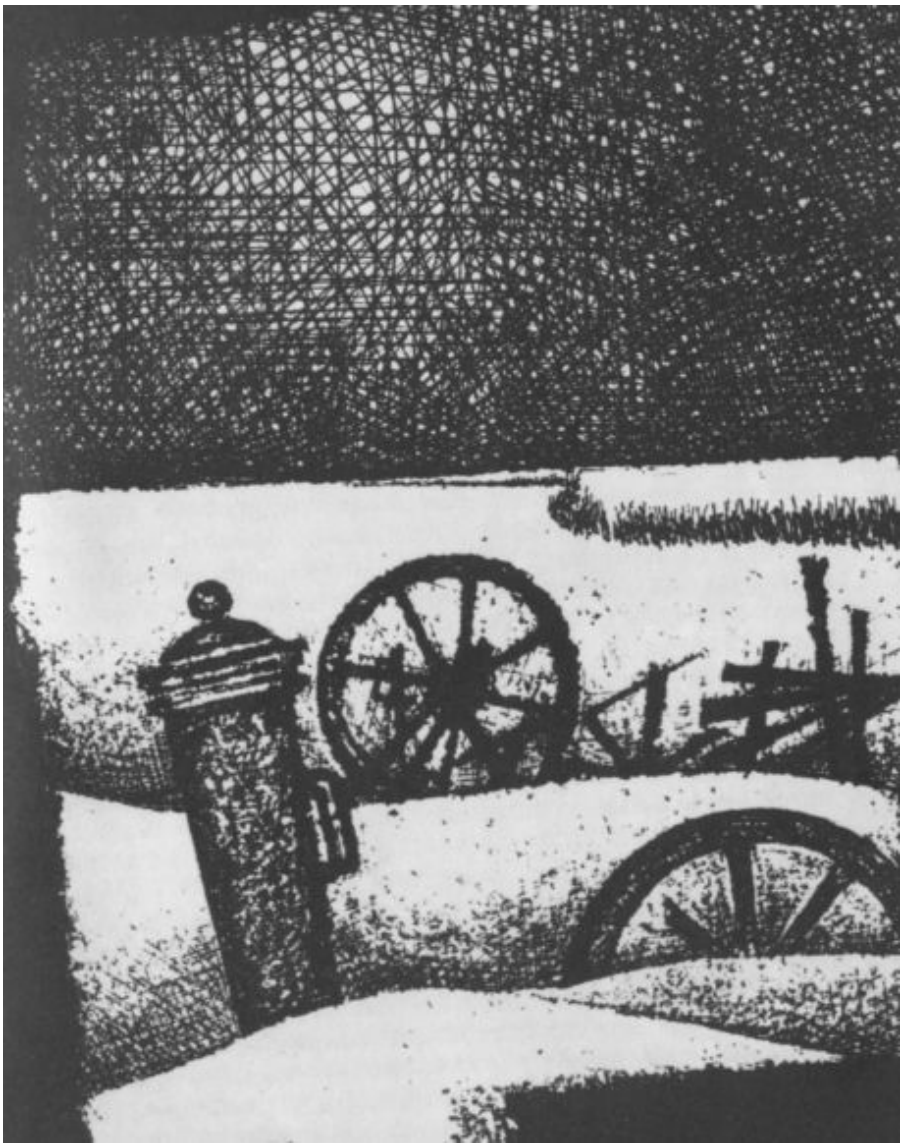
Прислушаемся к лучшим сыновьям века, членам русских тайных обществ, что говорили они о польском вопросе. Якушкин и многие другие в Петербурге спорили, гневались на то, что царь Александр I дает полякам конституцию, сейм, отказывая в том русским. Пошел слух, будто к полякам вернутся белорусские и украинские земли: дескать, не все ли равно, в каком царстве они будут числиться — российском или польском, если в Петербурге и Варшаве один государь? Это вызвало новое недовольство.

Ревность, недоверие, память о бесконечных войнах с угасшей Речью Посполитой особенно сильны у некоторых членов Северного тайного общества, недовольных слухами, что южные сближаются со «старинным врагом». На этом фоне южане, благодарящие юного Бестужева за его успехи с поляками, ушли вперед по шкале свободомыслия. Правда, в столице поляков мало, а здесь, на Украине, — и на Контрактах, и в Каменке — многие польские помещики, особенно люди, подобные Ходкевичу или Олизару, — постоянные гости, собеседники, собутыльники Раевских, Давыдовых. Когда Пушкину выдается паспорт и 389 рублей 4 копейки на проезд из Одессы в Михайловскую ссылку, начальство специально заметит, чтобы дорога поэта «не касалась» Киева, где много поляков.

Однако и здесь, в южных городах и поместьях, еще не началось то время, о котором чуть позже будут мечтать Пушкин и Мицкевич: «Когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся…»

Однажды Матвей Муравьев-Апостол приезжает к брату в

Васильков h видит, как на главной площади среди многочисленных зрителей обучают солдат и в руках унтеров палки, «концы которых измочалились от побоев», Матвей приглашает офицера, заведующего учебной командой.



«Ко мне явился Кузьмин. Напомнив ему о статье рекрутского устава, по которой запрещается при обучении бить рекрут, я присовокупил: „Стыдитесь, г. офицер, доставлять польским панам потешное зрелище…“ Затем я приказал бросить палки и уехал. Возвратившись к брату, я ему рассказал мою встречу с Кузьминым, от которого ожидал вызова. Брат предложил мне быть моим секундантом».

Матвей Иванович пытается говорить на языке, понят-пом дремучему строевику: стыдит поляками, с которыми в это же самое время Южное общество начинает тайные переговоры…

Дуэли запрещены, но Александр I смотрит на нарушения сквозь пальцы: летом 1823-го на юге только и говорят о вызове, который был послан командиром бригады Мордвиновым своему непосредственному начальнику, возглавляющему штаб 2-й армии, генералу Киселеву, Мордвинов протестовал против обвинения его в растрате. Большинство современников находили вызов непосредственному начальнику безнравственным, Кажется, только Пушкин брал в кишиневских спорах сторону Мордвинова, дерзнувшего вызвать важного генерала и «фаворита государя».

Дуэль состоялась, Киселев застрелил Мордвинова.

Но Матвей Муравьев непосредственным начальником Кузьмина не был, и большая разница в чинах (поручик и подполковник) роли не играла.

Вызова, однако, не последовало; через год Матвей опять приехал к Сергею и застал у него Кузьмина: «Он бросился ко мне в объятия, благодаря меня за то, что я его образумил, выставивши пред ним всю гнусность телесного наказанья. Брат мне сказал, что Кузьмина нельзя узнать, что он вступил в солдатскую артель своей роты и что живет с нею как в родной семье». «Польский упрек» принес совсем неожиданный результат.

Так странно, причудливо предрассудки смешивались со свободомыслием. Чуть позже Матвей напишет Сергею: «Признаюсь, я недоволен вашими переговорами с поляками. Ты с ними в таких отношениях, которых никогда не следовало допускать».

От брата Матвея тут не было сочувствия. Что Пестель?

В «Русской правде» он одной Польше предоставлял независимость «для благоудобства». «Благоудобство» для лидера южан — прежде всего судьба великого князя Константина Павловича, живущего в Варшаве. Если удар царю будет нанесен по Пестелеву плану и армия возьмет власть, как быть с авторитетным и опасным наследником? Без поляков с ним не справиться. От них Пестель требует (и получает!) обещание: по первому сигналу из России захватить или убить Константина. Больше всего Павел Иванович боится обмана: как бы после русской революции поляки не выбрали Константина королем, и тогда он может стать во главе контрреволюции… Поляки же спрашивают Пестеля, в каких границах восстановится их будущее государство. Если в том виде, как тридцать лет назад, до второго раздела Польши, тогда к ним должны отойти Литва, Белоруссия, часть Украины. «Слишком много», — говорит Пестель. Вопрос в

то время кажется чрезвычайно неясным. По формуле, выработанной южанами, «будет сделано новое начертание границ, и области, недовольно обрусевшие, чтобы душевно быть приверженными к пользе России, возвратить Польше».

Однако многие из русских и поляков грустно улыбнутся: как определить меру «душевной приверженности»? Можно ли верить голосованию в краях, никогда не голосовавших? Наверное, только Бестужеву-Рюмину, по молодости лет наделяющему собеседников и оппонентов собственными своими чертами, представляется, что все можно решить легко; и это его настроение не может сильно поколебать даже невеселая «лирико-политическая» драма, разыгрывающаяся в ноябрьской Каменке, на очередных Киевских контрактах и позже…

Граф Густав Олизар, молодой человек с блестящей внешностью и образованием, недавно избранный предводителем киевских дворян и с радостью принимаемый в лучших русских домах (он нравится генералу Раевскому, что само по себе прекрасная аттестация), полюбил 18-летнюю Марию Раевскую, и, кажется, предложение скоро последует. Прежде чем его сделать, Олизар посоветовался с лидерами польского патриотического общества, и те не возражают. Воспоминания Олизара, записанные много лет спустя, еще сохраняют следы крушения и горечи. Тогда, в 1823-м, Олизар с удивлением замечает, что смуглая девушка тяготится его вниманием. Положим, одно это обстоятельство в те времена не считалось слишком серьезным: под руководством старшего разумного мужа все должно было уладиться. Однако поляк догадывается вдруг о влиянии отца Николая Николаевича Раевского… Позже Олизар будет убежден, что девушка, боясь приближающегося объяснения, почти не раздумывая, приняла предложение Сергея Волконского. В ответ на откровенное признание генерал Раевский посылает Олизару примечательное письмо, в нем ни слова о нелюбви дочери к молодому человеку; на этом мотиве легко можно было бы построить вежливый отказ, но генерал не любит фальши: «Самая тяжелая обязанность, какую можно вообразить, — это мне, дорогой граф, отвечать отказом на Ваше письмо, которое я предчувствовал. Имея право любить Вас, как сына, ни минуты не сомневаюсь, что Вы могли бы сделать мою дочь счастливой. Но предопределение, которое сильнее нас, воздвигло непреодолимый барьер: это разница наших религий, образа мыслей, понятий о долге, наконец, национальностей. Сказать Вам после этого, что мы надеемся по-прежнему видеть Вас в нашем доме как лучшего из друзей — значит засвидетельствовать, что я ценю Вашу душу еще более, чем Ваше сердце. Вы не можете не

понять, насколько тяжела моя потеря и сколь искренни мои сожаления».

Олизар не разгневался, даже не обиделся на Раевского, честно признавшегося, что он не в силах преодолеть преграду, возведенную историей.

Первым сообщил Олизару об удачном сватовстве Волконского человек, который по признанию польского поэта был ему особенно близок, — Сергей Муравьев-Апостол.

Понятно, русские друзья не мучили поляка расспросами и советами. Олизар с грустной иронией замечает, что Сергей Муравьев не хотел его тревожить и ждал, «когда я дойду до полного отчаяния», которое можно будет лечить «общественным самолюбием», то есть революцией.

По мнению же Олизара, именно несчастная любовь спасла его от каторги, так как он не мог жить близ Киева, надолго отправился в другие края, вернулся буквально накануне восстания и отделался только арестом и серией допросов. Но речь сейчас не о том: Сергей Муравьев и Бестужев-Рюмин, безусловно, больше других сочувствуют Олизару. Это видно из всей совокупности их отношений, топа, теплоты, дружества… Муравьев и Бестужев в польском вопросе выделяются даже среди своих. Они бы, конечно, не задумываясь, отдали за поляка дочь, сестру, считая, что дружба, единомыслие выше и важнее католичества, православия и территориальных споров, вместе взятых. Два декабриста из 1820-х годов, сами того не подозревая, попадают во времена герценовские и более поздние, когда число людей, так думавших, значительно возрастает.

Пока же тем, кто перерос время, на судьбе написано — «задумчив, одинокий»…

Впрочем, не забудем, что не только сильное политическое убеждение освещало взгляд «васильковских братьев». Бестужев-Рюмин, влюбленный и несчастливый, мог легче понять другого влюбленного, хоть и несчастного совсем по другим причинам. Сергей Муравьев с ним «составляет одного человека»…

Закончилось веселое празднество екатерининского дня. Гости разъезжаются по ноябрьским и декабрьским дорогам: иные, — не думая ни о чем, другие, — предвкушая близость главного часа, третьи — в одинокой задумчивости.

Полковник Пестель направляется в Петербург для решительных разговоров.

«У вас, в Петербурге, ничего не делается, сидят сложа руки, у нас, на Юге, дела идут лучше».

Так сказал Пестель в присутствии некоторых север-пых

лидеров. Отпуск командира Вятского полка продолжался почти полгода. Из столицы заехал в смоленское имение родителей, оттуда возвращается на Юг. Письменные известия о делах Общества за редчайшим исключением запрещены (Муравьеву и Бестужеву «нагорит» за нарушение этого правила в отношениях с поляками); здесь, на Украине, смутно знают о петербургских делах, при случае гадают: летние маневры, жаркие, тяжелые, сводят разные полки 3-го корпуса у Белой Церкви. Шагистика, палки, обильно употребляемые корпусным командиром генералом Ротом, но зато — безопасные встречи подполковника Черниговского полка с подпоручиком Полтавского, который кроме нескольких офицеров еще привел в Тайное общество своего полковника Тизенгаузена; командир же Саратовского полка Повало-Швейковский давно в заговоре, и еще несколько человек вскоре будут приняты.

Вдруг в Белой Церкви, знаменитом местечке, украшенном старым замком, но еще не получившем звание города, появляется Пестель, встречается и беседует с Муравьевым и Бестужевым.

Психологическая ситуация ясная и в то же время напряженная: беседа лидеров, из которых двое едины и подозревают в собеседнике недостаток истинного чувства, а тот находит немало смешного и лишнего в тоне и суждениях Муравьева и Бестужева. Однако общий интерес, план действий много важнее личных привязанностей, и разговор чрезвычайно интересен. Сначала Пестель, конечно, передает привет от Матвея Муравьева-Апостола, помогавшего в переговорах с северными. Пестель, правда, давно не имел вестей от Матвея, как и брат Сергей. Им обоим покамест неведомо, что, оставшись в Петербурге, Матвей вдруг вообразил, что брат арестован (долго не получал писем), что все открыто, и решил погибнуть, убив царя. В это время приходит письмо от Сергея, и потрясенный Матвей собирается в Хомутец, где его ждут к осени.

Но Матвей — только *эпиграф* к разговору. Среди северных, сообщает Пестель, появились энергичные люди, на которых можно положиться: Рылеев, Оболенский. Там, в столице, состоялся первый разговор Рылеева и Пестеля, в ходе которого, для испытания собеседника, полковник был «и гражданином североамериканской республики, и наполеонистом, и террористом», «защитником английской конституции», «поборником испанской». Для еще большего оживления дел на Севере Пестель создал в Петербурге из нескольких верных офицеров филиал Южного общества. Кое в чем с северянами удалось договориться: в ближайшем будущем, до 1826 года, два общества сольются; когда же власть будет взята, соберется

учредительное собрание и решит, какой строй установить в России…

Слушая все это, «васильковские» сразу догадываются, что Пестель не сумел убедить северян в некоторых очень важных для него вопросах. Ведь, согласно его «Русской правде», учредительное собрание лучше созвать позже, после многолетней диктатуры временного революционного правительства.

Трудная часть разговора! Чем больше подробностей о петербургских спорах, несогласиях, о неудовольствии, с которым северяне (особенно Никита Муравьев, Трубецкой, Тургенев) принимают некоторые пестелевы идеи, тем более правы Апостол, Бестужев, Что надо здесь, на Юге, выступить. А чем ярче Пестель представляет успехи северян, тем резче видны его уступки петербуржцам, ущемленное его самолюбие как лидера, автора южной конституции.

Конечно же Пестель ничего не скрывает от товарищей, разве что несколько приглушает свои не слишком отрадные впечатления, то, что шло по формуле — «у вас в Петербурге ничего не делается».

Впрочем, споры с Невой еще не закончены, Пестель не отказывается от «Русской правды», читает здесь, в Белой Церкви, новые отрывки, и возникает магия сильных, суровых, будто из приговора строчек:

«Народ российский не есть принадлежность какого-либо лица или семейства. Напротив того, правительство есть принадлежность народа, и оно учреждено для блага народа, а не народ существует для блага правительства».

Тогда же Пестель предъявляет Муравьеву и Бестужеву и другой важный свой козырь: петербургский Сенат.

Я — свободы дочь,
Со престолов прочь
Императоров.
На свободы крик
Развяжу язык
у сенаторов.

Эти стихи, привезенные в Хомутец из Петербурга, записал на следствии Матвей Муравьев. После приговора Николай I специально приказал изъять из дел и уничтожить все опасные стихотворения (они ведь хорошо запоминаются, как бы чиновники не распространили!). Однако на обороте этой записи были важные показания, и поэтому военный министр Татищев густо зачеркнул крамольные строчки, а в наше время конечно же

их сумели разобрать…

«Крик» сенаторов в честь свободы должен был раздаться на первый или второй день после победы революции: революционные войска заставят Сенат провозгласить новое устройство; в тайных обществах особенно надеются на нескольких знаменитых, почтенных стариков, которые не растворились в раболепной массе высоких сановников, осмеливаются и при Аракчееве сохранять лицо, мнение и новой власти помогут умением. Тут Пестелю нелегко возражать: только что число «любимых сенаторов» неожиданно увеличил Иван Матвеевич Муравьев-Апостол.

19-летняя опала если и не совсем отменилась, то ослабела. Как видно, Александру I не один раз предлагали опытного государственного деятеля в сенаторы. После того как царь отверг просьбы, вспомнив про «конституцию 1801 года», Иван Матвеевич уж верно постарался представить свои опровержения, то ли через Дмитриева, то ли через Державина или иных старых друзей. Царь все равно его не полюбил, но в конце концов смягчился. Весной 1824-го сенатор Муравьев, одолев полторы тысячи верст, появился в хмуром, аракчеевском Петербурге. Одно из первых дел, попавших в его руки, было весьма щекотливым: некий Попов, переводивший для министра Голицына сочинения известного протестантского проповедника Госнера, был обвинен в том, что распространяет ересь, враждебную православию. Серафим, Фотий и другие влиятельные церковники представили свои доказательства со ссылками на священные тексты, и спорить с ними по тем временам было крайне опасно.

Однако Иван Матвеевич взялся за дело, пустив в ход свою знаменитую эрудицию: вражеские цитаты он перекрыл десятками латинских, греческих, церковнославянских текстов, буквально испещрив ими дело Попова. Мертвые цитаты помогают живому человеку. Переводчика оправдали. Знаменитый сенатор Мордвинов, выигравший куда большее число дел и подавший много смелых мнении, тем не менее советовал коллегам не обольщаться: победа Ивана Матвеевича объяснялась не столько его эрудицией, сколько закулисными хлопотами министра Голицына. Мордвинов же собирался представить царю подробную записку о тяжелом положении государства, но, подумав, «уничтожил свое начертание». Позже напишет: «Александр I начал было… важное и священное дело, даровав конституцию царству Польскому и оставив Финляндию и Грузию при собственных правах; но по-видимому, неблагонамеренные льстецы, или, быть может, изменники, окружившие особу его и желавшие под именем своего государя царствовать и

обогащаться, успели отвратить его и сделать недействительными такие намерения, кои для совокупного блага необходимы».

Мордвинов, как и Муравьев-Апостол, был готов принять «свободы дочь»; но пока у отцов-сенаторов «связаны языки», и дело за сыновьями.

Сыновья выходят из палатки. В Каменке и Киеве спорили, в какой мере нужно просвещать солдат насчет сокровенных целей…

Пестель опытным полковничьим глазом видит многое и многих, старослужащих солдат и начинающих офицеров. Младшие офицеры из бедных дворян, выпущенные из кадетского корпуса в армию, были, по сути дела, теми, кого позже назовут разночинцами. В Черниговском в других полках таких немало. Между ними и людьми вроде братьев Муравьевых, Бестужева-Рюмина, Волконского, Пестеля — большая дистанция; в гвардии такие, как Кузьмин, не служили; в столице если и бывали, то проездом; за границей — только в походах, по-французски не умеют. Один из них, капитан Пензенского полка Тютчев (правда, начинавший службу в Семеновском), в своих показаниях писал:

«Муравьев призывал ксибе салдат служывшым презде в семеновском полку как Троицкава так и пензинскава и давал деньги всем хто к нему прихадил и научал их как им распрастранять и действовать между сваими товарищами».

Некоторые его товарищи пишут не намного лучше… Доходов у них почти никаких — только от службы; дворянство порою сомнительно, как, например, у прапорщика Ивана Сухинова, сына бедного чиновника-хуторянина. До многого подобные люди доходят сами и, независимо от Пестеля и Муравьева, образуют Общество соединенных славян, где почти все такие…

В будущем, очутившись в одной каторжной тюрьме с энциклопедически образованными людьми — Никитой Муравьевым, Луниным, братьями Бестужевыми, эти пехотные офицеры сильно образовались. Начало же этим университетам — в Черниговском полку и других южных войсковых частях, где волею судеб сошлись разнообразнейшие человеческие типы. Все они тут — на белоцерковских маневрах…

Черниговского полка подполковник Сергей Иванович Муравьев-Апостол, командир батальона, переведен из Семеновского полка.

Капитан Андрей Федорович Фурман — сын саксонского агронома, служивший недолго в гвардии и высланный на юг.

Рядовой Флегонт Миронович Башмаков, старше Муравьева-Апостола больше чем на 20 лет (когда Сергей Иванович родился, был сержантом артиллерии), участник множества сражений,

начиная с итальянской кампании Суворова, к сорока годам — полковник артиллерии, затем — за растрату казенных денег — разжалован в солдаты без лишения дворянства.

Барон Вениамин Николаевич Соловьев. Отец — рязанский помещик, владелец шести крепостных душ… Сын — штабс-капитан, командир роты в Черниговском полку.

Рядовой Игнатий Ракуза, из могилевских дворян, дослужился до поручика, но «за грубость и дерзость противу начальства» — в солдаты с лишением дворянства.

«Подполковник Муравьев-Апостол, Вы говорите, что…» — так будут начинаться многие пункты допросов.

«Рядовой Башмаков, Вы…»

«Игнатий Ракуза, ты знаешь ли?..» Без дворянства — на «ты».

Поручик Михаил Щепилло прослужил три года, прежде чем получил первый офицерский чин, затем — командир роты в Черниговском полку. То, что для Сергея Муравьева опала, ему, как и Кузьмину, Сухинову, — карьера.

Почти все они 1795–1800 годов рождения: 25–30-летние мужчины; рядовому Башмакову —50, но он переживет почти всех (правда, после 30 лет, проведенных в Сибири, уж не найдет сил воспользоваться амнистией и закончит свои дни в Тобольске на 85-м году жизни)…

«4 мая 1825 г. произведен я в офицеры, 6-го получил повеление отправиться в полк в местечко Васильков, 9-го выехал из Петербурга.

Давно ли я был еще кадетом? Давно ли будили меня в 6 часов утра, давно ли я твердил немецкий урок при вечном шуме корпуса? Теперь я прапорщик, имею в сумке 475 р., делаю что хочу и скачу на перекладных в местечко Васильков, где буду спать до осьми часов и где уже никогда не молвлю ни единого немецкого слова…

При мысли о моей свободе, об удовольствиях пути и приключениях, меня ожидающих, чувство несказанной радости, доходящей до восторга, наполнило мою душу».

Это начало загадочного чернового отрывка, сочиненного Пушкиным около 1829 года; последующее описание дороги и особенно станции перешло затем в текст «Станционного смотрителя». В начале отрывка, где сообщается, куда назначен юный офицер, автор пишет и зачеркивает «В Ч. полк». В Черниговский полк. Отрывок обрывается «на самом интересном месте», сохранился только неясный план продолжения: «Дождик, коляска, gentleman, любовь. Родина». Окончания нет, но догадываемся, что случится с молодым человеком: пройдет

несколько дней, пушкинский прапорщик явится в Васильков, представится командиру Черниговского полка Гебелю, и конечно же его пригласит рассказать петербургские новости батальонный командир Сергей Муравьев-Апостол. А дальше… Дальше прапорщик, ожидающий свободы и удовольствий, конечно же попадет в переделку («родина», наверное, об этом) и, кажется, будет в роли Гринева, «мятежника поневоле», стремящегося найти свое место в событиях.

Пушкин знавал Муравьевых, Пестеля, Бестужева-Рюмина, был знаком с гарнизонным бытом в украинских местечках и хоть не встречал юных офицеров-черниговцев, но хорошо представлял этот тип: молодому человеку лет 19–20, как Ипполиту Муравьеву-Апостолу, который как раз перед восстанием получает в Петербурге первый офицерский чин; правда, его не посылают в Васильков, но сам поедет.

Впервые изучившие этот отрывок исследователи обратили внимание на то, что среди черниговских бунтовщиков было пять прапорщиков, вроде Александра Мозалевского, в 18 лет произведенного в подпрапорщики, а через четыре года, перед восстанием, — в прапорщики (кадетского корпуса он не кончал, но в них учились другие юные офицеры, например разжалованный Ракуза).

Чем кончатся приключения симпатичного пушкинского юноши, не ведаем. Знаем только, что стало с теми, кто на самом деле в мае 1825-го (как и прежде) служил в полку, расположенном в Василькове и окрестностях.

«Он успел привязать к себе не только офицеров, но и большую часть нижних чинов Черниговского полка, особенно же в командуемом им баталионе. И потому в содействии Черниговского полка Сергей Муравьев совершенно был уверен».

Эта формула из «обвинительного заключения» обобщала показания разных людей. Допытывались, чем взял Муравьев-Апостол целый полк? Отвечали, что ничем особенным — добротой.

Фланговый (по-тогдашнему флигельман) первого батальона Черниговского полка, «солдат храбрости испытанной, доброго поведения», бывший прежде в походах и во многих сражениях, начал с 1823 года совершать частые побеги и был приговорен к кнуту и каторге. Сергей Иванович пожалел старого солдата, поручил своему человеку передать деньги палачу, чтобы он пощадил приговоренного. «В те времена, — вспомнит Матвей Муравьев-Апостол, — случалось, и неоднократно, что солдаты совершали убийства над первым попавшимся им навстречу

человеком; убивали даже детей, и все с единственной целью избавиться от службы».

Эпизод, очень похожий на тот, что запомнился Льву Толстому (после чего было сказано об «одном из лучших людей своего, да и всякого времени»).

Пестель, наблюдающий солдат в Белоцерковском лагере, вполне одобряет такой способ сближения с солдатами: те, кто узнает про милостивого офицера, охотнее пойдут за ним, и не нужно их «смущать» подробностями о цели Общества.

Сергей Муравьев: «Приходили ко мне солдаты, бывшие в Семеновском полку, Пензенского Гульбин, Тамбовского Малафеев и Иванов, Саратовского Федот Николаев, Анойченко, Греков и другие, коих имен не припомню. Я с ними разговаривал о тягостях службы, бранил ее, вспоминал им старый полк, спрашивал их: помнят ли они своих старых офицеров, помнят ли меня? Говорил им, что я уверен, что они от своих старых офицеров никогда и нигде не отстанут».

Здесь Пестель мог нахмуриться: лишние слова, лишние уши.

Солдат Петр Малафеев, в первый раз зайдя к Муравьеву, рассказал, между прочим, что рядовой Иван Перепельчук из семеновских «от утеснений застрелился». Муравьев будто бы сказал, «что это большое дурачество — стрелять себя, и он глуп, не дождал времени, а потом сняв висевший на стене пистолет и сделав оным пример как бы кого застрелить, сказал: *„Вот так надобно!“».* Солдат утверждал, будто Муравьев царя «поносил непристойными словами».

Когда арестованному подполковнику принесли показания Малафеева, он возражал горячо против «непристойных выражений», ибо «все меня знающие скажут, что я никогда оные не имел в привычку употреблять и гнушался даже этим. Рассказ же его о пистолете совершенно ложный, и я никогда не говорил ему, сняв пистолет со стены и показав, что как бы застреливаю кого, *вот так надобно».*

В следственных делах 1826 года — множество, более ста, имен бывших семеновских солдат, попавших в разные полки на Украине: от сильно замешанных рядовых Федора Анойченко и Федора Николаева до музыканта Гришутки (без пояснения, это имя или фамилия).

Споря с Пестелем, васильковцы, видно, не раз говорили, что не всем открываются, а сотне-другой семеновцев и другим надежнейшим.

«Мы всегда думали, — не раз повторит Бестужев-Рюмин, — что солдаты к солдатам пристанут и что достаточно одной роты, чтобы увести весь полк». По этому расчету выходило, что можно

увлечь 60 000 человек.

«Белоцерковские совещания» окончились. Пестель обо всем спросил, про все ответил. Последняя просьба Муравьева и Бестужева — «поднять дух» Тизенгаузена: командира Полтавского полка одолевают сомнения, тяжелые предчувствия, он порывается уйти из заговора, перевестись в другую часть, и однажды Сергей Иванович упадет перед ним на колени и попросит не изменять данному слову. Измены не будет, но нет и радости.

Пестель, такой же полковой командир, как и Тизенгаузен, на прощальном обеде говорит о близкой развязке, о больших успехах Тайного общества, о важных людях, ему сочувствующих; он, конечно, приукрашивает и вдруг увлекается, как Бестужев-Рюмин, и сам почти верит своему рассказу. А мы догадываемся, каков был разговор и настроение. Ведь позже, в казематной безнадежности, полный худших предчувствий, Пестель в одном из показаний вспомнит, как он и его друзья приходили в сильнейшее воодушевление, восторг, воображая, как прекрасно все устроится после революции…

* * *

Затем проходят длинные, как век, полтора года, и каждая весть, каждое событие только усиливают нетерпение Муравьева и Бестужева. Когда люди так решились, все на свете подтверждает их решимость: и согласия, и возражения, и успех, и неудача, и спокойствие, и угрозы.

«Я, испытанный, я, знающий свое дело». Этим стихом из вольтерова «Танкреда» Бестужев-Рюмин должен был закончить письмо, если срочно понадобится предупредить польских заговорщиков в Варшаве. Предупредить, что начинается.

Он неутомим, неукротим, не знает препятствий, готов ежеминутно пуститься в Москву, Киев, Хомутец, к полякам, в Тульчин. Сегодня Бестужев-Рюмин совещается с Муравьевым-Апостолом о новом плане захвата или убийства императора на ближайшем смотру, завтра несется к Пестелю, который рекомендует рассеять мрачные мысли Матвея Муравьева и еще раз объяснить полякам, что их строй после восстания должен быть сходен с российским — без монарха и аристократии.

Метеор Бестужев с портфелем, всегда наполненным запретными стихами Пушкина, Рылеева, Дельвига, вдруг обнаруживает тайное Общество соединенных славян в 8-й артиллерийской бригаде и других частях, зажигает, околдовывает их своей неистовой страстью и даже посмеивается над «тульчинским директором»:

«Странно, что Пестель, давно утверждающий необходимость истребления всей императорской фамилии, не успел однако же найти заговорщиков, как Славян, готовых с радостью собою жертвовать».

Пестель же, радуясь новым силам, понимает также, что каждый успех опасен: довод за скорейший удар, меньше шансов еще немного удержать «васильковских».

«Взгляните на народ, как он угнетен. Торговля упала, промышленности почти нет, бедность до того доходит, что нечем платить не только подати, но даже недоимки. Войско все ропщет. — При сих обстоятельствах нетрудно было нашему обществу распространиться и прийти в состояние грозное и могущественное. Почти все люди с просвещением или к оному принадлежат, или цель его одобряют: многие из тех, коих правительство считает вернейшими оплотами самовластия — сего источника всех зол — уже давно ревностно нам содействуют.

Самая осторожность ныне заставляет вступить в общество; ибо все люди, благородно мыслящие, ненавистны правительству — они подозреваемы и находятся в беспрестанной опасности. Общество по своей многочисленности и могуществу вернейшее для них убежище. Скоро оно восприемлет свои действия — освободит Россию и, быть может, целую Европу».

Так выступает Бестужев-Рюмин в балагане, походной квартире, перед двадцатью офицерами на маневрах близ местечка Лещин. Балаган раздвигается, заполняя сначала все южные армии, затем всю Россию, наконец Европу, все народы, весь век!

Большинство слушателей были старше годами и выше чинами, но видели в 22-летнем офицере представителя огромного тайного механизма, который вот-вот придет в движение. И Соединенные славяне клянутся в верности тайному обществу, целуют образ, который Бестужев-Рюмин снял со своей шеи, что готовы посягнуть на царя.

«Где же царь?» — спросили Славяне Бестужева, услышав проект будущего устройства. «Можно отделаться», — отвечает Бестужев.

Соединенные славяне спрашивали Бестужева-Рюмина, а потом Муравьева-Апостола, кто составляет «Верхнюю думу» — вождей столь мощного тайного общества.

Было сказано, что многие влиятельные генералы и сановники.

Бестужев-Рюмин:

«Ежели бы я им сказал, что Конституция написана одним из членов и никем знаменитым не одобрена, то Славяне, никогда об уме Пестеля не слыхавшие, усумнились бы в доброте его сочинения. Тем более, что Спиридов, которому я давал выписки из „Русской правды“, написал было на многие пункты свои возражения (особенно на учреждение Сената). Итак, для прекращения *уже начавшихся* толкований и для предупреждения новых, я сказал, что князь Трубецкой нарочно был послан в чужие края для показания *сей Конституции* знаменитейшим публицистам и что они ее совершенно одобрили…

Назвал же я Славянам Трубецкого, а не другого, потому что из членов он один возвратился из чужих краев; что живши в Киеве, куда Славяне могли прислать депутата, Трубецкой мог бы подтвердить говоренное мною, и что, быв человек зрелых лет и полковничьего чина, он бы вселил более почтения и доверенности, нежели 23-летний подпоручик».

Они преувеличивали, бессознательно и сознательно. «Для дела» старались преувеличить силы, возможности, вообразить мощных сторонников, по посреди агитации вдруг сами начинали

верить, что так оно и есть, что одна рота поднимет любой полк, что первый успех «развяжет язык у сенаторов»!

Жизнь тайных обществ фантастически соединяла выдумку с былью.

На глазах у южан разворачивалась греческая революция, ударным отрядом которой был тайный союз, *Этерия.* Для воодушевления соотечественников этеристы распространяли слух, будто православный царь Александр I поддержит их дело против турок, не говоря ужо о влиятельнейшем русском сановнике греческого происхождения министре Иоанне Каподистрия, который конечно же не оставит своих! *Александр и Каподистрия* — эти два имени побудили тысячи греков взяться за оружие… Между тем Александр совершенно не собирался помогать грекам, а Каподистрия весьма холодно принял посланцев Этерии, явно не одобряя их торопливости… И что же? Греция восстала, продержалась несколько лет, и в конце концов пришли в движение международные механизмы; Россия после смерти Александра I выступила против турок, а Каподистрия сделался президентом Греческой республики… Вроде бы цель оправдала средства, «возвышающий обман» преодолел «тьму низких истин»?..

«Да больший из вас будет вам слуга… Не будете рабами человека, яко искуплены кровью…» Выписку из Евангелия Сергей Муравьев-Апостол читал тогда Ивану Горбачевскому и другим Славянам.

Эти мысли давно занимают Сергея Ивановича.

«Пусть говорят, что хотят, — писал позже Булгарин Бенкендорфу, — но Библия и Евангелие есть республиканские сочинения в устах искусного толкования».

Раскольничьи агитаторы не раз уводили за собой тысячи людей, толкуя определенным образом Священное писание.

Читая строки древних пророков о равенстве и братстве, Муравьев и Бестужев слышат в них обращение к самим себе и оттого загораются и зажигают аудиторию.

Кажется, один только Иван Горбачевский сомневается и удивляется, находя, что «вера противна свободе». Сергей Иванович отвечает ему с такой страстью, будто он — Бестужев-Рюмин. Даже старый аргумент Ивана Матвеевича пускается в ход; «Франция, впавшая в такие бедствия и страдания во время своего переворота, именно от вкравшегося безверия, должна служить нам уроком».

Когда люди так решились, все подтверждает их решимость: и бог, и разум.

С севера приезжает полковник Трубецкой и в спорах с Пестелем принимает сторону Муравьева-Бестужева…

Воодушевленные рассказами Бестужева, клятвой на образе, цитатами из писания, Соединенные славяне готовы хоть сейчас приступить к делу и желают ехать в Таганрог, куда той осенью отправляется царь Александр. Их сдерживают…

Прибывший с севера кузен и друг полковник Артамон Муравьев предлагает свои услуги для нанесения немедленного удара. Страсти разгораются; Артамону указывают на его ценность как командира Ахтырского гусарского полка, способного дать революции сотни сабель.

Но когда же?

Торжественно, честным словом подтвердили, что восстанут в мае 1826 года, а если нужно будет, то и раньше: ожидаются торжества по случаю 25-летия царствования Александра и маневры на Украине в присутствии государя. Тут его и взять.

И Пестель согласен: время! И зловещие сведения о том, что Тайное общество открыто, «заявлено» предателем, — время! И сомнения, сильные сомнения близких — еще довод ***за,*** потому что, чем дольше медлим, тем больше сомнений. Время!

«На другой день первого нашего визита к Артамону Муравьеву пришел Тизенгаузен к нам на квартиру. Сергея Муравьева не застал дома и зачавши со мною (Бесстужевым-Рюминым) разговор о желании Артамона, чтобы мы немедленно восприяли действия, сказал мне следующее: „Как же начать, когда у нас *ничего* не готово“. Я ему отвечал: „Что вы подразумеваете под словом *ничего?* Перед началом революции должны быть две вещи готовы. Первая — это хорошая конституция, ибо, изготовя ее прежде восприятия действий, мы избегнем долговременности и ужасов революций английской и французской; другая вещь — та, чтоб иметь под рукой значительное число войск благонадежных Я не согласен с Артамоном в немедленном начатии, но не полагаю, чтобы мы могли безопасно откладывать предприятие наше далее будущего года; тогда с большою вероятностью в успехе может начинать“. — „Разве через десять лет“, — отвечал Тизенгаузен. То же самое он сказал раз у Артамона Муравьева и основывал свое мнение на незрелости России, тогда я ему отвечал, что в России легче сделать переворот, нежели в прочих землях: 1) потому что нет полупросвещения, вещь самая пагубная в революции; 2) что со времен Петра Великого духовенство не играет никакой роли в государстве; 3) потому что у нас дворянство не пользуется особенными правами. Меня поддержали Сергей и Артамон Муравьевы, и Тизенгаузен замолчал».

Не часто в камерах пленных декабристов воссоздавались

живые речи, споры, звучавшие на свободе; но конечно же Бестужев-Рюмин по своему характеру меньше других мог держаться принятого «подследственного» тона. Старший из друзей был, как всегда, сдержаннее, лаконичнее: «Говорил против правительства, жалуясь на строгость, и заключил, что умереть все равно».

Слово берет Матвей Муравьев-Апостол: уникальный, чудом сохранившийся документ (таких было, может быть, немало, но сожжены, скрыты навеки от преследователей) — отчаянная, трагическая, безнадежная попытка переубедить брата.

Матвей — Сергею из Хомутца в Васильков:

«Я был крайне неприятно поражен, дорогой друг, тем, что ты мне сообщаешь в твоем последнем письме. Я с нетерпением ждал тебя, а теперь приходится отказаться от надежды скоро тебя увидеть. Что касается меня, милый друг, я несомненно приехал бы. Я бросил бы все свои купанья. Но мне было строго приказано не ездить к тебе. Отец заставил меня дать ему положительное обещание, что я не поеду после того, как он получил предостережение от Николая Назаровича, а ты знаешь, как этот последний хорошо осведомлен. Правительство теперь постоянно настороже, и если оно не действует так, как следовало бы ожидать, то у него на то есть свои причины. Юг сильно привлекает его внимание, оно знает, какой там царит дух, и меня крайне огорчает то, что ты действуешь, словно прекратились всякие подозрения. Доказательством тому служит хотя бы посещение меня неким господином Лорером, с которым я был едва знаком в Петербурге и которого Пестель послал мне, бог весть почему, в качестве старого знакомого. Мы еще весьма далеки от того момента, когда благоразумно рисковать; а рисковать без здравого рассуждения поведет лишь к потере людей и затягиванию дела, может быть, до бесконечности. Он говорил мне о приеме новых членов у вас в полках, о назначении срока в один год, — по правде говоря, все это меня злит».

Николай Лорер был удивлен холодным приемом Матвея Ивановича. «Он нашел меня в большом омерзении насчет Общества», — покажет позже старший Муравьев-Апостол.

Иван Матвеевич что-то узнал в Петербурге; для него, как и для многих других, конечно, не секрет, что дети в тайном обществе.

Разумеется, отец не ведает всех подробностей, планов, намерений, но опасается, как бы правительство не оказалось в этом случае внимательнее родителя. Близкий к верхам, родственник Николай Назарович Муравьев предостерегает, и отец с верной оказией берет с Матвея слово — не ездить пока к брату.

Настроение Матвея Ивановича объясняется, однако, не только опасениями.

Сообщив, что единства между северными и южными декабристами нет, Матвей Иванович в том же письме недружелюбно отзывается о «тщеславии Пестеля», выступает против переговоров с поляками:

«И я спрашиваю тебя, дорогой друг, скажи по совести: такими ли машинами возможно привести в движение столь великую инертную массу? Принятый образ действий, на мой взгляд, никуда не годен, не забывай, что образ действия правительства отличается гораздо большей основательностью. У великих князей в руках дивизии, и им хватило ума, чтобы создать себе креатур. Я уж и не говорю о их брате [7], у которого больше сторонников, чем это обыкновенно думают. Эти господа дарят земельные владения, деньги, чины, а мы что делаем? Мы сулим отвлеченности, раздаем этикетки государственных мужей людям, которые и вести-то себя не умеют. А между тем плохая действительность в данном случае предпочтительнее блестящей неизвестности. Допустим даже, что легко будет пустить в дело секиру революции; но поручитесь ли вы в том, что сумеете ее остановить?.. Силы наши у вас в обществе — одна видимость, нет решительно ничего надежного. Дело не в том, чтобы торопиться, — я в данном случае и не понимаю применения этого слова. Нужен прочный фундамент, чтобы построить большое здание, а об этом-то менее всего у вас думают…»

Но Матвей ведь был другим, недавно помогал Пестелю в переговорах на Севере, даже думал о выстреле в царя:

«Не удивляйся перемене, происшедшей во мне, вспомни, что время — великий учитель. Я провожу время в совершенном одиночестве. Погода так дурна, что я, как говорится, не показываю носа из дому. Я занят чтением, и такой образ жизни мне ничуть не надоедает. Я даже доволен им, когда подумаю, что в настоящее время моему отцу предстоят большие расходы и что у меня хватает совести не увеличивать их со своей стороны».

Автор письма не подозревает, что, случайно сохранившееся в бумагах брата, оно облегчит будущий приговор «государственному преступнику Матвею Муравьеву-Апостолу».

Соседка Софья Капнист наблюдает его отшельническую деревенскую жизнь: «Никуда не выезжал, кроме Обуховки, и, несмотря на большое состояние отца своего, жил очень скромно, довольствуясь малым, любя все делать своими руками: сам копал землю для огорода и для цветников, сам ходил за водою для поливки оных и не имел почти никакой прислуги. В то время, конечно, он не предчувствовал, что вскоре жестокая судьба

бросит его в мрачную и холодную Сибирь и что там-то он будет истинным тружеником и страдальцем в лучшие годы своей жизни».

В 1824-м и 1825-м отец и мачеха не приезжали из Петербурга. Ипполит тоже в столице, ожидает первого офицерского чина и совсем не пишет в Хомутец; любимая сестра Екатерина Бибикова и ее преуспевающий муж вспоминают редко; сестра Елена — в свадебном путешествии с Семеном Капнистом; сестра Анна, хотя и недалеко, в Бакумовке, но (Матвей жалуется Сергею): «Никогда ни муж, ни жена не посылают ко мне справиться, получил ли я вести от отца; ни он, ни она ни разу не справлялись ни о Екатерине, ни о ее детях, ни о ее муже, ни даже об Ипполите, а супруг ведет список своих неудовольствий против моего отца. Не выводи из всего этого заключения, дорогой друг, что я возненавидел и людей, и добродетель, ты сильно ошибся бы».

Матвей столь откровенен, что, кажется, может разойтись и с Сергеем. Но это невозможно. Резкое письмо, посланное с Лорером, не разъединило. Да и конфликт быстро устраняется известным и быстрым способом: в Хомутец вдруг является Бестужев-Рюмин. Он упрекает Матвея Ивановича, что его послание имело дурное впечатление, ибо «члены Общества и без того требуют быть побуждаемы». Затем Бестужев кладет перед Матвеем проект дружеского письма к Пестелю, и разве может кто-нибудь устоять перед натиском этого юноши? Матвей Муравьев переписал, поклялся в верности Тайному обществу и подписал… В ту нору начал серьезно помышлять о самоубийстве, но Сергей догадался и однажды заставил у портрета покойной матери поклясться, что он не сделает этого.

Сергей Муравьев-Апостол — Бибиковым в Петербург:

«Вы найдете Матвея очень изменившимся; разные невзгоды жизни иссушили его сердце и подорвали даже его здоровье. Однообразие жизни в Хомутце ему не подходит, он нуждается в столичных развлечениях, нуждается в нежной заботливости, какую могла бы дать ему лишь ваша дружба. Характер Матвея так благороден, так глубок, что состояние свое внутреннее он прячет под маскою спокойствия, не желая огорчить никого из любимых людей; об этом нетрудно догадаться по его нервному настроению, то чересчур веселому, то слишком грустному».

Не зная об этом письме, Матвей через год запишет в крепости:

«22 февраля 1825 года я в первый раз был в Кибинцах. Последний год моей жизни был грустен и…»

Причина грусти — любовь; место, где обитает любимая, названо. Вместо имени — многоточие. Поверенный и советчик конечно же младший брат.

Что смолкнул веселия глас?

«Вакхическую песню» Пушкина принято считать такою оптимистической, эллинской, что порою забывают о первой строке: что глас смолкнул, что говорящий взывает к друзьям — вернуться к радости, снова вспомнить вакхальны припевы.

Эти стихи были сочинены летом 1825-го, в то самое время, когда Сергей Муравьев и Бестужев готовились к последнему бою, когда печалился и любил Матвей Муравьев. Возражения, что Пушкин не ведал про сомнения, печали этих людей, что писал, не имея в виду ничего подобного, конечно, неосновательны. Пушкин все знал и про тех, кого не знал…

Гости съезжались в Кибинцы 26 октября. День святого Дмитрия, именины хозяина — 76-летнего Дмитрия Прокофьевича Трощинского. Братья Муравьевы-Апостолы едут вместе на последний общий праздник. Как в Каменку к 24 ноября, как во многие подобные дворянские гнезда, с четырех сторон слетаются в Кибинцы коляски и брички, одолевшие ухабы и колдобины нескольких губерний. Являются и пешие родственники — из простых крестьян, помнящие, что министр и действительный тайный когда-то бегал здесь босиком, и знающие, что от убогих свойственников он не отрекается. Беспрерывно играет музыка, наготове театр, маскарад, живые картины, по дому бродят шуты, рассчитывая на щедрые подарки единственной дочери хозяина Надежды Дмитриевны Хилковой — в том случае, если Дмитрий Прокофьевич выйдет из обычной задумчивости.

«Угощениям не было конца; прислуг было столько же, сколько и сидящих за столом. Надо сказать, что после господского стола, за тем же столом подавался тот же обед всем лакеям и горничным. После этого неудивительно, что в ближайшем городке Миргороде нельзя было иногда купить курицы, ибо все закупалось на кухню Трощинского».

На этот раз, правда, развеселить Дмитрия Прокофьевича особенно нелегко: здоровье расклеилось, красавица дочь разъехалась с мужем, и внучка Прасковья Ивановна Хилкова почти не знает отца; некому поставить и любезные хозяину малороссийские пьесы — их постоянный сочинитель, родственник и домашний секретарь Дмитрия Прокофьевича, Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский, вдруг умер несколько месяцев назад; нет на свете и милого Капниста, а любезный Иван

Матвеевич в столице (откуда приходят нерадостные для старика политические новости).

Матвей Муравьев пишет мачехе подробный отчет о празднике:

«Спешу вам сообщить, дорогая мама, что 26 числа прошедшего месяца я видел (сестру) Аннет в Кибинцах; она чувствует себя хорошо, как и ее маленькая семья. 26-го — день св. Дмитрия, и хотя г. Трощинский был настолько нездоров, что не мог выходить из своей комнаты все дни, стечение гостей не было от этого менее многолюдным. Появился там и Репнин со своею свитою».

Генерал-губернатор, заметив своего бывшего адъютанта, вдруг, при всем народе, протянул руку и сказал:

«Можно сделать несправедливость в отношении человека, но если его уважаешь, то будешь всегда готов ее исправить». Это событие повергло «в остолбенение» многих гостей. Матвей Иванович сразу делается героем праздника, и льстивый хор предсказывает новую карьеру.

Заканчивая письмо к мачехе, Матвей сообщает: «28-го (в день ангела Прасковьи Васильевны) я пил (в Кибинцах) за ваше здоровье и делал это не один: мадемуазель Гюене присоединилась ко мне».

«При Трощинском находилась внучка его, княжна Хилкова, которую он очень любил и которая несмотря на детский возраст свой, оставаясь совершенно одна при нем, развилась и начала жить слишком рано.

Хотя она не была так хороша собой, как мать ее, но миловидностью, добротой сердца и необыкновенной грациозностью не менее матери сводила с ума всех молодых людей.

Но это-то и послужило ей к большому вреду — характер ее испортился, она в свою очередь сделалась большой кокеткой.

При ней хоть и была в то время очень хорошая гувернантка, швейцарка мадемуазель Гюене, но сколько ни старалась, не могла ее исправить от ее дурных наклонностей. Иностранку эту я очень любила, как умную и образованную женщину, и всегда с удовольствием проводила с нею время».

Обе женщины, о которых рассказывает их соседка Софья Капнист, видят триумф Матвея Ивановича, и присутствие одной из них имеет для него особенное значение.

Брат Сергей, давно уже не «младший», наставляет старшего:

«В отношениях с молодой особой сохраняй приветливость, достоинство, любезность и веселость. Особенно не старайся

слишком руководить и наставлять ее в ее поведении. Ведь ты не можешь ей *все* сказать, а при таком количестве устремленных на вас враждебных глаз это скоро будет замечено и истолковано превратно».

Почему же нельзя все сказать? Девица, кажется, имеет недостатки, которые, может быть, считает достоинствами, и пресных нотаций не примет… Но почему же столько враждебных глаз? Вероятно, могут приписать Матвею корыстные намерения…

Какой смысл доискиваться полтора века спустя, в кого был влюблен Матвей Муравьев? Ведь не сбылось…

На дворе 1825 год, самое неподходящее для любви время. Они не знают, что последние месяцы ездят в гости, пьют за здоровье, любят (хотя любить можно и после). Мы знаем — они не ведают, И оттого интимные подробности, невинные сплетни, ничего не значащие предположения вплетаются в страшную, печальную предысторию того, что случится после; тут не отделить лирические Кибинцы от трагического Василькова: Сергей уезжает в полк, Матвей пьет в Кибинцах с мадемуазель Гюене и едет на пару дней к Сергею, император Александр в Таганроге чувствует недомогание.

Сергей — Матвею. Васильков, 18 ноября 1825 года:

«Милый мой и дорогой Матюша!

Вот уже четыре дня, как мы с тобой простились в Киеве, и, однако, все это время мы были разлучены только физически: я следовал за тобою в течение всего твоего путешествия, и надо, чтобы я рассказал тебе об этом: мы поехали в Хомутец и вернулись к домашнему очагу к великому удовольствию всей компании… Во вторник поутру, послав нарочного с письмами туда (т. е. в Кибинцы), мы отправились в Бакумовку обедать с милой сестрой Аннет и Хрущевым, который говорил тебе о своей винокурне и о своих высоких чувствах, о прекрасном воспитании, которое он дает своей дочке, и об изменчивой суетности всего на свете, подымая при этом время от времени руку тем жестом, который ты знаешь. Вечером мы были в бане, а на другой день, т. е. сегодня, ты получил ответ от мадемуазель Гюене, которым ты был очень обрадован, и вот мы оба заняты тем, что пишем друг другу, причем ты рассказываешь мне о своих приключениях, пересказываешь вкратце любезный ответ и говоришь о своих надеждах и о том, что ты вполне доволен.

Так ли я все видел, милый Матюша? Как бы я этого хотел!.. Впрочем, может быть, я как следует не заметил некоторых подробностей, например, что бричка поломалась, *что* на одной станции не оказалось лошадей, что на другой Никита (слуга)

копался. Все это могло видоизменить или замедлить ход остальных событий, но в основном — я хотел бы надеяться — мое второе зрение меня не обмануло, и, признаюсь, я этому очень рад.

Мне нужно, мой дорогой и милый Матюша, знать, что ты спокоен и доволен собой; мне нужно это не только для меня, но и для тебя самого».

Настроение неплохое, переписка Матвея с Кибинцами обнадеживает. Император Александр в Таганроге при смерти, завтра — умрет.

Матвей Муравьев (на следствии):

«У меня была переписка большая с некоторой мадемуазель Гюене, я желал очень (письма) истребить».

Переписка с гувернанткой из Швейцарии была не только у Матвея, но и у Сергея. Письма сожжены во время восстания… Что стало с самой Гюене, сожгла ли она послания опасных братьев или сохранила; может быть, увезла, и они доселе хранятся в фамильной шкатулке в каком-нибудь альпийском кантоне? Бог весть. И все же одно, последнее письмо к ней Сергея Муравьева сохранилось… Сохранилось потому, что в Кибинцах никогда его не получили, мадемуазель никогда о нем не узнала… Несколько месяцев спустя капитан Сотников, производя розыски остатков тайного общества, обратил внимание, что на миргородской почте лежат невостребованные письма, адресованные Матвею Ивановичу и мадемуазель Гюене; письма, прочтенные двумя-тремя чиновниками и на столетие спрятанные в секретный архив…

Когда письма пришли в миргородскую почтовую экспедицию, там уже знали о смерти царя в Таганроге.

Сергей Муравьев-Апостол — мадемуазель Гюене 18 ноября 1825 г., Васильков:

«Я преподношу вам довольно длинное рассуждение, по вы не должны этому удивляться! когда беседуешь с особой, которая имеет обыкновение размышлять глубоко, это пробуждает в нас поток мыслей, которому нет конца. Вспоминаете ли вы, мадемуазель, наши долгие беседы в Кибинцах? Что касается до меня, то сколько раз я мечтал о том, чтобы они возобновились! В ожидании этого времени, которое будет для меня очень приятно, примите уверение в почтении и уважении, которые питает к вам преданный вам…»

Длинные рассуждения касались прочитанных книг. Новый пятитомный французский роман Луи Пикара «Жиль-Блаз революции» не понравился: герой — веселый проходимец;

переживая тысячи приключений и спасаясь от смерти, он удобно устраивается при разных режимах — революции, директории, Наполеоне, реставрации, пока не заканчивает жизнь в уютной богадельне.

«Эти люди, — говорит Сергей Муравьев девице Гюене, — приспосабливаются ко всяким обстоятельствам потому, что, лишенные всякой силы в своем характере, они не могут понимать ничего, кроме эгоизма, который заставляет их и в побуждениях других людей находить лишь свою собственную манеру мыслить и чувствовать.

Но сами эти люди — не отбросы ли они человеческого рода?»

И затем — наиболее интересные строки этого письма, где автор рисует свой человеческий идеал, а корреспондентка, конечно, разглядела бы его автопортрет, если б послание когда-нибудь пришло в Кибинцы.

«И не в противность ли этому непостоянству людей ничтожных мы чтим и особенно ценим людей, которых небо одарило истинной отзывчивостью чувства и деятельным характером? В их природе непостоянства нет, потому что впечатления врезаются неизгладимо в их сердца. Жизнь имеет для них прелесть только тогда, когда они. могут посвятить ее благу других. Они отбросили бы ее, как бесполезное бремя, если бы они были осуждены посвящать ее самим себе. В своем собственном сердце находят они источник своих чувств и поступков, и они или овладевают событиями или падают под их тяжестью, но не станут к ним приспособляться».

И если так, если существуют такие люди — а Сергей Муравьев подозревает, что существуют, — тогда мир устроен не так, как полагает «Жиль-Блаз революции»:

«Но не утешительно ли думать, что все воззрения, которые унижают род человеческий, оказываются ложными и поверхностными?»

Одно из последних писем человека, которого «небо одарило истинной отзывчивостью», в чьем сердце «неизгладимые впечатления», для кого жизнь имеет прелесть, если посвящена «благу других». Исповедь, завещание — особенно важные, так как автор не подозревает, что пришел час исповедоваться.

Так не разговаривают со случайной собеседницей — скорее с другом, может быть, с любимым человеком. Сергей Иванович сдержан даже в искренней исповеди.

Несколько лет назад в Обуховке состоялся праздник, 200-летие со дня рождения поэта Василия Капниста. Съехались гости с разных краев, в их числе праправнучка Мария Капнист. Дома

старого уж нет; нет и дубов в два-три обхвата, украшавших парк. 370 человек здесь погибло во время последней войны… Собравшиеся вспоминали сердечно тех, кто бродил по этим дорожкам и холмам полтора века назад и кто стоял у могилы, на которой и сегодня плита:

Капнист сей глыбою покрылся,
Друг муз, друг родины он был…

Старинное культурное гнездо было потрясено страшным ударом 1825–1826 годов, арестами, гибелью, ссылкой, опалой многих действующих лиц…

«В ноябре 1825 года мы отправились, не помню к какому празднику, к Д. П. Трощинскому. Съезд был большой, обед великолепный, все готовились веселиться вечером. Музыка загремела; старик, по обыкновению, открыл бал польским. Все пустились в танцы. В числе молодых людей были там Матвей и Сергей Муравьевы-Апостолы и друг их Бестужев-Рюмин.

Все трое собирались приехать к нам на несколько дней в Обуховку к 26 ноября, ко дню рождения матери нашей, и именно в ту минуту, как они говорили мне об этом их намерении, дверь кабинета Трощинского растворилась, старик вышел в залу с каким-то тревожным, таинственным видом и тихо объявил некоторым особам известие о внезапной смерти государя Александра I.

Музыка утихла; все замолкло. Потом начался всеобщий говор, разные толки: от чего он умер? Что за болезнь? Кто сожалел, кто радовался.

Но трудно описать положение братьев Муравьевых и Бестужева-Рюмина при этом известии, они как бы сошли с ума, не говорили ни слова, но страшное отчаяние было на их лицах, они в смущении ходили из угла в угол по комнате, говоря шепотом между собой; казалось, не знали, что делать. Бестужев-Рюмин, более всех встревоженный, рыдал как ребенок, подходил ко всем нам и прощался с нами как бы навеки.

В таком положении все разошлись по своим комнатам, и только утром мы узнали, что в эту ночь Муравьевы-Апостолы и Бестужев-Рюмин поспешно уехали, но неизвестно куда».

Воспоминания Софьи Капнист обычно довольно точны; как видим, она помнит даже, о чем говорила с тремя декабристами в тот момент, когда Трощинский вышел из залы… Странно! Генерал-губернатор Репнин, имевший надежную информацию, рапортовал новому царю только об одном из троих:

«Матвей Муравьев, получа в имении Трощинского письмо

(уповательно о кончине покойного государя), отправился внезапно к брату 25 ноября, не простившись даже с сестрами».

Судя по другим сведениям, Сергей Муравьев и Бестужев-Рюмин в те дни не выезжали и не собирались выезжать из Василькова, а вечером 29 ноября или утром 30-го к ним уже прибыл Матвей. Впрочем, 300 верст от полтавских имений до Василькова — это меньше чем сутки быстрейшей скачки: могли появиться, снова умчаться… Однако при всех версиях несомненно одно: 25 ноября Матвей Муравьев навсегда простился с той, ради которой ездил в Кибинцы…

«Его императорскому величеству малороссийского военного губернатора генерал-адъютанта князя Репнина

Рапорт

Из допросов дворовых людей, лично мною сделанных, сведений, собранных от соседей, и полицейских наблюдении о Матвее Муравьеве, всеподданнейше доношу Вашему императорскому величеству, что он, проживая последнее лето в деревне отца своего, селении Хомутце Миргородского повета, ездил к Дмитрию Прокофьевичу Трощинскому, влюбившись в внучку его княжну Хилкову… В семье Капнистов Матвей Муравьев поссорился с Алексеем, бывшим адъютантом генерала Раевского, что видно даже из переписки его, и сему почесть можно главнейшею причиною, что Капнист, по большой дружбе покойного отца его с Трощинским, тоже искал руки княжны Хилковой».

Генерал-губернатор обязан знать, зачем и ради кого ездил его бывший адъютант (которому месяц назад протянута «рука над столом»).

На того, кто ухаживал за богатой наследницей Трощинского, конечно, «устремлялись враждебные глаза» (о чем писал прежде Сергей Муравьев), но неужели внимательный Сергей Иванович, переписываясь с гувернанткой, не нашел бы приветливого слова для воспитанницы, в которую влюблен старший брат? Ведь Прасковья Ивановна Хилкова для Сергея будто не существует.

В одном из последних писем, адресованных петербургскому знакомому, Матвей Иванович, кажется, намекает на свое положение относительно владелицы миллионного состояния:

«Сердце сжимается, когда вздумаешь, что в деле важнейшем — в женитьбе, где приговаривается судьба целой жизни, всюду руководствуются чинами, именами, состоянием, и никогда не обращают внимания на чувства, на сходность нравов и понятия, в чем однако ж единственно заключается залог счастья и спокойствия, и сколько бед происходят в обществе от ложных сих мнений»…

Пройдет немного времени, и обворожительная Прасковья Ивановна Хилкова выйдет замуж за полковника Сакена, но, узнав, что дед выделил ей сравнительно малую долю, так рассердится, что заболеет и умрет. Мадемуазель Гюене, как видно, не успела привить ей более возвышенных понятий.

Впрочем, все это очень скоро станет далеким, почти нереальным.

Фельдъегеря стремительно поскачут по треугольнику Таганрог — Варшава — Петербург, Матвей попрощается навсегда, Сергей напишет последнее письмо — и понесутся…

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

«Избавить нас…»

Брут и Кассий восстали за свободу, разбиты и погибли.

Рим. 44–42 гг. до н. э.

Лейтенант Тирадентис восстает за свободу, схвачен, казнен.

Бразилия, 1789–1792 гг.

Лунин — похищение Александра I по пути из Петербурга в Царское Село.

Якушкин — выстрел в императора и в себя.

Шаховской («тигр») — захват, умерщвление царя.

В Бобруйске (Сергей Муравьев, Бестужев-Рюмин, Норов) — захват царя.

Белая Церковь (офицеры из Южного общества, переодетые в солдатские шинели) — убийство царя.

Матвей Муравьев — убийство царя, после того, как от брата Сергея долго нет писем, и Матвей решает, что Тайное общество раскрыто.

Вадковский, Свистунов — выстрел в царя из специального духового оружия.

Соединенные славяне (из Лещинского лагеря) — убийство царя в Таганроге.

Бывшие семеновские солдаты — «истребление монарха» из ружья во время смотра.

Артамон Муравьев — убийство царя в Таганроге.

Якубович — убийство Александра I в Петербурге.

Наконец, смотр 1826 года — восстание, захват, истребление царя.

Все эти и другие, менее точно обозначенные удары миновали Александра I, успевшего уйти в Таганроге, на 48-м году жизни, 19 ноября 1825 года.

«…Губернатор извещает, что приведение к присяге на верноподданническую Его Величеству императору Константину Павловичу верность будет продолжаться сего числа всяких чинов

и звания людей мужеского пола, кроме казенных и крепостных помещичьих крестьян и людей, для чего после литургии все церкви будут отворены».

Такие извещения в последние дни ноября и первые декабрьские — повсеместно.

Все, кроме казенных и крепостных помещичьих «крестьян и людей»…

Придворный писатель Рафаил Зотов запишет важный разговор графа Милорадовича: «По причине отречения от престола Константина Павловича, — сказал гр. Милорадович, — государь передал наследие великому князю Николаю Павловичу. Об этом манифесты хранились в Государственном совете, в Сенате и у московского архиерея. Говорят, что некоторые из придворных и министров знали это. Разумеется, великий князь и императрица Мария Федоровна тоже знали это; но народу, войску и должностным лицам это было неизвестно. Я первый не знал этого…

— Признаюсь, граф, — возразил князь Шаховской, — я бы на вашем месте прочел сперва волю покойного императора.

— Извините, — ответил ему граф Милорадович, — корона для нас священна, и мы прежде всего должны исполнить свой долг. Прочесть бумаги всегда успеем, а присяга в верности нужнее прежде всего. Так решил и великий князь. У *кого 60 000 штыков в кармане, тот может смело говорить*, — заключил Милорадович, ударив себя по карману. — Разные члены Совета пробовали мне говорить и то и другое; по сам великий князь согласился на мое предложение, и присяга была произнесена; тотчас же разосланы были и бланки подорожных на имя императора Константина. Теперь от его воли будет зависеть вновь отречься, и тогда мы присягнем вместе с ним императору Николаю Павловичу».

«Эхо» 1796-го: Екатерина, Павел, Александр; Александр, Константин, Николай. Звучной и весьма мудреной элегией на греческом языке оплакивает Александра I в одной из газет сенатор Иван Матвеевич Муравьев-Апостол (тут же перевод на латинский, немецкий и русский): поэт не хочет помнить зла, мимолетной опалы, клеветы.

> Мудрая Норда-царица Любовь сочетала с Психеей,
> Скрылась Любовь от земли, жадная светлых небес!
> Что же Психея? О горе! Сквозь слез улыбался ищет…
> Взоры парят к небесам, крылья трепещут ее.

Аллегория означала: Любовь (Эрот) — Александр, который на

небесах. Психея — ого супруга императрица Елизавета Алексеевна (32 года назад при их венчании Екатерина II именно так представила молодых).

Сенатор верен своим правилам — «не хочу и венца, лишь бы только я был сочинителем сей оды…»

В Василькове Черниговский полк собран для присяги, но вдруг слышит чтение приговора и видит «приготовления к постыдному наказанию виновных их товарищей». При самом начале чтения в рядах раздается ропот против полкового командира Гебеля: ведь новый государь должен дать амнистию — как же наказывать в день присяги?

Это воспоминание очевидцев было записало на каторге много лет спустя, вероятно Иваном Горбачевским (кому в Лещинском лагере Сергей Муравьев завещал составить когда-нибудь летопись событий). Двух солдат наказывают за то, что пьяные отлучились от полка и отняли у мужика два рубля серебром. «Конечно, они виноваты, но в сем случае такая строгость хуже всякого послабления… Нечаянный случай выразил сей порыв. Сергей Муравьев, человек чувствительный по своему высокому и благородному характеру, чуждый всякой жестокости, был поражен воплем жертв, терзаемых бесчеловечно свирепым палачом. Напрасно делал он усилия казаться спокойным: не будучи в состоянии выдержать сильных потрясений души, производимых сим отвратительным зрелищем, он лишился чувств и пал замертво. Офицеры и солдаты, увидя сие, все без исключения, забыв военную дисциплину, забыв присутствие строгого Гебеля, бросились к Муравьеву на помощь. Строй пришел в совершенный беспорядок, солдаты собрались в кучу около лежавшего без чувств С. Муравьева и старались возвратить его к жизни. Ни командные слова, ни угрозы не могли привести их к послушанию и восстановить порядок.

Происшествие сие еще более привязало солдат Черниговского полка к их офицерам и особенно к Муравьеву… Увлеченные гневом, они осыпали проклятиями полкового командира, правительство, и сей случай заронил в их сердце искру мщения. Присяга новому императору, произнесенная сейчас после сей ужасной экзекуции, не могла быть чистосердечна; умы и сердца были поражены жестокостью наказания и не могли вознестись к престолу вечного с обещанием умереть за…»

Здесь в рукописи воспоминаний Горбачевского было слово, неразобранное переписчиком. В другой копии читалось ясно: «… не могли… умереть за тирана». Тем более, что уже поползли слухи, сопровождающие каждую перемену царствования.

«Государь Павел Петрович жив, и великий князь Константин

Павлович пошел с солдатами вынимать его из каменной тюрьмы». Так рассказывал своей родне подвыпивший рядовой инвалидной команды Иван Гусев. Дело было в декабре 1825-го. После доноса взяли его и узнали, что новость получена от рядового Мельникова по дороге между Козловом и Тамбовом.

«Ваше Превосходительство Милостивый Государь!

Ваше Превосходительство изволите усмотреть из рапорта вятского пехотного полка капитана Майбороды, который я имею честь препроводить сего числа при донесении за № 17, важные обстоятельства в оном заключающиеся. Я считаю нужным сверх того довести до сведения вашего, что офицер сей показался мне в полном рассудке и что на запрос, сделанный мною, зачем он не обратился по своему начальству для доставления Его Императорскому Величеству донесения своего, он отозвался, что нашел удобнее для сохранения тайны обратиться ко мне…

Из слов его можно было заключить, что полковник Пестель имеет около себя довольно значительное число сообщников, которые имеют за капитаном Майбородою весьма бдительное наблюдение, так что может быть, и поездка, им предпринятая теперь, не останется от них скрыта.

С совершенным почтением и проч… подписал: генерал-лейтенант Логгин Рот Житомир, 26 ноября 1825 года».

Вятского пехотного полка капитан Аркадий Майборода доставил донос не своему непосредственному начальству, а командиру соседнего корпуса, потому что Житомир был ближе, поездка туда выглядела естественнее; к тому же известный аракчеевец генерал Рот, эльзасец на русской службе, внушал капитану больше доверия, чем многие другие генералы.

Рапорт Майбороды начинался так:

«Ваше Императорское Величество, Всемилостивейший Государь!

Слишком уже год, как заметил я в полковом моем командире полковнике Пестеле наклонность к нарушению всеобщего спокойствия».

После 25 ноября было мудрено понять, кто именно — всемилостивейший государь: на почтовых станциях, случалось, в одно время фельдъегеря съезжались с подорожными — одна еще от имени императора Александра, другая — от Константина, третья — от Николая…

Майборода представил список из 45 имен.

Номером 10 шел «Матвей Муравьев-Апостол, отставной. Слышал о нем от Лорера».

Номер 25 — «подполковник Сергей Муравьев-Апостол… Слышал от Лорера и Пестеля».

Номер 45 — «прапорщик Бестужев-Рюмин. Слышал от Пестеля».

Специальный следователь генерал-адъютант Чернышев, присланный во 2-ю армию, рапортует:

«Но как лица, оговариваемые Майбородою в дерзновенном сообщничестве, находятся в разных местах государства и под разными управлениями, мы признали за лучшее, до воспоследования высочайшего повеления, ограничиться тем, чтобы:

Взять от полковника Пестеля подробные объяснения.

Капитана Майбороду оставить под арестом, единственно для отклонения подозрений со стороны участвующих в обществе.

За всеми лицами, оговариваемыми Майбородою и принадлежащими к 2-й армии, особенно же за майором Лорером, полковником Леманом и капитаном Фохтом, учредить секретный, но бдительнейший надзор…»

Под ударом Пестель, декабристы 2-й армии, находящиеся в Тульчине и окрестных городках, местечках. Васильков же, где располагаются части 1-й армии, пока в тени; за Муравьевым-Апостолом и Бестужевым-Рюминым даже не велят учредить надзор, Майборода только слышал, но не видел…

Меж тем член Тайного общества легкомысленный прапорщик Федор Вадковский 3 ноября вручает унтер-офицеру Шервуду письмо для передачи Пестелю:

«Дорогой и уважаемый друг!

Сергей, брат Матвея, которого я осведомил о мерах недоверия, принятых по отношению ко мне правительством, должен был сообщить вам, что за мной ходили по пятам, непрерывно следили за моим поведением, записывали имена лиц, меня посещавших, и тех, у кого я бывал, а мои начальники имели предписание следить, не пытаюсь ли я влиять на молодежь, — и обо всем доносили раз в месяц… В нескольких случаях и при приеме членов я действовал инстинктивно и совершенно незаконно. Шервуда, например, я принял в степень боярина, не имея на это никакого права; простите меня, глубокоуважаемый друг, за эти отклонения. Вообразите себе человека, полного огня и усердия, как я, который в течение полугода находится в невозможности оказать малейшую услугу нашей семье и не имеющего даже соседа, способного его понять, с которым он мог бы рискнуть поделиться своими чувствами».

Кроме «Сергея, брата Матвея», в письме упомянуто еще несколько членов Общества и рассуждается о близком

перевороте.

«Боярин» Шервуд быстро доставляет текст в Таганрог, и начальник Главного штаба Дибич срочно отправляет донесение в столицу.

Вся диспозиция событий основана на максимальных скоростях, с которыми двигались люди того века: всадник, тройки — не более 20 километров в час. Нет никаких более быстрых средств связи (кроме светового телеграфа, употреблявшегося в редких случаях). Донос Шервуда отправлен из Таганрога 10 декабря, в столицу приходит 17-го… Скачут и скачут на предельных скоростях — 20 километров в час — фельдъегеря, генералы, офицеры, чиновники.

Один из главных заговорщиков, полковник Трубецкой, забегает 12 декабря в дом Муравьевых-Апостолов, чтобы узнать у них новости насчет междуцарствия. В этом доме, кажется, не сильно волнуются: «У сенатора Муравьева-Апостола нашел посторонних человека три-четыре, из коих г-н Плещеев читал французскую комедию; к концу чтения приехал полковник Бибиков с женою».

Только по окончании чтения заговорили о последних событиях. Пожилой сенатор и его зять Бибиков слышали, что прибыл наконец курьер с окончательным и бесповоротным отречением Константина. Все суета сует. Для философического настроения и спокойствия, необходимых каждому порядочному человеку, нет лучшего занятия, как в самые беспокойные дни сочинять греческую элегию или наслаждаться французской комедией.

Конечно, нам было бы очень важно и интересно понять Ивана Матвеевича в эти дни, угадать его безразличие или скрытое волнение по поводу горячих сыновей, возможной перемены власти, мятежных замыслов… Однако Иван Матвеевич мало говорит — больше слушает. Трубецкой же зашел к сенатору, кажется, не только с вопросами, но и с рассказами.

По мнению заговорщиков, «все предвещало скорую развязку разыгрываемой драмы». И декабря на многолюдном совещании у Рылеева было решено, в случае отречения Константина, не присягать Николаю, поднять гвардейские полки и привести их на Сенатскую площадь.

В случае успеха «Сенат должен был назначить временными правителями членов Государственного совета: Сперанского, Мордвинова и сенатора И. М. Муравьева-Апостола. При временном правительстве должен был находиться один избранный член тайного общества и безослабно следить за всеми действиями правительства» — так записал позже Иван Якушкин

со слов участников событий.

Вечером 13-го они — в последний раз на квартире Рылеева. В это самое время Государственный совет в Большом покое Зимнего дворца снова присягает, теперь императору Николаю. В числе присягающих — сенаторы Мордвинов, Сперанский, которые, несомненно, имели какие-то тайные сведения. Сенат и Синод соберутся для присяги на следующее утро, о чем извещен и сенатор Иван Муравьев-Апостол.

«Одержите сначала верх, тогда все будут на вашей стороне», — сказал будто бы Сперанский декабристу Корниловичу.

В тот же день, 13 декабря, на юге арестован Пестель.

«Генерал-адъютантов Чернышева и Киселева

Рапорт

Прибыв (в местечко Липцы) мы тот час окружили дом полковника Пестеля секретным надзором так, что из оного никто не мог ничего вынести, и коль скоро явился капитан Майборода, по отобрании от него словесных изъяснений, приступили к строжайшему осмотру для отыскания бумаг, касающихся до цели и плана тайного общества. Первое место, указанное Майбородой, был большой шкаф. По раскрытии оного найдены (кроме многих бумаг) те два зеленые портфеля, в которых Пестель по словам Майбороды всегда хранил тайные свои бумаги. Но сии портфели были пустые и покрытые густою пылью, при внимательном обозрении коей мы удостоверились, что оные в таком положении оставались не малое время без всякого употребления. Пересматривая с тем же вниманием все бумаги, в том шкафе находившиеся, мы не нашли в них ничего, до изыскиваемого предмета относящегося… Потом, следуя указаниям Майбороды, произведен был столь же строгий осмотр не только во всех других шкафах, столиках и прочей мебели, и вообще в комнатах и на чердаке дома, занимаемого Пестелем, но и в полковом цейхаузе, где хранятся вьюки и другие вещи его, в бане, в погребах и прочих надворных строениях; но нигде ничего подозрительного не оказалось… При сем неудачном следствии обыска обманутый в надежде своей капитан Майборода приписывал оное тому, что полковник Пестель содержал себя в большой осторожности…»

Петербург, 14 декабря. Николай I посылает флигель-адъютанта полковника Бибикова к Морскому Гвардейскому экипажу, но моряки уже шли «бунтовать».

«На площади народ волновался и был в каком-то ожесточении. Завидя флигель-адъютанта полковника И. М. Бибикова, проходившего в одном мундире через площадь,

народ бросился на него и смял его. Вероятно, флигель-адъютант поплатился бы жизнью за свой мундир, если бы Михаил Кюхельбекер не подоспел к нему на помощь», — это один из эпизодов 14 декабря глазами Пущина и Оболенского.

Полковника и флигель-адъютанта ждет, конечно, хорошая карьера, но пока что его доставляют домой (рядом, у Исаакия) в неважном виде, к немалому огорчению жены, Екатерины Ивановны, урожденной Муравьевой-Апостол, и тестя Ивана Матвеевича. Семья, конечно, радуется, что, слава богу, в Петербурге нет Сергея и Матвея, которые неминуемо замешались бы в дело, где столько их друзей. К счастью, нет в городе и юного, горячего квартир-мейстерского прапорщика Ипполита. Начальство только что отправило его в командировку на Украину во 2-ю армию, и, конечно, он сам добивался этого назначения: ведь дорога пройдет через Васильков; и он совсем был бы похож на того молодого офицерика (из неоконченного пушкинского рассказа), который радуется, что не нужно больше зубрить немецкий и впереди — гарнизонная свобода. Совсем был бы похож, если б не два обстоятельства. Во-первых, дорога не майская, как у Пушкина, а декабрьская. Во-вторых, Ипполиту вручено письмо одного важного человека к другому — полковника Трубецкого к генерал-майору Орлову: вождь северян приглашает скорее прибыть в столицу видного деятеля тайных обществ, чтобы тот возглавил заговорщиков…

Ипполит в дороге; на Сенатской площади — приятели Сергея и Матвея, из близких же родственников — кузен Александр Михайлович Муравьев, родной брат Никиты, 23-летний корнет кавалергардского полка. Стоит он не в мятежном каре, а среди правительственных войск, но все равно вскоре попадет в крепость.

Другие же родственники к 14 декабря оказались кто где. Никита Муравьев — в орловской деревне, полковник Артамон — на Юге, Лунин — в Варшаве.

В тот же вечер и назавтра по всем дорогам помчатся из Петербурга быстрейшие тройки, и пройдет несколько дней, прежде чем известие достигнет Москвы, больше недели — Киева, десять дней — войск 3-го корпуса генерала Рота.

Еще по пути в Москву Ипполит слышит (наверное, от проезжающего курьера), что в Петербурге бунт, идут аресты. Письмо Трубецкого предусмотрительно уничтожается. Преодолевая сопротивление станционных смотрителей и небывалые задержки в пути из-за тьмы летящих фельдъегерей, Ипполит Муравьев торопится если не к рождеству, то к Новому году в Васильков. Там оба старших брата, и один из них —

лучший из братьев, второй или первый отец…

18 декабря. С 6 с половиной пополудни до полуночи — второе заседание тайного комитета (в Зимнем дворце). Присутствуют: военный министр Татищев, генерал-фельдцейхмейстер великий князь Михаил, князь Александр Голицын, генерал-адъютант Голенищев-Кутузов, генерал-адъютант Бенкендорф, генерал-адъютант Левашов.

1. Слушали высочайшие резолюции на поданную 17 декабря записку о взятии поименованных лиц:

Вадковский — «уже взят»; Булгари — «снестись с губернатором»; Орлов — «взят под арест, оставя покуда в Москве»; Александр и Николай Раевские — «снестись с губернатором и взять под арест»; Муравьев (Никита) — «послано»; Пестель, Крюков, Шишков, Лихарев, Пузин, Юшневский — «снестись с графом Витгенштейном, буде еще не взяты, то чтобы сейчас сие исполнить»; Скарятин — «взять, где найдется»; Майборода — «уже ожидается».

2. По рапорту начальника штаба (и донесению Шервуда): Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы, полковник Граббе — «взять и прислать».

Приказ запечатан, вручен офицеру — и фельдъегерская тройка мчится на юг. До Киева 1232 с половиной версты, и еще 36 с половиной до Василькова. Где-то на полдороге жандармы обгоняют медленные перекладные Ипполита Муравьева-Апостола.

Бестужев-Рюмин получает известие о кончине матери в Москве. Друзья находят, что ему нужно во что бы то ни стало ехать — и для утешения больного отца, и для того, чтобы связаться с москвичами, петербуржцами, понять, что там происходит. Уже педеля прошла после 14 декабря и — неизвестность. Сергей Иванович, зная, что отпусков вчерашним семеновцам не дают, собирается в Житомир «просить корпусного командира о исходатайствовании сего позволения Бестужеву, и вместе предложил ехать Матвею и воспользоваться сим случаем, дабы посетить на праздники родственников — Александра и Артамона Муравьевых, по данному им еще в Лещине обещанию».

Рождество по всему краю… Мороз. Днепр — точно знаем — встал в ту зиму 22 декабря и вскрылся 5 апреля. «Толпы парубков и девушек показались с мешками. Песни зазвенели, а под редкою хатою не теснились колядующие… Как хорошо потолкаться в такую ночь между кучею хохочущих и поющих девушек и между парубками, готовыми на все шутки и выдумки, какие может только внушить весело смеющаяся ночь».

Именно так, по Гоголю, конечно, забавлялись под рождество 1826-го у Тульчина, Киева, Житомира, в Хомутце, Обуховке,

Кибинцах…

А в Василькове задумались опечаленные офицеры. Сергей Муравьев уже знает, что арестован Пестель. Бестужев-Рюмин, недавно лишенный родительского благословения, теперь оплакивает мать, жалеет отца. И полная неизвестность — что в Петербурге? Во 2-й армии? У Соединенных славян? Пестеля везут в столицу — сигнала к выступлению от него не приходит…

Просвещенный владелец имения Панская Мотовиловка, что в 14 верстах от Василькова, Иосиф-Казимир-Игнатий Руликовский приглашает к себе на польский сочельник капитана Черниговского полка Самойло Ивановича Вульферта: его рота стоит по деревням, а полковник Гебель разрешил не сходиться в Васильков на день рождества, 25 декабря, из-за тумана, скверной погоды, плохих и скользких дорог. Слуга помещика привозит из Киева слухи, будто царь уже не Константин. Вдруг приносят приказ Гебеля — Черниговскому полку все же явиться на рождество в Васильков. Что такое? Отправляется посыльный к батальонному командиру Муравьеву-Апостолу.

После святочного ужина сидят до поздней ночи, ожидая ответа от Муравьева, который был составлен в очень кратких выражениях: «Константин Павлович отрекся от трона, а Николай Павлович вступил на престол».

Новая присяга.

— Сколько будет присяг? — говорят одни.

— Бог знает, — отвечают другие, — это ни на что не похоже; сегодня присягают одному, завтра — другому, а там, может быть, и третьему…

Рано поутру ротные командиры — Соловьев и Щепилло — приходят к полковому командиру с рапортом. Подполковник Гебель спрашивает, между разговорами, знают ли они причину вызова в штаб? Соловьев отвечает, что он слышал, будто бы присягать новому государю. Гебель подтверждает, прибавляя, что боится, «как бы при сем случае не было переворота в России». Соловьев отвечает с улыбкой, что всякий переворот всегда бывает к лучшему. «Ох, боюсь», — закрывает руками лицо Гебель, Соловьев начинает шутить, Гебель — плакать, Щепилло, человек вспыльчивый и нетерпеливый, ненавидел Гебеля и теперь дрожал от злости, сердился и едва сдерживался.

«Соловьев рассказывает, что из этого вышла пресмешная и оригинальная сцена».

Так запечатлелся этот эпизод в «Летописи» Горбачевского. Однако подполковник Муравьев-Апостол 25-го не присягает. С ночи выехал вместе с братом Матвеем, чтобы одолеть две сотни верст до штаба корпуса в Житомире. На васильковской квартире

его ночует Бестужев-Рюмин и бывший полковник, рядовой Башмаков.

Жандармы с приказом об аресте между тем уже подъезжают к Киеву.

25 декабря на последней станции перед Житомиром Сергей и Матвей встречают сенатского курьера, для которого дети сенатора Муравьева-Апостола — важные люди.

Курьер подошел к Матвею и сообщил, что его отец здоров. На расспросы Матвея он рассказал о событиях 14 декабря и о том, что дом, в котором жил Иван Матвеевич, обстреляли картечью.

Так 11 дней спустя они узнали о восстании на Сенатской площади.

«Сведав в Житомире о происшествии 14-го декабря в Петербурге, хотя и не со всеми подробностями, по заключая из слышанного мною, что дела Общества плохи, я решился вовлечь поляков в такой поступок, после коего им оставалось бы только возмутиться. Будучи у гр. Мошинского, я ему говорил, что хотя Общество Польское и обещало в случае возмущения в России не выпускать великого князя из Варшавы, но Обществу нашему вернее, кажется, лишить его жизни, и что я имею на сей счет бумагу, которую прошу его сообщить в Директорию их Общества. На cue мое предложение гр. Мошинский, не дав мне никакого ответа, сказал только, что он никак не смеет принять писанного мнения, ибо это против законов их Общества, и тем разговор наш кончился».

Спокойный, деловой тон показания, сделанного почти через 5 месяцев Сергеем Муравьевым, едва передает то, о чем мы можем догадываться: 25 декабря — горечь, отчаяние и хуже всего — неизвестность, что делается и что делать. Нужен еще один сигнальный выстрел; может быть, он раздастся в Варшаве? И Сергей Муравьев, не соглашавшийся прежде на убийство членов царской фамилии, пишет, что «это единственный случай, в который я отступил от правила, мною руководствовавшегося, во время нахождения в Обществе». Просил убить Константина…

А губернский город Житомир охвачен рождественским весельем, корпусный командир генерал Рот приглашает подполковника на обед. Матвей отставной, во фраке, его не зовут, он остается на квартире — ждать и думать.

Матвей Муравьев вспомнит, что, приехав в Житомир, его брат поспешил к корпусному командиру, который подтвердил слышанное от курьера. «Об отпуске Бестужеву нечего уже было хлопотать. Рот пригласил брата отобедать у него. Во время стола не было другого разговора, кроме как о петербургском событии; поминали о смерти графа Михаила Андреевича Милорадовича».

Генерал Рот и подполковник Муравьев пьют, произносят рождественские поздравления. Позже, на каторге, офицеры-черниговцы вспоминали, что «Муравьев шутил вместе с Ротом насчет петербургских событий». Можно представить, что это были за шутки и как держался Муравьев-Апостол! Сохранилось также воспоминание одного из обедавших, что подполковник нечаянно пролил на белую скатерть красное вино…

Рот в общем благоволит к Сергею Муравьеву-Апостолу, дважды представлял его в полковые командиры, однако бывших семеновцев не разрешают продвигать по службе.

Муравьев же знает, каков его корпусный командир, и понимает, что при любом исходе заговора одному из них не жить.

Адъютант Рота напишет: «Генерал-лейтенант Логгин Осипович Рот, француз-эмигрант, начавший службу в корпусе принца Конде, а потом перешедший к нам, вовсе не был образован и никогда ничего не читал, хотя и говорил, что где-то у него остались книги; но кроме соблазнительной вольтеровской Иоанны д'Арк с картинками, других книг у него не было. Он, однако же, имел много природного ума, гибкости в характере и сметливости; в общество был любезен, особенно с дамами, и большой комплиментист, но в то же время был до крайности самолюбив, эгоист, вспыльчив, дерзок, жесток и хвастун по природе. Я был очевидцем, как он закричал на генерал-майора Курносова, имевшего длинные волосы, что прикажет остричь его на барабане, а генерал-лейтенанту Сулиме угрожал посадить его на пушку. И все это сходило ему с рук».

Незадолго до того офицер Молчанов просился в отставку. Уговаривая его остаться на службе, Рот поставил в пример себя. Молчанов же отвечал, что «никогда не решится получить все раны, которые украшают генерала Рота». Рот при многих назвал Молчанова трусом, Молчанов хотел стреляться, и Сергей Муравьев-Апостол соглашался быть секундантом.

Осенью в Лещинском лагере Сергей Иванович разрабатывал план ареста Рота и завоевания целого корпуса…

Может быть, в те же часы, когда обедают у Рота, Иван Матвеевич в Петербурге сидит за рождественским столом с семьей, в центре которой выздоравливающий Илларион Бибиков. Его, как начальника канцелярии Главного штаба, дожидаются разнообразные бумаги об арестованных и подозреваемых.

Ипполит празднует рождество в одиночестве на какой-то почтовой станции.

Курьер, везущий генералу Роту приказ об аресте братьев Муравьевых, прибудет завтра. Чтобы ускорить захват противника, жандармы едут прямо в полки, иногда задним числом извещая

дивизионных и корпусных командиров… Некогда!

Сергей Муравьев обедает с корпусным командиром. Прощается. Вечером 25-го братья садятся в коляску и несутся в Васильков кружным путем, чтобы увидеться с другими заговорщиками, связаться с нетерпеливыми Соединенными славянами, узнать о положении дел или дать сигнал к мятежу — как договаривались на тот случай, если кого-нибудь откроют.

И в эти самые дни и часы гул петербургской канонады достигает наконец Приднепровья. По всем городкам и местечкам, где стоят роты, батальоны, полки, дивизии южных корпусов, разливается слух о 14 декабря.

25-го вечером и ночью братья скачут из Житомира в местечко Троянов.

В Василькове вечером, по случаю полкового праздника, на бал к Гебелю приглашены все офицеры, некоторые городские жители, знакомые помещики с семействами. Собрание довольно многочисленное. Хозяин всеми силами веселит гостей, одолевая таким способом мрачные предчувствия. Гости танцуют, как говорили в тех местах (а позже стали говорить повсеместно), до упаду. Музыка не умолкала ни на минуту. Даже пожилые люди участвовали в забавах, опасаясь казаться невеселыми. Вдруг растворилась дверь, и в зал вошли два жандармских офицера: поручик Несмеянов и прапорщик Скоков.

«Мгновенно, — вспоминает очевидец, — удовольствия были прерваны, все собрание обратило на них взоры, веселье превратилось в неизъяснимую мрачность; все глядели друг на друга безмолвно, жандармы навели на всех трепет. Один из них подошел к Гебелю, спросил его, он ли командир Черниговского полка, и, получа от него утвердительный ответ, сказал ему: „Я к вам имею важные бумаги“».

Приказ об аресте Муравьевых.

Жандармы вместе с Гебелем входят в дом, где спят двое, которым не до рождественского бала: молодой, стремительный подпоручик и в два с лишним раза старший «рядовой-полковник». Они видят жандармов, думают, что пришли за ними; но приказ об аресте Бестужева-Рюмина опаздывает — власти охотятся за более высокими чинами, не подозревая, что по рангу тайных обществ перед ними 22-летний генерал…

Бумаги Муравьевых опечатаны. Матвей Иванович, когда узнает, будет особенно огорчен захватом писем мадемуазель Гюене… Впрочем, где она? Где Кибинцы, Хомутец?

Жандармы и Гебель скачут по следу в Житомир. Кузьмин, Сухинов готовы действовать: схватить Гебеля или, может быть, пробираться в Петербург и там напасть на нового императора.

Барон Соловьев считал, что нужно найти Муравьевых «и что они заблагорассудят, то мы и будем делать». Щепилло же предлагает отнять у Гебеля бумаги Муравьевых, пока они запечатываются, Бестужев-Рюмин сгоряча согласился, потом раздумал и тут же, ночью, без памяти поскакал в местечко Любар, где, он знал, должны появиться братья Муравьевы.

Бестужеву-Рюмину к дороге не привыкать, берет лучших лошадей, обгоняет жандармов на первой же станции и летит — спасать лучшего друга.

Командир Александрийского гусарского полка Александр Захарович Муравьев[8] не был членом Тайного общества, по он — двоюродный брат Апостолов и родной брат Артамона Муравьева… Его после арестуют, допросят и выпустят. Рассказ Александра Захаровича прост и правдив: 26 декабря утром он присягнул Николаю I вместе с офицерами своего полка и пригласил их обедать. На квартире, к радости своей, нашел близких родственников Сергея и Матвея, особенно удивившись Матвею. Сергей объяснил, что, отобедав у корпусного командира, «счел за неприличие» не побывать у родственников. Среди офицеров начался разговор о 14 декабря, и кузен сказал Сергею, что зять его полковник Бибиков во время тех событий помят (о чем стало известно из письма, полученного женою одного офицера). «Сие известие весьма огорчило Муравьевых-Апостолов, и после того они были весьма молчаливы в продолжении всего стола…»

Александр Захарович знает или догадывается, из-за чего загрустили братья? Из-за 14 декабря, поражения северян? Но эту новость Сергей и Матвей услышали еще вчера, переживают ее почти сутки. Из-за Бибикова?

Мысль о крови, междоусобице всегда их беспокоила. Они решились, но потом постоянно мечтали о военной революции, быстрой и бескровной. И вот среди первых вестей — «помят Бибиков», муж любимой сестры Екатерины и, судя по нескольким сохранившимся письмам, добрый товарищ Сергея и Матвея. Побит Бибиков их друзьями, единомышленниками. После сын Бибиковых женится на дочери Никиты Муравьева, и в этой семье будет культ декабристов; но пока Бибиков — враг. Все смешалось, все идет не так, как желали; новости о целом восстании и огорчительная семейная подробность — все с одной печальной площади…

Разговор окончен. Братья скоро простились, уселись в свою бричку и отправились в местечко Любар.

Вскоре, никем не узнанный, промчался вслед Бестужев-Рюмин. Еще через несколько часов — Гебель с жандармами

повторил на рысях путь Сергея и Матвея: Васильков — Житомир — Троянов — Любар. Апокалиптические всадники — вестники смерти на загнанных конях.

В местечке Любар стоит Ахтырский гусарский полк, а над ним — полковник и член Тайного общества Артамон Муравьев, недавно вызывавшийся на цареубийство.

Третий день рождества, 27 декабря. Сергей и Матвей приезжают к Артамону Муравьеву. Разговор обыкновенный. Сергей не нажимает, ничего не предлагает, только спрашивает о готовности нижних чипов. Конечно, толкуют о 14 декабря, и Сергей «не одобрял сие дело». Почему? Оттого, что восстали без южных? Потом разговор перешел на предметы, совсем посторонние.

Прикажем этому мгновению продлиться.

Апостолы грустны, озабочены, подавлены — неизвестность пока многое решает за них. Как восстать, дать сигнал, если больше нет никакой надежды на Петербург, если молчат или не могут высказаться другие директора Тайного общества? Правда, предложение, сделанное в Житомире полякам, показывает, что Сергей Иванович держит палец на курке и только не знает, может ли сам скомандовать «пли» или — «не стрелять без приказа»?

Последние минуты неизвестности. Больше «посторонних предметов» не будет. Обстоятельства сами вторгаются, освобождают от выбора — дела более трудного, чем тяжелейшее исполнение…

В комнату входит Бестужев-Рюмин.

«Тебя приказано арестовать, — сказал он, задыхаясь, Сергею Муравьеву, — все твои бумаги взяты Гебелем, который мчится с жандармами по твоему следу.

Эти слова были громовым ударом для обоих братьев и Артамона Муравьева».

Не просто понять, как восстановил удивительный летописец событий, Иван Горбачевский, последовавшую затем сцену: ведь из четырех ее участников двое вскоре погибнут, одного надолго изолируют от друзей, и только Артамона можно было в Сибири расспросить, но факты таковы, что Артамон вряд ли захотел бы вспоминать, углубляться… И тем не менее, оставляя на совести автора некоторые подробности, историки уверены в большой правдивости рассказа.

«— Все кончено! — вскричал Матвей Муравьев. — Мы погибли, нас ожидает страшная участь; не лучше ли нам умереть? Прикажите подать ужин и шампанское, — продолжал он, оборотясь к Артамону Муравьеву, — выпьем и застрелимся весело.

— Не будет ли это слишком рано? — сказал с некоторым огорчением Сергей Муравьев.

— Мы умрем в самую пору, — возразил Матвей, — подумай, брат, что мы четверо главные члены и что своею смертью можем скрыть от поисков правительства менее известных.

— Это отчасти правда, — отвечал С. Муравьев, — но однако ж еще не мы одни главные члены Общества. Я решился на другое. Артамон Захарович может переменить вид дела».

План был ясен! Артамон поднимает полк, движется в Троянов к брату Александру Захаровичу, который тут уж не устоит. Затем два гусарских полка занимают Житомир, арестовывают генерала Рота и овладевают корпусом; до артиллерийской бригады, где служат друзья из Соединенных славян, всего 20 верст, и Сергей Муравьев пишет им приказ о начале восстания и движения на Житомир…

Но полковник Артамон Муравьев не соглашается поднять полк, не соглашается связаться с артиллеристами, отказывается дать Сергею и Матвею свежих лошадей.

Артамон: «Я сейчас еду в С. Петербург к государю, расскажу ему все подробно об Обществе, представлю, с какой целью оно было составлено, что намеревалось сделать и чего желало. Я уверен, что государь, узнав наши добрые и патриотические намерения, оставит нас всех при своих местах, и верно найдутся люди, окружающие его, которые примут нашу сторону».

Сергей Муравьев: «Я жестоко обманулся в тебе, поступки твои относительно нашего Общества заслуживают всевозможные упреки. Когда я хотел принять в Общество твоего брата, он, как прямодушный человек, объявил мне откровенно, что образ его мыслей противен всякого рода революциям и что он не хочет принадлежать ни к какому Обществу; ты же, напротив, принял предложение с необыкновенным жаром, осыпал нас обещаниями, клялся сделать то, чего мы даже и не требовали; а теперь в критическую минуту ты, когда дело идет о жизни и смерти всех нас, ты отказываешься и даже не хочешь уведомить наших членов об угрожающей мне и всем опасности. После сего я прекращаю с тобой знакомство, дружбу, и с сей минуты все мои сношения с тобой прерваны».

Горбачевский (много лет спустя): «Не позволяя себе обвинять поведение кого-либо из членов в сии критические минуты, можно, однако, заметить, что если бы Артамон Муравьев имел более смелости и решительности в характере и принял немедленно предложение Сергея Муравьева поднять знамя бунта, то местечко Любар сделалось бы важным сборным пунктом восставших войск. Стоит только взглянуть на карту, чтобы

убедиться, что Любар был почти в самой средине сих войск, когда, при восстании, они сошлись бы в самое короткое время, как радиусы к своему центру».

В этот самый день из Петербурга на юг помчится приказ об аресте Ипполита…

Нечто, имеющее прямое отношение к спору братьев в Любаре, происходит в великой древнеиндийской поэме «Махабхарата». Между одним и другим — тысячи лет и тысячи верст, громадная культурная и историческая пропасть. Тем интереснее…

Накануне великой битвы знаменитый богатырь Арджуна засомневался в ее целесообразности, хотя много лет дело шло именно к этому междоусобному столкновению. Целых 18 глав Арджуна делится своими сомнениями с богом Кришной.

Герой ждет, что бог, так высоко ценящий мудрость и добро, согласится с ним и поможет отвратить кровопролитие. Однако Кришна опровергает Арджуну.

Кришна: Итак, на дело направь усилие, о плодах не заботясь…

Арджуна: Если ты ставишь мудрость выше действия, то почему к ужасному делу меня побуждаешь?

Кришна: Неначинающий дел человек бездействия не достигает. И не таким отречением он совершенства достигнет… Свой долг, хотя бы несовершенный, лучше хорошо исполненного, по чужого. Лучше смерть в своей дхарме, чужая дхарма опасна…

Дхарма — здесь *путь, судьба.*

Теперь Украина. Конец 1825 года.

Восстание безнадежно; Петербург уже проиграл, и поддержки северян не будет: два-три лишних полка — только больше крови прольется… А впрочем, кто знает логику мятежа? Смотря какая погода: из снежного шарика — либо капля воды, либо — громадный, непрерывно растущий ком… Артамон Муравьев, пожалуй, спасает множество жизней. Свою в том числе (умрет на поселении в 1845 году).

Бог Кришна не мог приехать в Любар на рождество 1826 года ввиду скользких и неудобных дорог, но послал Сергею Муравьеву в виде напоминания любимую итальянскую поговорку: «fatta frittata» — «каша заварена». Люди втянуты, теперь нет права на сомнение и обратный ход. Вряд ли даже самому последовательному, убежденному, искреннему противнику бунта, восстания Артамон в этой сцене более приятен, нежели Сергей. Оба давно *на пути,* они имели возможность сойти вначале (как брат Артамона, полковник Александр Захарович), но не сделали

этого и далеко зашли. Другое дело, если бы этот спор был раньше или потом, после битвы; по тогда в нем могли быть представлены не две, а куда больше позиций — восстать, не восстать, еще готовиться, уйти в себя и заняться самоусовершенствованием, филантропией, просвещением…

Горбачевский все это пережил и рассуждает, «не позволяя себе обвинять поведение кого-либо…».

Главный упрек Артамону — что он сам себя извинил, простил. Не взял плату, тяжесть на себя, но раскаялся ценою более дорогой, чем его жизнь. Заметим, кстати, что, когда Матвей предлагает выпить шампанского и застрелиться, Артамон молчит.

«Свой долг, хотя бы несовершенный, лучше хорошо исполненного, но чужого…»

Матвей Муравьев позже подтвердит: «Когда Бестужев приехал в Любар нам объявить, что велено нас арестовать и отправить в Петербург, я предложил брату в присутствии Артамона Муравьева застрелиться нам обоим — я сделал вновь сие предложение брату и Бестужеву, когда мы ехали в Бердичев, где мы переменили лошадей — брат было согласился на мое предложение, но Бестужев восстал против оного, и брат взял с меня честное слово, что я не посягну на свою жизнь».

Второй раз с Матвея взята клятва — не умирать. Бросив сломанную коляску, окольными путями, на телеге-форшпанке, нанятой у любарских евреев, на тех же измученных лошадях, которые везли от Житомира, они пробираются обратно в Васильков, три могучих зажигателя, окруженных легко воспламеняющимися, но с каждой минутой сыреющими зарядами. Десятки тысяч солдат, полки Черниговский, Полтавский, Ахтырский, Александрийский, Пензенский, Саратовский, Тамбовский, Алексапольский, 8-я артиллерийская бригада и еще, еще…

Два более молодых уговаривают старшего — жить. И через год в такие же рождественские дни Матвей Муравьев в каземате одной из финских крепостей будет дожидаться отправки в Восточную Сибирь; и мокрый снег уж покроет тот строго засекреченный кусок земли, под которым лежат Сергей Муравьев-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин и еще трое.

Сергей, конечно, не хочет жить, когда в ночь на 28 декабря трясется по старому тракту между Бердичевым и Васильковым. Но перед товарищами ему неудобно умирать.

Гебель с жандармами несется по пятам. Приказ об аресте разослан. По соседнему шляху скачет, ищет, недоумевает обеспокоенный посланец Соединенных славян.

Пестеля везут в Петербург.

Ипполит Муравьев приближается к Киеву.

Матвей: «Брат Сергей полагал, что не так скоро могут найти наши следы — деревня Трилесы в стороне, на старой Киевской дороге. Мы легли спать».

Раз остались живы, обязаны действовать. Братья валятся с ног после бессонных ночей, но Мишель Бестужев-Рюмин торопится в путь как ни в чем не бывало. Почти вся его фантастическая молодость прошла на украинских трактах — верхом, на дрожках, перекладных, почтовых, форшпанках… Он решается скакать к Славянам: раньше, в Любаре, до них было всего 20 верст, но Артамон не пускал, и не было у них духа; теперь очнулись — но до артиллеристов уже не 20, а 200. Бестужев летит в дорогу, но вскоре узнает, что и его самого ищут: после старших офицеров начальство наконец добралось и до подпоручика. Проезда к Соединенным славянам нет. Переодевшись, Бестужев-Рюмин пробирается обратно в Васильков…

«Анастасий Дмитриевич! Я приехал в Трилесы и остановился на Вашей квартире. Приезжайте и скажите барону Соловьеву, Щепилле и Сухинову, чтобы они тоже приехали как можно скорее в Трилесы.

Ваш Сергей Муравьев».

Записка командиру роты Кузьмину около полуночи с 28-го на 29-е доставлена солдатом, проскакавшим 45 верст.

Офицеры долго будут помнить радость, принесенную этой запиской. Конец пятидневной — как пять веков — неизвестности: Муравьев зовет! Как нужен людям призыв сверху, и если бы сам Муравьев мог получить хоть несколько таких строк, подписанных! Пестель… Юшневский… Волконский!

Ночью, сквозь начинавшуюся метель, двумя дорогами, чтобы нечаянно не разминуться с Сергеем Муравьевым, скачут из Василькова черниговские офицеры, а с другой стороны, в полночь, подъезжают к спящему рождественскому селу полковник Гебель и жандармский подпоручик Ланг: они бы и раньше подоспели, но помедлили, идя по следу и легко узнавая у военных и местных жителей, куда и когда свернула форшпанка с тремя офицерами. На каторге Горбачевский запишет, видимо, со слов Артамона Муравьева: «Командир Ахтырского полка под разными предлогами задержал Гебеля несколько часов и через то дал возможность С. Муравьеву и его товарищам доехать до деревни Трилесы (одна услуга, оказанная им Тайному обществу и Сергею Муравьеву)». Кажется, так оно и было.

Сергей: «Кузьмин, Щепилло, Соловьев, Сухинов… вошедши в

комнату, нашли меня арестованным и, когда Кузьмин подошел к брату, лежащему в другой комнате, с вопросом, что ему делать, он ему отвечал „ничего“; а я на тот же самый вопрос отвечал — „избавить нас“».

Вот формула начинающейся революции… До того, как явилась подмога, Гебель и жандарм Ланг вошли в дом, разбудили спящих братьев, предъявили «высочайшее повеление», арестовали, поставили по два часовых у окна.

Матвей: «Мы пригласили Гебеля напиться чаю, на что он охотно согласился. Пока мы сидели за чаем, наступил день».

Разговор, видимо, был мирным: Гебель обнадеживал, что в столице разберутся, мечтая, конечно, чтобы дело было некрупным, так как в конечном счете командир сам отвечает за любой беспорядок в полку. Братья же, верно, испытывали кроме унижения и горечи известное чувство странного облегчения — ведь опять судьба сама распорядилась, и от них более ничего не зависит. Муравьевы не знали, дошла ли их записка к Кузьмину — может быть, посыльный перехвачен?

Но тут появляются свои, а Кузьмин — хозяин квартиры и храбрейший человек (два года назад он не послал вызов Матвею Муравьеву за его справедливый упрек не по робости, а из смелости!).

Одна фраза решает все:

— Что делать?

— Ничего (Матвей).

И бунту не бывать, братьев увезут в Петербург, приговор будет тяжел, но не смертелен — и биография Сергея Муравьева, Бестужева-Рюмина да, вероятно, и Пестеля пополнится сибирскими главами.

— Что делать?

Сергей: Избавить нас.

Собственно говоря, развязывающее слово говорится уже в третий раз: в Житомире (разговор с Мошинским о покушении на Константина), в Любаре (записка Соединенным славянам); но те заряды сырели, не зажигались — и дело шло к тому, что взрыва не будет.

Тут была, без сомнения, последняя попытка.

— *Избавить нас.*

И офицеры вышли к солдатам, которые, конечно, готовы постоять за любимого командира батальона.

Затем Щепилло видит жандарма Ланга, думает, что тот подслушал их разговор и берет ружье, стоящее в углу сеней. Однако Соловьев, махнув рукой, отводит смертельный удар.

— Оставим его в живых, лучше мы его арестуем; для нас

достаточно этого.

Первое вооруженное действие — и первое воздержание. Ланг, рослый, испуганный мужчина, на коленях перед Сергеем Муравьевым, просит о пощаде по-французски.(знак принадлежности к «одной касте»). Его выводят, сажают в дом к священнику, он тут же бежит и первый извещает начальство дивизии о мятеже…

Гебель зовет жандармов и вместо этого получает от Щепиллы штыковой удар, только что не достигший Ланга. Матвей кричит: «Как вам не стыдно!»; Щепилло: «Вы не знаете этого подлеца; как он обрадовался, что велено Вашего брата арестовать!»

Гебеля тяжело ранят. Сергей Муравьев выбивает окно и хочет выскочить, следует парадоксальная сцена, смешная и печальная. Часовой Василий Доминин действует по уставу и собирается колоть бегущего арестанта. Ефрейтор Алексей Григорьев останавливает солдата пощечиной. Сергей Муравьев дает ефрейтору 25 рублей. Оба — солдат и ефрейтор — будут после в числе активнейших повстанцев.

Сергей Муравьев: «Происшествие сие решило все мои сомнения; видев ответственность, коей подвергли себя за меня четыре офицера, я положил, не отлагая времени, начать возмущение».

Судьба круто повернулась, но снова сама распорядилась: младшие офицеры уже начали, отступать бесчестно!

Пушкин, значительно менее связанный с заговором, ответит царю, что 14 декабря вышел бы на площадь — «там были мои друзья». В этой смелой фразе спрятано и некоторое самооправдание, существенное для императора: ну, если друзья — дело особое… Друзья, честь, дворянская корпоративность…

Много лет спустя историки будут рассуждать: Сергей Муравьев оправдывался, будто начал восстание случайно, побуждаемый младшими офицерами, в то время как (историки знали) он только и делал с 25-го по 29-е, что стремился зажечь где-либо огонь мятежа… Все так. Но дело в том, что Сергей Иванович не оправдывается, когда говорит об ответственности четырех офицеров: он объясняет, что толчком было не нарушение, а соблюдение чести. И стало быть, намерение его должно почитаться благородным делом, даже с точки зрения следователей.

Впрочем, следователей это совершенно не интересовало.

Матвей: «Брат собрал солдат… сказал им, что от них теперь

зависит, быть счастливыми или нет.

После сих слов роты построились, и мы пошли…»

Иосиф Руликовский, владелец имения Мотовиловка: «Я услышал, что кто-то стучит в парадные двери, и сильно перепуганная девушка-служанка со свечкой в руках выбежала из женской половины дома:

— Пан, какой-то москаль добивается в окна.

И в это мгновение увидел я в дверях капитана Вульферта, который громко сказал:

— Ну, теперь уже настоящая революция. Муравьев силой занял Васильков».

Со времени Пугачевского восстания впервые целый город, хоть и небольшой, отделился, не подчиняется императорской власти. Уездный город Васильков.

«В настоящее время Васильков, как город, ничем не замечателен, разве живописным видом своим издали, со стороны правого берега Стугны. Отсюда городок со своими домиками, разбросанными по горам, рекою, извивающеюся по равнине, и рамою отдаленных синеющихся лесов представляется довольно приятно. Но внутри по благоустройству Васильков ниже посредственного: не опрятен, с узкими извилистыми улицами, еще более стесненными деревянными лавочками. Вообще он имеет вид бедного местечка или селения и еще не заметно ни в людях, ни в строениях направления к улучшению и благоустройству, приличных уездному городу».

Солидный труд «Статистическое описание Киевской губернии, изданное тайным советником, сенатором Иваном Фундуклеем» (в 1852 году) сохранил некоторую старинную вольность слога и чувствительность, почти совсем исчезнувшие из сочинений такого рода.

Хотя цитированное описание относится к Василькову через 20 лет после «муравьевского бунта», по мы имеем полное право предполагать, что и в конце 1825 года там не было заметно «направления, приличного уездному городу», что площадей было три, немощеных, как и все улицы, плотина — одна, кладбищ — четыре, трактира — два, винных погребов — пять, фабрик и заводов не было.

Вольный город Васильков.

30 и 31 декабря

Пастух Ивайло во главе восставших занимает столицу;

разбит, гибнет.

Болгария 1277–1280 гг.

30 и 31 декабря 1825-го — веселые дни. Метель, мгла. Возле города Сергей Муравьев обнимает появившегося будто из-под земли Бестужева-Рюмина. Объявляет двум ротам: «Мы, братцы, идем доброе дело делать».

Ненавистный черниговским солдатам майор Трухин (заместивший Гебеля) на базарной площади пытается — как Наполеон во время ста дней — обезоружить наступающих одними словами. Но когда он подходит ближе, его хватают Бестужев-Рюмин и Сухинов, смеются над его витийством и заталкивают в середину колонны. Миролюбивый солдатский смех умолкает: с ненавистного майора срывают эполеты, разрывают в куски мундир, осыпают ругательствами, насмешками и, наконец, побоями. Трухину бы не уцелеть, если бы в это время не появился на площади Сергей Муравьев со своей колонной. Солдатам приказано майора не трогать и отвести на гауптвахту под арест.

Солдаты опять смеются, кричат «ура», братаются — кто же выстрелит в своих; и так, конечно, будет впредь!

Смеются освобожденные арестанты, барон Соловьев смеется, целует своих солдат, объясняя, что срок службы будет не 25, а пять или десять лет. Смеются разжалованные в рядовые Игнатий Ракуза и Дмитрий Грохольский, возвращая себе форменные офицерские сюртуки и палаши.

Общий смех: на заставе появились два жандарма, Несмеянов и Скоков, те самые, что присланы сюда за братьями Муравьевыми пять дней назад. У них документы на арест и 900 рублей денег. Но они не запаслись ордером на арест целого полка. И вот уж бумаги их сожжены, а деньги розданы солдатам, которые согреваются в шинках.

Отцы города перепуганы. Сергей Муравьев велит их успокоить, раздает квитанции за взятую провизию, и они тоже начинают испуганно улыбаться.

Иосиф Руликовский посылает в Васильков разведчика, и тот сообщает, что в городе полная тишина и спокойствие, что солдаты, напившись в шинках, разошлись на отдых по квартирам. Однако некий панок, сильно приставший с расспросами к подвыпившим солдатам: «Не то ли это войско, что изрубило полковника?» — услышал в ответ: «И тебя так изрубим»; его схватили за баки, сильно отлупили палками, с бранью посадили в возок и приказали: «Отправляйся, откуда приехал, да нас не забывай».

Стремительный вихрь великого, жалкого, смешного,

трагического — событий, лиц, ситуаций, неожиданных поступков.

Иван Сухинов позабыл о семи старых ранах (в руку, плечо, голову) — память о Лейпциге и других битвах прошедшей войны; начались счастливейшие дни его жизни.

Несколько месяцев назад в Лещинском лагере Сухи-нов кричал Бестужеву-Рюмину о его лучшем друге: «Если он когда-нибудь вздумает располагать мною и моими товарищами, удалять нас от тех, с которыми мы быть хотим в связи, и сближать с теми, которых мы не хотим знать, то клянусь всем для меня священным, что я тебя изрублю в мелкие куски; знай навсегда, что мы найдем дорогу в Москву и Петербург». Муравьев, кажется, тяготился напористым поручиком — но все это «дореволюционные эмоции».

Проходит всего несколько часов революции, по имя *Суханов* звучит в городке едва ли не более грозно, чем *Муравьев.* Это он командует авангардом, вошедшим в город, и срывает эполеты с майора Трухина. Это он высматривает, не хочет ли кто сбежать к неприятелю, и приходит на квартиру к перепуганному подпоручику Войниловичу, наблюдая, чтобы тот «не отстал от полка». И когда Муравьев-Апостол дает подпоручику ответственное поручение, добавляет, что, если тот скроется, «Сухинов догонит и лишит жизни». Сабля Сухинова все время обнажена. Это он забирает знамена и полковую казну на квартире Гебеля; когда же группа солдат отправляется в дом бывшего командира, к перепуганной его жене и детям, Сухинов угрожает наказать смертью тех, которые забыли военную дисциплину, оставили ряды без приказания офицера, осмелились нарушить спокойствие женщины, оскорбляют ее и даже замышляют убийство. Очевидцы вспоминают, что солдаты в эти минуты не были склонны к повиновению, и тогда Сухинов решил подтвердить слова делом и наказать немедленно первого виновного. «Раздраженные солдаты вздумали обороняться, отводя штыками сабельные удары, и показывали явно, что даже готовы покуситься на жизнь своего любимого офицера. Сухинов, не теряя духа, бросился на штыки, осыпал сабельными ударами угрожавших ему убийц и выгнал их из дому».

На гауптвахте утренний Наполеон, майор Трухин, теперь перепуган насмерть и не перестает просить помилования: «Сухинов, видя его подлость, начал ему говорить о развратном его поведении, укорял в низости перед начальством, в тиранстве с солдатами и потом советовал ему оставить военную службу, чтобы перестал он носить мундир, который марал своим поведением. Трухин во всем согласился с Сухиновым, признавал во всем себя виновным и клялся ему, что он оставит службу, в

которой недостоин служить; по вдруг упал на колени и начал жалобным тоном просить, повторяя:

— Батюшка, Иван Иванович, сделайте милость!

…Сухинов долго не мог понять, чего он просил, и наконец как-то нечаянно спросил: чего он хочет?

— Батюшка, Иван Иванович, сделайте милость, пришлите мне бутылку рому, — ответил Трухин.

При сих словах хохот раздался, как гром, во всей гауптвахте. Сухинов закричал:

— Унтер-офицер, пошли ко мне на квартиру за бутылкою рому для майора, и ежели он вперед захочет хоть целую бочку водки привезти к себе на гауптвахту, то позволить ему это, для утешения его».

Потом, через месяц, царь сделает майора полковником и отдаст ему Черниговский полк. Мог ли Трухин подумать, что так дурно начинающийся 1826 год завершится столь удачно?

Также получит чин и орден и полковой адъютант Павлов, хранитель полковой печати и архива, которого ищут сейчас по всему городу люди Муравьева. Много позже они узнали, что Павлов прятался в постели между перинами у жены городничего, где пробыл до самого выступления Муравьева из Василькова, и тогда только вышел из укрытия и поспешил уведомить киевское начальство о событиях в полку.

Генерал, командир 9-й дивизии, в которую входит Черниговский полк, ездит в большом огорчении вокруг Василькова, встречает нескольких солдат, велит уйти от греха, те советуются с одним из самых уважаемых фельдфебелей — Михеем Шутовым (он не знает еще, что 23 декабря подписан приказ о присвоении ему чипа подпоручика!).

— Что вам командующий! — отвечает Шутов «и изъявил к оному в дерзких выражениях явное презрение».

Потом будут размышлять, судить ли Шутова офицером или фельдфебелем. Решили, что «Михей Шутов, хотя по высочайшему его императорского величества приказу, в 23-й день декабря прошлого 1825 г. отданному, произведен в подпоручики, но таковой чин объявлен не был», и потому велено судить и приговорить «в числе главнейших соумышленников в прежнем его (солдатском) звании».

Приговор будет ужасен, но это в 1826-м, пока же еще не кончился 1825-й. 30 декабря — веселый день, и подпоручик-фельдфебель Шутов — один из главных…

А «солдат-полковник» Башмаков и капитан Фурман, на которых очень рассчитывает Сергей Муравьев, не появляются в Василькове, сидят за картами и вином в деревне, что в 25 верстах

от города, и целую неделю ждут событий, пока за ними не явится земский исправник. Но обоим все равно идти в Сибирь.

Вдруг появляется на заставе проезжающий штаб-ротмистр Ушаков, опаздывающий в свой гусарский полк и ни о чем не подозревающий. На другой день он доложит начальству, что у городских ворот Василькова был задержан мятежниками Черниговского полка и отведен к подполковнику Муравьеву-Апостолу; тот отпустил его, просмотрев бумаги и выразив сожаление, что ему нечем его угостить.

Начальство (все тот же Рот) нашло позже, что штаб-ротмистр Ушаков виновен в праздных разъездах по разным местам, а также в том, что «причинил большое затруднение начальству», то есть пришлось многих опрашивать. И хотя ничего особенного не открылось, Ушакова посылают на двухнедельную гауптвахту.

Попросту говоря, его заподозрили в том, что толковал с мятежниками не только об угощении. И не без основания. Бестужев-Рюмин позже признается, что, хотя Ушаков ни с кем из мятежников знаком не был, «он воспламенился и желал нам успеха». Восставшие же просили штаб-ротмистра рассказать о виденном офицерам своего полка.

Воспламенился Ушаков, но его за это все же не наказали по причинам, о которых речь еще пойдет…

Воспламенившийся офицер занимал Муравьева-Апостола и его товарищей именно потому, что они с ним прежде не были знакомы: значит, многие могут так воспламениться, как воспламенились несколько черниговских офицеров — Петин, Апостол-Кегич и другие, на которых не очень-то надеялись…

«31 декабря 1825 года перепуганные обыватели Василькова стали свидетелями удивительного зрелища. Во втором часу зимнего дня на городской площади был провозглашен единым царем Вселенной Иисус Христос».

Так историк начинал рассказ о необыкновенном документе, который длинной декабрьской ночью перечитывали и переписывали полковые писаря.

На немощеной площади перед собором святого Феодосия выстраиваются пять рот Черниговского полка, 60 музыкантов, взявшие вместо инструментов оружие, 14 офицеров, не считая братьев Муравьевых и Бестужева-Рюмина. Молодой священник из дворян Даниил Кайзер колеблется: цель восставших ему ясна. Он говорит Муравьеву, что готов умереть для общей пользы, но боится за жену и детей: «Если ваше предприятие не удастся, что будет с не ми? Бедность, нищета и даже позор ожидают мою жену и моих сирот».

Священник вот-вот откажется от своих прежних слов, но Муравьев убеждает его и, желая успокоить, дает 200 рублей:

«Вручите сии деньги вашему семейству, они будут необходимы для него во время вашего отсутствия, между, тем будьте уверены, что ни Россия, ни я никогда не забудем ваших услуг».

Священник, не возражая больше, вместе с Муравьевым идет на площадь.

(Позже его лишат сана и дворянства, более 30 лет будет нищенствовать…)

«Священник читал громко и внятно», — утверждали офицеры, позже помогавшие составлять «летопись» событий Ивану Горбачевскому. До задних рядов, однако, слова доносились хуже…

Православный катехизис.

Во имя отца и сына и святого духа.

Вопрос. Для чего бог создал человека?

Ответ. Для того, чтобы он в него веровал, был свободен и счастлив.

Вопрос. Что значит быть свободным и счастливым?

Ответ. Без свободы нет счастья…

Вопрос. Для чего же русский народ и русское воинство несчастно?

Ответ. От того, что цари похитили у них свободу.

Вопрос. Стало быть, цари поступают вопреки воли божьей?

Ответ. Да… Христос сказал: не можете богу работать и мамоне, оттого-то русский пород и русское воинство страдают…

Вопрос. Что же святой закон наш повелевает делать русскому народу и воинству?

Ответ. Раскаяться в долгом раболепствии и, ополчась против тиранства и нечестия, поклясться: да будет всем един царь на небеси и на земле Иисус Христос.

Вопрос. Что может удержать от исполнения святого сего подвига?

Ответ. Ничто…

19 раз звучат на площади слова «царь», «цари», и сверх того пять раз — «тиран», «тиранство».

— Стало быть, бог не любит царей?

— Нет, они прокляты…

— Един наш царь должен быть Иисус Христос.

Надо «взять оружие и следовать смело за глаголющим во имя господне…

А кто отстанет, тот яко иуда-предатель, будет анафеме проклят».

Древний Васильков на речке Стугне, в котором звучали молитвы и воинские призывы еще на заре русской истории.

«В лето 6601-е (от рождества Христова 1093) пошли Святополк, Владимир (Мономах) и Ростислав к Стугне-реке и созвали дружину на совет и стали совещаться и перешли Стугну-реку, а была она переполнена водой, и вот половцы двинулись навстречу…»

Кажется, будто ожил тот язык — и снова в крестовый поход на басурман зовет новый Апостол, глаголящий во имя господне. Сергей Муравьев и Бестужев-Рюмин приготовили цитаты из Ветхого и Нового завета, которыми можно обосновать революцию, и дух древней проповеди захватывает их самих. Давно известно, что во многих великих восстаниях и походах, имевших вполне рациональные, попятные исторические причины, все же последним толчком к взрыву была не логика, а *чувство,* порой — мистика, даже шаманство, заставлявшие забывать доводы *против,* да и доводы *за*… И вот уж движутся тысячи крестоносцев за Петром-Пустынником, десятки тысяч немцев реформируют веру, не углубляясь в тонкости захватывающей проповеди Лютера. Показывает «царские знаки» на груди и увлекает казаков сладостным обманом Емельян Пугачев.

Зачаровывает, овладевает старшими, опытными офицерами обладающий «гипнотическим даром» зеленый подпоручик Бестужев-Рюмин; и, конечно, это он настоял на чтении Катехизиса, хотя Матвей Муравьев противился.

Солдаты Черниговского полка кричат *ура* Сергею Муравьеву-Апостолу, который берет слово после священника… И теперь опять предоставим слово Горбачевскому, который мог записать впечатления только одного из офицеров, стоявшего у собора в последний день 1825 года, барона Вениамина Соловьева. Много лет спустя в забайкальской каторге им представляется, что цель была достигнута: третья присяга не Константину или Николаю, по *богу;* сердца зажглись. И мы верим, что зажглись, по крайней мере с точки зрения штабс-капитана Соловьева.

«— Наше дело, — сказал Муравьев по окончании чтения, обратись снова к солдатам, — так велико и благородно, что не должно быть запятнано никаким принуждением, и потому кто из вас, и офицеры, и рядовые, чувствует себя неспособным к такому предприятию, тот пускай немедленно оставит ряды, он может без страха остаться в городе, если только совесть его позволит ему быть спокойным и не будет его упрекать за то, что он оставил своих товарищей на столь трудном и славном поприще, в то

время как отечество требует помощи каждого из сынов своих.

Громкие восклицания заглушили последние слова С. Муравьева. Никто не оставил рядов и каждый ожидал с нетерпением минуты лететь за славою или смертью.

Между тем священник приступил к совершению молебна. Сей религиозный обряд произвел сильное впечатление. Души, возвышенные опасностью предприятия, были готовы принять священные и таинственные чувства религии, которые проникли даже в самые нечувствительные сердца».

Действие этой драматической сцены усилил неожиданный приезд молодого свитского офицера, который с восторгом бросился в объятия Сергея Ивановича. Это был младший из Муравьевых — Ипполит.

Барон Соловьев в последний день 1825 года видит сцепу из древней Руси или древнего Рима: три брата, словно братья Горации, храм, молебен, свобода…

Кажется, будто люди лепят историю по образцу тех книжек и рассказов, которыми очарованы с детства. Но это — офицеры, дворяне, грамотные.

А что чувствуют солдаты? Ведь они и без Катехизиса поднялись. Те ли слова сказаны на площади?

Сергей Муравьев (на допросе):

«Прочтение Катехизиса произвело дурное впечатление на солдат».

Сергей Иванович, возможно, выгораживает солдат, забирая побольше вины себе.

Матвей Муравьев: «О Катехизисе я знал, но никогда не одобрял, так как я оный считал ребячеством».

Игнатий Ракуза: «Когда читали солдатам Катехизис, я слышал, но содержания оного не упомню. Нижние чипы едва лн могли слышать читанное».

Впечатления васильковских обывателей:

«Муравьев, сидя на лошади, верхом, кричал, что царей нет, а только одна выдумка… Один из солдат спрашивал инвалидного поручика — кому они присягают, но видя, что нижний чин пьян, он, поручик, удалился, а солдат кричал: „Теперь вольность!“»

Анекдот в записи секретаря императрицы Марии Федоровны (позже слишком популярный в «верхах» и на Западе):

«Пятница, 8 января 1826 г.

Императрица рассказала нам историю возмущения, поднятого подполковником Муравьевым, который обольстил часть Черниговского полка. Сумасшедший Муравьев провозгласил перед Черниговским полком славяно-русскую республику. Его спросили: „Кто же будет царем?“ И когда узнали, что вовсе не

будет царя, то его начали оставлять».

Где истина? Как отделить в этих рассказах реальное ядро от скорлупы?

1) Солдаты воодушевлены «Катехизисом», и в то же время

2) Лозунг «Царь Иисус» вскоре заменяется — «царь Константин».

Сергей Муравьев: «Приметив же, что прочтение Катехизиса произвело дурное впечатление на солдат, я решился снова действовать во имя великого князя Константина Павловича». К тому же брат Ипполит по дороге часто слышал народные толки об этом имени. Царь Константин, оказывается, ближе, понятнее. Чисто религиозный лозунг мог поднять разве что раскольников, да и то с обязательным присутствием в числе врагов «царя-антихриста». Царь — важнее бога. Вера в царя или в царевича-освободителя присутствуем почти во всех народных движениях с XVI по XIX век. Десятки «царевичей» или «спасшихся от неминуемой смерти» царей, лже-Дмитриев, лже-Алексеев, лже-Петров третьих, лже-Павлов, лже-Константинов…

Сергей Муравьев не мог, вернее не хотел, подкрепить *чудом* свое *Апостольство*.

«Глаголящий во имя господне» не пожелал превратиться в исступленного проповедника, доводящего до экстаза себя и других. Может быть, больше преуспел бы в этой роли Бестужев-Рюмин. Но европейское образование, но офицерский мундир! И наконец, Лютер, Пугачев зажигали целый край, страну, народ; в Василькове же начинается военная революция, которая конечно же принесет всем краям свободу, но по хорошо известной формуле «все для народа, но ничего через народ»…

Если бы здесь, на площади перед собором, появился вдруг незнакомый офицер, в котором Сергей Муравьев и другие опознали царевича Константина! А ведь слух уже идет, что царевич ждет неподалеку, в местечке Брусилов. А ведь появление Ипполита *оттуда,* из столицы, да еще как раз во время клятвы, легко объяснить как чудо, благую весть, сигнал от настоящего царя!

Если бы так, эффект был бы в десять раз сильнее, чем от Катехизиса!

Знал ли о том Сергей Иванович? Знал, конечно. Но если б он был человеком, способным на такие спектакли, не ходил бы «задумчив, одинокий», жил бы спокойнее, веселее, основательнее, с членами тайных обществ встречался бы разве что за вином и картами и, наверное, кончил бы жизнь генералом или генерал-адъютантом… *Генерал-адъютант* Муравьев-Апостол. Звучит красиво.

Невозможно.

На следствии допытывались: «Подполковник Муравьев-Апостол во время возмущения какое принял на себя звание, как его именовали сообщники его?»

Ответ: «Звания никакого Муравьев не принимал. Это всему полку известно».

«Звание» — подразумевается вождь, генерал, диктатор, командующий, Апостол.

Но ведь Катехизис, молебен подняли солдатский дух?

31-го днем дух и без молебна высок! И 1 января не снизится: обряд не создал новой ситуации. Но вот второго, третьего… Однако второе и третье января еще далеко — в будущем году. Пока же звучит команда «В поход!», жители крестятся и благословляют солдатиков — около тысячи человек выходит из города по старинному тракту. Тысяча! Наполеон взял Францию с одной ротой; Гарибальди с тысячей уничтожит одно королевство и создаст другое. Сколько надо для России?

Фантастический 1826-й

Все будет хорошо…

Бестужев-Рюмин

«Одна рота увлечет полк…» Муравьев рассказывал офицерам о Риего: тот прошел через всю Испанию с тремя сотнями человек и восстановил конституцию, «а они с полком, чтобы не исполнили предприятия своего, тогда как все уже готово, и в особенности войско, которое очень недовольно…»[9]. Начать с Черниговского. Присоединяются Ахтырский и Александрийский гусарские, Алексапольский пехотный и 17-й егерский, а в корпусной квартире встретит их 8-я дивизия и Артиллерийская бригада… Члены Тайного общества, опираясь на бывших семеновских солдат, поднимают Тамбовский, Саратовский, Воронежский, Старооскольский, Кременчугский, Витебский, Курский полки. Провозглашают свободу и равенство.

На это уходит три дня нового года.

3 января. Весь 3-й корпус и другие части — не менее 60 000 человек — на стороне мятежников. Специальные гонцы мчатся в Тульчин, к штабу соседней 2-й армии. Хотя Пестеля и других важных деятелей нет, но скрытые сторонники, узнав про успех соседей, поднимают своих солдат. Офицеры, верные власти, расстреляны или заперты. *5-го числа* захвачен штаб армии. Главнокомандующий, старик Витгенштейн, под арестом,

начальник штаба армии генерал Киселев под домашним арестом, по ему предлагается возглавить революционную армию, готовую идти за ним. Киселев пока не решается.

Васильков, Брусилов, Белая Церковь, Поволочь, потом Житомир… Киев. «Овладев Киевом, далее действовать по обстоятельствам».

От Василькова до Киева 36 верст — один быстрый дневной бросок или два неторопливых перехода.

В Киеве весь гарнизон состоит только из двух батальонов 4-го корпуса и одного батальона 3-го корпуса, на который начальство «совершенно полагаться не могло».

7 января Киев взят после небольшого сражения. Три батальона не противодействуют армии. Эмиссары восставших несутся в Польшу, к южным военным поселениям, на Север. В Киеве — громадный митинг на Софийской площади. Бестужев-Рюмин зажигает войска восклицаниями о древних вольностях, о матери городов русских, о свободе, которая воссияет в первой столице Руси.

Слух о занятии Киева распространяется молниеносно и имеет ошеломляющее влияние на умы миллионов людей. Киевская типография печатает воззвания к народу, войску, дворянству. Объявляется временное правление армии. Провозглашаются основные цели: освобождение крестьян с землею, сокращение и облегчение солдатской службы, отмена военных поселений, конституция. Республиканцы-южане решают на Киевском совете, что пока нужно действовать именем монарха. Сухинов, Андреевич, еще некоторые Славяне оспаривают, угрожая «обратиться к черни», но остаются в меньшинстве.

Решающий довод на Совете: два клича — «Ура! Республика!» или «За нашим царем!» — какой вызовет больший отзыв у народа? Принимается присяга императору Константину. Петербургский правитель Николай под громкое «ура!» объявляется незаконным и низложенным.

Главнокомандующим особой революционной армией избирается Сергей Муравьев-Апостол. Командиром 3-го корпуса — Михаил Бестужев-Рюмин.

Бестужев-Рюмин: «Я с корпусом должен… идти на Москву, увлекая все встречающиеся войска. Пришед в Москву, я бы там устроил лагерь, чтобы иметь на всякий случай значительную силу под рукою… Муравьев назначен был ехать в Петербург, где наше общество вверило бы ему гвардию…»

Под Киевом — военный лагерь, которым управляют храбрейшие и неутомимые Соединенные славяне. Имена Борисовых, Сухинова, Андреевича, Горбачевского, Кузьмина,

Щепиллы, еще вчера никому не ведомые, звучат по всей округе.

Январь. Корпус Бестужева-Рюмина стремительно движется к Москве. Крестьяне начинают зажигать усадьбы и брать землю, несмотря на призыв Киевского революционного правительства соблюдать спокойствие до полной победы. Генерал Витт, главнокомандующий южными поселениями, проникший еще год назад в некоторые замыслы южан и выдавший их властям, — генерал Витт в страхе объявляет, что всегда был другом Тайного общества и, разведывая планы заговорщиков, старался обмануть Петербург, вызнать о замыслах власти в интересах повстанцев. Витту не верят. Его действия контролирует полков-пик Василий Давыдов и другие офицеры-южане. Между тем вооруженные поселяне идут к Одессе, и граф Воронцов спасается на корабле — в Англию. Из Тираспольской крепости освобожден запертый четыре года назад майор Владимир Раевский, который берет начальство над 6-м корпусом и Бессарабией.

Первая же весть о восстании на Украине зажигает Польшу. Константин арестован по тайной просьбе южных эмиссаров. Польские войска занимают Варшаву и крепости, провозглашается полная независимость страны.

Кавказский корпус генерала Ермолова внимательно следит за событиями. Курьеры несутся из Киева в Тифлис и обратно. Ермолов не дает ясного ответа, но контролирует весь Закавказский край и в ответ на отчаянный призыв Петербурга двинуться через хребет на север отвечает с курьером, что войск дать не может ввиду персидской угрозы.

Николай I заседает с несколькими верными вельможами. В порту готов корабль, который увезет его с семьей в Пруссию.

Гвардия ненадежна. Заключенные по делу 14 декабря начинают кое о чем догадываться даже в казематах. Николай I ночью во дворце снова беседует с Пестелем, нащупывая пути для компромисса. Пестель требует «собрать Синод и Сенат, которые издадут два манифеста». Первый, от Синода, чтобы весь русский народ присягнул Временному революционному правительству, второй манифест, Сената, объяснит народу, что Временное правительство не намерено «присвоить себе власть» и собирается позже «вводить конституцию, дабы отвести подозрение, что директоры хотят себе присвоить власть». Кроме того, царь должен объявить всеобщую амнистию и созыв «Великого Собора», то есть Учредительного собрания.

Январь. Николай медлит, надеясь на верные войска, ждущие у Москвы южную армию. Бешеная контрпропаганда — о грабежах, бесчинстве бунтовщиков, оскорблениях религии и т. п.

Сергей Муравьев: «Имея 3-й корпус, хотели идти в Москву, где

2-й и 1-й корпуса по той же причине должны были присоединиться, с этими войсками принудить Сенат принять конституцию и созвать великий собор».

Среди вождей восстания кипят те же споры, что начинались еще до 14 декабря.

Бестужев-Рюмин: «Наша революция будет подобна революции испанской (1820 г.); она не будет стоить ни одной капли крови, ибо произведется одною армиею без участия народа. Москва и Петербург с нетерпением ожидают восстания войск. Наша конституция утвердит навсегда свободу и благоденствие парода… Мы поднимем знамя свободы и пойдем на Москву, провозглашая конституцию…

До тех пор, пока конституция не примет надлежащей силы, Временное правление будет заниматься внешними и внутренними делами государства, и это может продолжаться десять лет».

Борисов 2-й возражает от членов Славянского общества:

«По вашим словам для избежания кровопролития и удержания порядка народ будет вовсе устранен от участия в перевороте, что революция будет совершена военная, что одни военные люди произведут и утвердят ее. Кто же назначит членов Временного правления? Ужели одни военные люди примут в этом участие? По какому праву, с чьего согласия и одобрения будет оно управлять десять лет целою Россиею? Что составит его силу, и какие ограждения представит в том, что один из членов вашего правления, избранный воинством и поддерживаемый штыками, не похитит самовластия?

Вопросы Борисова 2-го произвели страшное действие на Бестужева-Рюмина; негодование изобразилось во всех чертах его лица.

— Как можете вы меня об этом спрашивать! — вскричал он с сверкающими глазами. — Мы, которые убьем некоторым образом законного государя, потерпим ли власть похитителей?! Никогда! Никогда!

— Это правда, — сказал Борисов 2-й с притворным хладнокровием и с улыбкою сомнения, — но Юлий Цезарь был убит среди Рима, пораженного его величием и славою, а над убийцами, над пламенными патриотами восторжествовал малодушный Октавий, юноша 18-ти лет.

Борисов хотел продолжать, но был прерван другими вопросами, сделанными Бестужеву, о предметах вовсе незначительных».

Февраль 1826 года. Москва звонит во все колокола. Три революционных корпуса шествуют по городу. Взятие Москвы

решает дело. Несколько испуганных московских сенаторов вместе с командирами восставших отрядов подписывают в Кремле манифест о временном правлении. Константин под арестом в Польше, судьба его неизвестна. Восставшим не нужен слишком самостоятельный монарх: «Царствующую фамилию всю посадить на корабли и отослать в чужие края в случае введения республиканского правления; а если бы принято было монархическое представительное, тогда оставить Александра Николаевича (семилетнего сына Николая, будущего Александра II), объявить императором и объявить регенцию».

Однако Николай с сыном и другими членами фамилии, узнав о вступлении Муравьева с Бестужевым-Рюминым в Москву, садятся на корабль, ночью пришедший по Неве ко дворцу. На корабль доставлена из крепости казна; опасаясь революционных моряков, корабль выходит в море под английским флагом и берет курс на Германию.

Теперь в стране только один член императорской фамилии — больная, усталая Елизавета Алексеевна, вдова Александра I, находящаяся в Таганроге, у гроба мужа. В Москве ее провозглашают императрицей, посланцы армии несутся в Таганрог, где она подпишет любые бумаги.

Жить ей недолго, после смерти же — ничто не препятствует республике.

Ворота Петропавловской крепости распахнуты. Пестель, Рылеев, Батеньков, Волконский, Михаил Орлов, Краснокутский и некоторые другие арестанты, занимавшие прежде важные военные и гражданские посты, выходят на волю и появляются на заседаниях Сената и Совета.

Поэт Пушкин тихонько выезжает из Михайловского и через денек попадает в объятия Пущина и Кюхельбекера. «Ты наш! Ты наш!»

Сергей Муравьев и Михаил Бестужев всегда и беспрестанно толковали о пользе революции, о конституции «и о том, что нет сомнения, что в России все пойдет хорошо».

Февраль — март незабываемого, 1826 года.

Временная власть в Петербурге, опирающаяся на гвардию, ведет переговоры с московским и киевским лагерями. «Законодательная власть — собранию депутатов, избранных народом. Исполнительная власть — Директории, состоящей из пяти членов».

В первом составе Директории от тайных обществ — Пестель и Михаил Орлов, от Сената и Государственного совета — Сперанский, Мордвинов, Иван Муравьев-Апостол. Сергей Муравьев возглавляет гвардию, Бестужев-Рюмин — московский

генерал-губернатор, Соединенные славяне — во главе дивизий и корпусов. Позже Директория расширится: прибудут генерал Ермолов, Трощинский, Никита Петрович Панин. «Директория (или Председатель) избиралась Собранием Законодательным, как представляющим Народ. — Собственная выгода же была сего собрания, чтоб Директория была наполнена людьми души возвышенной, а способности сверхобыкновенной, ибо тогда только издаваемые законы могут показаться во всем блеске и возбудить благодарность и удивление в Народе». Пестель и его единомышленники находят, что нужны суровые временные правила, не допускающие различных партий и междоусобиц. Но все сильнее голоса в пользу полнейшей свободы и за то, что уголовные законы должны быть «немедленно смягчены, против всех доныне существующих и приноровлены, к правам и образу 19-го века (ибо Бентам говорит, что где законы мягкие, там и нравы смягчаются, где же они жестокие, там и нравы ожесточаются)».

Бестужев-Рюмин: «Пруссия ожидает только восстания России… Порывы всех народов удерживает русская армия — коль скоро она провозгласит свободу — все народы восторжествуют. Великое дело свершится, и нас провозгласят героями века».

Смерть Елизаветы Алексеевны. Временное правление под напором армии, особенно тех частей, где командуют Соединенные славяне, объявляет республику. Меж тем крестьянская революция разгорается, крестьяне берут землю до издания окончательных законов. Раскол среди победителей — дать простор крестьянским требованиям или не допускать пугачевщины? В черноземных губерниях столкновения войск с мужиками.

Монархические заговоры в столицах. Польские послы в Петербурге требуют Левобережную Украину, Белоруссию, Литву. Отношения осложняются, особенно после того, как Михаил Лунин с безумной дерзостью увозит с варшавской гауптвахты Константина, сажает его на первый попавшийся корабль, идущий на Запад, а сам отправляется к своим, в Петербург. Однако в конце концов заключается союз о совместных действиях против Пруссии и Австрии для освобождения захваченных ими польских земель.

Некоторые члены Временного правления считают, что лозунг «Мобилизация, отечество в опасности» — лучшее противоядие против внутренней смуты.

В центре и на местах членов Общества пытаются оттереть вчерашние чиновники, присягнувшие новой власти.

Романовы действуют из-за границы. Споры о немедленных

выборах или диктатуре армии.

Революция в России…

Призраки новой Вандеи, нового террора, нового Бонапарта, старых героев Плутарха: «Опасались, как бы Дион, свалив Дионисия, не оставил власть за собою, обманув сограждан каким-нибудь безобидным, несхожим со словом „тирания“ названием».

Такова «История России и планеты в конце 1820-х годов», и Сергей Муравьев, Бестужев-Рюмин, Пестель — старше на несколько лет, и…

Сбылись, мой друг, пророчества
Пылкой юности моей…

Все будет — и кровь, и радость, и свобода, и террор, и то, чего ожидали, а затем — чего совсем не ждали. Но что бы ни случилось, происходит нечто необратимое.

Кто восстановит отмененное крепостное право!

А конституция? Рафаэля Риего опоили опиумом, повесили, начался грязный террор, Фердинанд VII почти самодержец. И все же «почти»! Разве можно совсем разогнать кортесы, парламент?

«Происшествия 1812, 13, 14 и 15 годов, равно как предшествовавших и последовавших времен показали столько престолов низверженных, столько других постановленных, столько царей изгнанных, столько возвратившихся или призванных и столько опять изгнанных, столько революций совершенных, столько переворотов произведенных…»

Не было. Могло быть.

1 января

Киевляне восстали за свободу,
разбиты, многие казнены, ослеплены.

Киев. 1068–1069 гг.

Было же вот как.

Новогодняя ночь, между 1825 и 1826-м. Мозалевский с тремя солдатами в Киеве идет по указанным адресам, разбрасывая Катехизис, а быстро попадает под арест.

Бестужев-Рюмин не может проехать в соседние полки и, с трудом избежав плена, возвращается.

Артамон Муравьев не хочет поднимать ахтырских гусар.

Соединенные славяне ничего не знают, ждут, готовы действовать, но нет команды.

Тамбовский, Пензенский, Саратовский полки — везде члены тайного общества, везде бывшие семеновские солдаты, но ничего не знают, ждут.

17-й егерский, в Белой Церкви, знает. Оттуда позже придет обнадеживающая записка.

Генерал Рот принимает меры, отводит подальше, за Житомир, Алексапольский, Кременчугский полки, «опасаясь, что нижние чины последуют бесчестному предприятию, тем более, что Муравьев рассылает солдатам восьмилетний срок службы и другие льстивые им обещания». Ненадежным частям 17-го егерского велено выйти из Белой Церкви — подальше от вулкана.

Черниговские офицеры говорят солдатам, что вся 8-я дивизия восстала, что гусарские и другие полки требуют Константина и присягают ему.

Черниговцы отвечают, что «ежели все полки согласны, то и они… Лишь бы не было обмана».

Какое причудливое, фантастическое раздвоение. Один Константин, настоящий, сидит в Варшаве, боится престола, ненавидит революцию, принимает меры по аресту заговорщиков. Сергей Муравьев-Апостол, начиная бунт, пробует уговорить поляков, чтобы они нанесли великому князю смертельный удар. Другой Константин, воображаемый, вызывает полки на Сенатскую площадь, возбуждает черниговских солдат, появляется «как свой» где-то на Украине, его именем начинает действовать тот, кто желает его погибели (позже Герцен и Огарев признаются, что мальчишками больше года поклонялись константиновскому призраку).

Какие странные, невероятные миражи возникают над туманными полями Киевщины: царь-невидимка, невидимые армии.

Бестужев-Рюмин: «Мы весьма ошибочно полагали, что все войско недовольно». Особенно надеялись все на тех же гусар Артамона Муравьева, на конную артиллерию, где оба командира рот принадлежали тайному обществу, и, конечно, на 8-ю артиллерийскую бригаду и 8-ю дивизию, потому что там Соединенные славяне.

Матвей Муравьев (вспоминая много лет спустя о брате Сергее): «Надежда, что восстание на юге, отвлекая внимание правительства от товарищей-северян, облегчит тяжесть грозившей им кары, как бы оправдывала в его глазах отчаянность его предприятия; наконец и то соображение, что, вследствие доносов Майбороды и Шервуда, нам не будет пощады, что казематы те же безмолвные могилы; все это, взятое вместе, посеяло в брате Сергее Ивановиче убеждение, что от предприятия, по-видимому

безрассудного, нельзя было отказаться и что настало время искупительной жертвы».

Тут память о ночных разговорах, отдельных, но важнейших фразах… Матвей не говорит, что они оба так думали. Именно «брат Сергей Иванович» имел такое убеждение. А слова «по-видимому безрассудное» — это, кажется, отзвук возражений самого Матвея («ничего», «оставить», — «избавить нас»!). Впрочем, они одни понимают — да еще несколько офицеров догадываются, — насколько дело безнадежно. Однако одушевление на соборной площади Василькова заражает и знающих: а вдруг?

Но что делать с Ипполитом?

Матвей: «Мой меньшой Ипполит меня крайне огорчил своим неожиданным приездом. Он ехал из Москвы в Тульчин. Он решился с нами остаться, как я его ни упрашивал продолжать свой путь. Он сказал брату Сергею, что он имел к нему письмо от кн. Трубецкого; но что он истребил его в Москве, когда пришли арестовать Свистунова, с которым он жил. Содержание письма он не знал, истребив его в самое скорое время, он не успел его прочесть. Я пошел с меньшим братом на квартиру, где он переоделся и отпустил почтовых лошадей».

«Отпустил лошадей», то есть к месту службы не поедет. Потом старшие братья вдвоем уговаривают его ехать, по революция уравнивает даже возрасты. Мальчик такой зеленый, что даже не догадался прочесть «истребляемое письмо», он, однако, не подчиняется старшим, возражает, что Матвею и Сергею самим неловко будет, если отправят его прочь, вроде бы удаляя от дела, в то время как другие не уходят… К тому же весть о подавлении мятежа в Петербурге еще не распространилась, Ипполит рассказывает братьям все, что знает. Но ведь его внезапное появление на площади — добрая весть для солдат: посланец извне, человек из столицы…

Горбачевский (записывая, очевидно, слова барона Соловьева) продолжает драматический, «из Плутарха», рассказ о появлении Ипполита.

«Мой приезд к вам в торжественную минуту молебна, — говорил Ипполит Муравьев, — заставил меня забыть все прошедшее. Может быть, ваше предприятие удастся, но если я обманулся в своих надеждах, то не переживу второй неудачи и клянусь честию пасть мертвым на роковом месте.

Сии слова тронули всех.

— Клянусь, что меня живого не возьмут! — вскричал с жаром поручик Кузьмин. — Я давно сказал: „Свобода или смерть!“

Ипполит Муравьев бросился ему на шею: они обнялись,

поменялись пистолетами…»

После этого — как уехать в Тульчин? И почтовые лошади отпущены.

В последний вечер 1825-го полк в походе.

Сергей Муравьев:

«Из Василькова я мог действовать трояким образом: 1-е идти на Киев. 2-е идти на Белую Церковь и 3-е двинуться поспешнее к Житомиру и стараться соединиться с Славянами. Из сих трех планов я склонялся более на последний и на первый…»

Три дороги: по одной пойдешь… по другой… по третьей… — голову сложишь.

Над новогодним Киевом 1826 года — призраки приближающегося восстания. Но только призраки. Мятеж празднует Новый год, и новая его столица — Мотовиловка…

«Мотовиловка — село по обеим сторонам речки Стугны, выше Василькова в 14-ти верстах, разделяется на две части, из коих расположенная на правой стороне, называемая Великою, принадлежит помещику Руликовскому. Здесь он имеет хороший каменный в два этажа дом; земли числится в имении 3647 десятин, жителей в ней обоего пола православных 1116, евреев 220. Предание говорит, что Мотовиловка в давние времена была местом или городом Мина, обитаемым греками. Во времена набегов печенегов или половцев (по народным преданиям татар) город этот подвергся совершенному уничтожению».

Лоцией по приднепровским степям служит старинная книга с длинным, как полагается, названием «Сказания о населенных местностях Киевской губернии, или статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах, в пределах губернии находящихся. Собрал Л. Похилевич. Киев. В типографии Киево-Печерской лавры. 1864 год».

Уминая сапогами снег, под которым спят печенеги, греки, половцы, века и тысячелетия, — шагают вдоль Стугны несколько сот пехотинцев, чтобы наслоить на этот чернозем еще одну историческую полоску, поверх которой уже набежало теперь полтора века — Гражданская, Отечественная…

У мотовиловской корчмы ждут прибытия главных муравьевских сил две роты Черниговского полка, не приходившие вчера в Васильков. Сергей Иванович прибывает в темноте, произносит речь. Роты — без командиров: один из них, капитан Вульферт, недавно встречавший сочельник у польского помещика, удрал из села; другой, капитан Козлов, целый день уговаривал своих гренадеров, чтобы не шли за Муравьевым, и

сейчас, переодетый в солдатскую шинель, приседает, чтобы его даже темной ночью не узнали по высокому росту.

Гренадеры молчат, Муравьев не настаивает, они уходят в Белую Церковь. Через несколько месяцев Козлову дадут орден, чин подполковника и вместе с ротой переведут в гвардию, в тот самый лейб-гвардии Московский полк, что вышел на Сенатскую площадь 14 декабря (и теперь вместо солдат, сосланных в Сибирь и на Кавказ, нужны новые…).

Рота Вульферта разделилась — одни ушли вслед за командиром, другие остались. Вульферт через несколько месяцев также награжден, но умеренно…

Меж тем еще целую роту ведет в Мотовиловку подпоручик Быстрицкий.

Когда после разгрома восстания его привезли в Могилев к начальнику штаба армии и когда генерал Толь сказал ему: «Вы могли бы удержать роту и тем заслужить награду», он отвечал: «Ваше превосходительство, я, может быть, сделал глупость, но подлости никогда».

Последняя ночь последнего года…

Сергей Муравьев: «Я решил здесь передневать, дабы не возбудить ропота в солдатах».

Унтер-офицер *Кучков:* «Что нам медлить, зачем еще дневка? Лучше бы без отдыха идти до Житомира».

Солдаты одобряли слова проницательного и опытного Кучкова. Командир их, барон Соловьев, смущен. Он чувствует справедливость того, что говорят нижние чины, но, желая их успокоить, хладнокровно объясняет: — Подполковник лучше нас знает, что делать: надобно подождать, а тем временем проведать, какие полки идут против нас.

1 января. В Санкт-Петербургской крепости 16-е заседание высочайше учрежденного следственного комитета.

Рассмотрены показания Горского, Пущина, Сутгофа, Сомова, Горожанского, Свистунова, Рылеева, Трубецкого…

Заключенный Якубович просит белье, одеяло, сюртук, восковые свечи, книги и красное вино.

«Высочайше повелено удовлетворить, но сообразить с комендантом».

В это же время из Петербурга в Варшаву мчится фельдъегерь с письмом Николая — брату Константину: «Факты не выяснены, но подозрение падает на Мордвинова из Государственного совета, а также двух сенаторов — Баранова и Муравьева-Апостола; но это почти только подозрения, которые выясняются с помощью документов и справок, которые каждую минуту собираются у меня в руках».

Мятежный полк в украинском местечке. Тысяча солдат, горстка командиров, сотни жителей — и, как обычно, одну и ту же историческую картину разные зрители видят неодинаково.

Черниговские офицеры запомнят, что, объезжая караулы, Муравьев был окружен народом, возвращающимся из церкви. «Добрые крестьяне радостно приветствовали его с новым годом, желали ему счастья, повторяли беспрестанно:

— Да поможет тебе бог, добрый наш полковник, избавитель наш».

Хозяин Мотовиловки, помещик *Руликовский:*

«На новый год, в первый день первого месяца 1826 года, в четвертом часу пополуночи в буфетную пришел солдат с просьбой дать ему какой-либо закуски для Муравьева и квартировавших с ним его товарищей. Когда это было дано, солдат заказал и для себя горячий завтрак… Солдаты силой забирали все, что было приготовлено для офицеров и унтер-офицеров, приговаривая: „Офицер не умрет с голоду, а где поживиться без денег бедному солдату!“

Тогда я пошел к Муравьеву с просьбой, чтобы защитил и дал мне охрану, которая защитила бы меня от толпы и дерзостей выпивших солдат.

Муравьев тотчас позвал унтер-офицера Николаева, которому сказал: „Слушай, Николаев, я на тебя так полагаюсь, как на самого себя, что ты не позволишь солдатам обидеть этого пана“».

Черниговские офицеры:

«Сергей Муравьев тронут был до слез, благодарил крестьян, говорил им, что он радостно умрет за малейшее для них облегчение, что солдаты и офицеры готовы за них жертвовать собою и не требуют от них никакой награды, кроме их любви, которую постараются заслужить. Казалось, крестьяне, при всей их необразованности, понимали, какие выгоды могут иметь от успехов Муравьева; они радушно принимали его солдат, заботились о них и снабжали их всем в избытке, видя в них не постояльцев, а защитников. Чувства сих грубых людей, искаженных рабством, утешали Муравьева. Впоследствии он несколько раз говорил, что на новый год он имел счастливейшие минуты в жизни, которые одна смерть может изгнать из его памяти».

Руликовский: «Бестужев довольно долго беседовал со мной и моей женой о знакомствах, какие он приобрел в виднейших семействах трех наших губерний. Он был в прекрасном настроении, полон лучших надежд на успех восстания.

Однако так как в этот день ночью мороз прекратился и настала порядочная оттепель, а от теплого дождя образовались

лужи, то моя жена, смотря в окно на эту перемену погоды, сказала Бестужеву: „Если снова настанет мороз, то вы будете иметь, господа, очень скользкую дорогу“.

На эти слова Бестужев побледнел, задумался и сказал: „Ах, пани, не может быть более скользкой дороги, чем та, на которой мы стоим! Однако, что делать? Иначе быть не может…“»

Недалеко от Мотовиловки знаменитые старинные курганы Перепятиха и Перепять. Через несколько месяцев после «муравьевского бунта» слуга-украинец сообщает папу Руликовскому:

«Царь намеревается построить в воспоминание церковь около самой Перепятихи, разыскать и откопать старинный колодезь, и там он найдет „закон“, называемый „русской правдой“, который деды там спрятали и засыпали землей. Как только царь эту правду получит, то объявит народу волю, и панщины больше не будет».

«Русская правда» Пестеля, «воля» Муравьева — и крестьянское эхо…

Вечер 1 января: дорога пуста, ни врагов, ни друзей, большой мир невидим.

Николай I только через три дня узнает, что на Юге восстание, но в штабе корпуса и армии уже знают…

Солдаты на квартирах; кучка мародеров тихо отделяется и едет пощупать окрестных селян: ждут полной мглы, чтобы скрыться от. глаз Муравьева и сабли Сухинова.

Несколько офицеров размышляют о бегстве, догадываясь, что каждая лишняя минута, проведенная среди восставших, ухудшает их будущий приговор — перевод в дальние гарнизоны, на Кавказ, в солдаты. Кто-то меняет мундир на тулуп, и крестьяне-чумаки едут из Мотовиловки новогодним вечером в роскошных киверах…

Пан Руликовский запомнил, как быстро спустилась темная ночь, восстановились спокойствие и тишина возле дома, а вечерняя заря положила предел всему дневному шуму. Тут в господский дом в последний раз вошел Бестужев-Рюмин и, держа завернутые в бумагу серебряные ложки, вилки и ножи вместе с незапечатанным письмом, адресованным какой-то офицерской жене, просил пана, чтобы завтра, когда полк выступит в поход, эти вещи были бы отосланы нарочным в Васильков по указанному адресу.

Позже выяснилось, что это был подарок Муравьева разжалованному в солдаты, бывшему капиталу и литовскому дворянину Грохольскому. Тот посылал серебро своей возлюбленной, которая оставалась в Василькове.

Руликовский немедленно вручил серебро одному из верных

слуг, который отдал его по адресу «указанной офицерше».

Через четыре месяца:

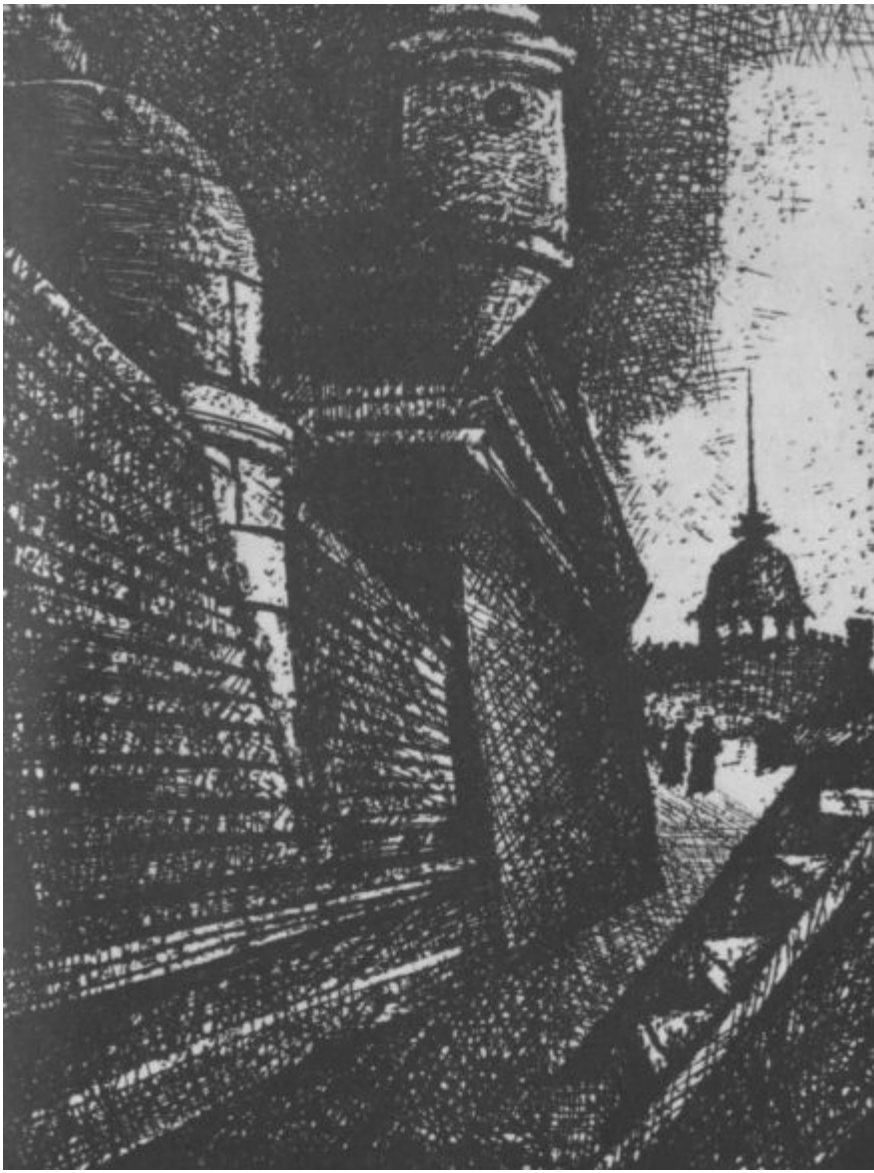
Вопрос: Как тебя зовут? Чей ты сын? Сколько от роду лет?

Ответ: Дмитрий, сын Грохольский, 42 лет, из дворян Смоленской губернии… В июле 1821 года разжалован из штабс-капитанов в рядовые с лишением дворянства за грубость и дерзость противу своего батальонного командира.

Вопрос: По какому случаю писано тобою из Мотовиловки письмо к жительствующей в Василькове вдове коллежского регистратора Ксении Громыковой, в присутствии тебе показанное? Что значат помещенные в оном выражения: «что дела наши идут очень, очень хорошо»? Где ты взял серебряные вещи, при означенном письме приложенные? Кому именно отданы тобою сие письмо и вещи для доставления в Васильков, в каком месте и в какое точно время?

Ответ: 1-го числа генваря в Мотовиловке, получив в подарок от Бестужева серебряные вещи, ныне в комиссии находящиеся, я хотел было отвезти оные сам в Васильков к находившейся у меня на содержании вдове Ксении Громыковой. Касательно ж значения помещенных в сем письме слов, то долгом поставляю объявить, что я, будучи тогда довольно выпивши, видя успех предприятия Муравьева, написал о том Громыковой, в намерении ее тем, по любви ее ко мне, обрадовать.

Мы почти ничего не знаем о Грохольском, кроме того, что он здесь сам сообщает: совершенно темные для нас 42 года жизни, какая-то страшная история в 1821-м (чины, случалось, отбирали, но дворянство — очень редко!), не знаем и года, места его кончины; только несколько январских дней 1826-го, революция, свобода. «По любви ее ко мне обрадовать…» Мы еще один раз только вспомним о той любви в самые черные, последние ее часы.



В этот день, 1 января, Руликовский заходит к Сергею Муравьеву-Апостолу: «Солнце уже зашло, и снова стало морозить. Я застал много офицеров, которые молча лежали на соломе. Муравьев и некоторые из них встали, когда я вошел. Беседуя с Муравьевым, я увидел на столе прекрасно украшенные кинжалы. Бестужев упорно играл кинжалом, остальные также имели кинжалы в руках. На столе лежали пистолеты. Этого оружия я не видел поутру, когда, был впервые. Все было признаками тревоги и опасений».

На этот раз Руликовский разглядел то же, что и революционные офицеры: вечером 1 января был отдан приказ о

выступлении в поход, и на другой день в 8 часов утра роты были собраны. «Уныние и какая-то боязнь изображались на всех лицах». На солдат произвело впечатление бегство нескольких офицеров, ночью уехавших в Васильков. Сергей Муравьев ободряет:

— Не страшитесь ничего, может ли вас опечалить бегство подлых людей, которые не в силах сдержать своего обещания и чувствуют себя не только неспособными, но недостойными разделить с нами труды и участвовать в наших благородных предприятиях.

Снова командир предлагает уйти каждому, кто пожелает, и солдат успокаивает «важность, внушающая уважение, смелость, громкий и твердый голос С. Муравьева». Снова надежда, что вдруг на зимнем горизонте появится хоть один восставший полк, гусары, может быть, Константин? Пока же в строю полтора десятка офицеров. Но сколько останется завтра?

Николай I: «Я считаю нужным объявить в приказе, что я Константину Павловичу поручил все распоряжения по укрощению начала сего возмущения. Этим каждый увидит, что, хотя бунтовщики действуют его именем, я ему самому предоставляю все меры против сих злодеев».

Иван Матвеевич Муравьев-Апостол, как прежде из Хомутца в Обуховку, так теперь из своей сенатской петербургской квартиры отправляет с посыльным записочку поэту и переводчику Гнедичу:

«Каков мой добрый друг Николай Иванович? Я никак не мог вырваться сегодня, чтобы побывать у него и поздравить с новым годом». Иван Матвеевич хочет «побалакать и сообщить копию с того письма, которое обещал, с разрешением читать немногим (например, Сперанскому)».

Что за письмо? Может быть, относящееся к арестам, следствиям, недавнему восстанию? По дружбе со Сперанским и в Сенате Иван Матвеевич, вероятно, уже знает, что велено арестовать Матвея, Сергея, он ждет известий… Но может быть, сенатор философически спокоен, и письмо относится к его занятиям древней поэзией, а разрешение «читать немногим» — просто авторская сдержанность?

Что ни ветер шумит во сыром бору,
Муравьев идет на кровавый пир…

Так начиналась песня (на мотив «Уж как пал туман…»), написанная через несколько лет в Сибири, в каземате Петровского завода.

Конь! мой конь! скачи в святой Киев-град:
Там товарищи — там мой милый брат…
Отнеси ты к ним мой последний вздох,
И скажи: цепей я снести не мог,
Пережить нельзя мысли горестной,
Что не мог купить кровью вольности!..

Сочинял Михаил Бестужев[10], пел Алексей Тютчев, слушали Соловьев, Мозалевский, другие Соединенные славяне.

После песни все бросились обнимать певца, хотели качать сочинителя, но он «убежал в свой номер и заперся».

Почто, мой друг, почто слеза катится?..

2 января

Рылеев с товарищами восстал за свободу, потерпел поражение, будет казнен.

Петербург. 1825 г.

«Я мог действовать трояким образом — на Киев, на Белую Церковь… к Житомиру. Из сих трех планов я склонялся более на последний и первый…».

Но 2 января утром склонились ко второму — Белая Церковь. В 9 часов утра полк выступил из Мотовиловки и двинулся по дороге, которая через деревню Марьяновну ведет к деревне Пологам, что в 12 верстах от Белой Церкви: Муравьев надеялся соединиться с квартировавшим там 17-м егерским полком. Семь часов марша — семь часов надежды. В 4 часа пополудни заняли деревню Пологи, но от 17-го егерского — никаких известий. Тогда Сергей Иванович поручает самому храброму — Ивану Сухинову разведать, где находится этот полк и чего можно от него ожидать? Ведь он единственный, давший о себе хоть какую-то весть.

Но черниговцы не знают, что, пока они дневали в Мотовиловке и шли дальше, 17-й полк вывели из Белой Церкви и свой человек среди егерей — Вадковский уже под арестом.

Марьяновка, Пологи, Белая Церковь…

Старые «лоции» напоминают, что «местечко Белая Церковь стоит на обширной равнине по обеим сторонам реки Роси и ручья Ротка, в нее впадающего, в самой середине Васильковского уезда, в 81 версте от Киева». Насколько тайному советнику Фундуклею не правились жители и строения Василькова, настолько он снисходителен к Белой Церкви, «лучшему местечку в центре губернии».

«Статистическое описание» прозрачно намекает, что местечко процветает благодаря попечению графини Браницкой, в то время как Васильков предоставлен самому себе. В конце екатерининского царствования, когда появился на свет Сергей Муравьев-Апостол, графиня Браницкая еще была поверенной интимных тайн императрицы, помогала выбору невест для великих князей — Александра и Константина… 30 лет спустя графиня по-прежнему полна энергии и предприимчивости, хотя и обращенной на предметы менее возвышенные. О владелице 97 тысяч душ и знаменитого имения Александрия у Белой Церкви

сохранилось такое воспоминание:

Старую графиню Браницкую спрашивали, сколько у нее капиталов. «Точно не знаю, — отвечала племянница Потемкина, — а кажись 28 миллионов будет».

Как только переодетые жандармы, бродившие по полям, узнали, что полк берет путь на Белую Церковь, как только крестьяне увидели солдат, в боевом порядке движущихся на Белую Церковь, как только генерал Рот, а затем его начальство, узнает об этом, мигом появляется нужное слово — грабеж: Сергей Муравьев будто бы идет захватить несметные сокровища Александрийского имения…

Браницкая и ее гайдуки, разумеется, не сомневаются, что их будут грабить. Верные властям, командиры дивизий и полков, толкуя, размышляя, постепенно склоняются к той же версии, ибо хотят в нее верить. Иначе нехорошо: ведь немалая разница — идти громить мародеров или усмирять революцию.

Лишь генерал историк Михайловский-Данилевский посмотрит глубже:

«Если бы Муравьев действовал решительнее, то он мог бы прийти в Белую Церковь, где находились несметные сокровища графини Браницкой и где его ожидали, чтобы с ним соединиться, четыре тысячи человек, недовольных своим положением. Это были большею частью старинные малороссийские казаки, которых Браницкая укрепила за собой несправедливым образом».

Но о том Муравьев не думал, в мыслях только — где 17-й полк, где другие части?

Подступают сумерки 2 января, кругом — сжимающаяся пустота, никаких известий ни с одной из трех дорог.

С каждым часом дух падает. Позже вспомнят:

Матвей Иванович: «2 генваря я был очень печален, потому что я предчувствовал, чем все это кончится».

Бестужев-Рюмин: «Настроение начало падать… После четырех дней перехода, подобного похоронной процессии…»

Матвей Муравьев: «Бестужев говорил, что не надо отчаиваться и что если возмущение Черниговского полка не удастся, то надобно будет скрыться в лесах и ехать в Петербург, чтобы посягнуть на жизнь государя Николая Павловича. Я ему тут же объявил при брате моем Сергее, что я этого никогда не сделаю…»

Уходят офицеры — Петин, Маевский, Сизиневский. К ночи остаются только братья Муравьевы, Быстрицкий да те четверо, кто начали — Щепилло, Сухинов, Кузьмин, Соловьев.

Солдаты все видят. По соседним усадьбам бродят небольшие группки, решившие погулять, распить задаром водку в корчмах,

поживиться.

Неподалеку, однако, гуляют и грабят жителей представители противной стороны во главе с поручиком князем Коребут-Воронецким.

Но это — в стороне. Зимняя вьюга, потом туман. А на квартирах в деревне Пологи 2 января около тысячи черниговских солдат ждут, что скажет сам подполковник…

«Пологи село, лежащее среди обширной и плодородной белоцерковской равнины, при ручейке, летом пересыхающем. Жителей обоего пола: православных 1142, католиков 163. Деревянная церковь, построенная в 1790 году».

Ночью со 2 на 3 января несколько гусаров подъезжают в Пологах к самым часовым. Часовые хотели стрелять, и гусары скрылись. Однако один гусарский офицер высокого роста и довольно плотный, подъехав на близкое расстояние к одному из постов, начал разговаривать с солдатами, хвалил их решительность, одобрял восстание и обещал помощь. Узнав об этом, офицеры Черниговского полка решили (или сделали вид, что решили), будто приезжавший офицер был командир Ахтырского полка Артамон Муравьев, и радовались нечаянной помощи от человека, на которого перестали рассчитывать. Позже решили, однако, что это была вражеская хитрость и что гусарам нужно было только узнать расположение и дух черниговских солдат, так как еще до рассвета все они скрылись.

Из записок Горбачевского можно понять, что Муравьев-Апостол представил этот эпизод как хорошую примету, предвестие скорой встречи со своими…

Пока же снова вопрос: куда идти? Первое движение — на Киев — не состоялось; Белая Церковь безнадежна; остается Житомир, близ которого ждут, ничего не понимая, Соединенные славяне; и где-то совсем близко конная артиллерия, в которой служит свой человек — капитан Пыхачев.

«Пехотные солдаты, — замечает мемуарист, — смотрят на орудия с некоторым благоговением и ожидают от них сверхъестественной помощи».

Лишь бы кончилась проклятая пустота. За шесть дней — ни одного другого полка на горизонте. Любая встреча с любой частью: в своих ведь стрелять никто не будет…

Первой армией командует престарелый генерал-фельдмаршал Сакен. Но фактически бразды правления в руках его начальника штаба генерала Толя. Он только что прибыл из Петербурга в Могилев: единственный человек, успевший на два мятежа — северный и южный. Две недели назад допрашивал в Зимнем дворце Рылеева, а теперь сдвигает вокруг Василькова и

Белой Церкви два громадных корпуса — третий, генерала Рота, и четвертый, генерала Щербатова, а в каждом корпусе — три пехотные и одна гусарская дивизии, а в каждой дивизии — по шесть полков и по артиллерийской бригаде.

Николай I — Константину:

«Насколько я имел случай быть довольным Ротом, настолько Щербатов, мне кажется, держался как баба. Наш старый Сакен даже заболел от этого, тем более что Щербатов позволил себе писать более чем непочтительно, за что и призван к порядку. Пора бы этим скандалам прекратиться!»

Генерал Толь — командованию 4-го корпуса:

«Отдаленность, в которой мы находимся от вас, не позволяет мне давать вам подробные наставления и потому предоставляю совершенно вашему благоразумию употребить все те средства, которые клониться могут к скорейшему прекращению беспорядков…

Я еще повторяю, что сила оружия должна быть употреблена без всяких переговоров: происшествие 14-го числа в Петербурге, коему я был свидетель, лучшим служит для нас примером».

В Публичной библиотеке в Ленинграде хранится евангелие издания 1819 года в переплете, оклеенном темно-красной бумагой. Мачеха, Прасковья Васильевна Муравьева-Апостол, пошлет его в Петропавловскую крепость Матвею Ивановичу. На чистых страницах — заметки на французском языке рукою заключенного. Сто лет спустя заметки эти уж почти совсем стерлись и выцвели; специалистам удалось их разобрать лишь после многих часов, затраченных на восстановление текста.

На одной из страниц — хронологические записи:

«24 декабря 1825 года.

25 декабря (пятница). Мы приезжаем в Житомир.

26 (суббота). У Александра Муравьева в Троянове.

27 (воскресенье). В Любаре. У Артамона Муравьева.

28 (понедельник). В Троянове — Гебель. Я неповинен, как и Сергей, в этом ужасном происшествии!!

29 (вторник). В Ковалевке.

30 (среда). В Василькове.

31 (четверг). Ипполит приезжает в Васильков и решается остаться с нами, вопреки моим уговорам. Мы отправляемся в Мотовиловку.

1 января 1826 г. (пятница). Мы провели день в Мотовиловке.

2 января (суббота). Мы ночуем в Пологах. Вечером у меня продолжительный разговор с Ипполитом о судьбе человека».

Всего неделя прошла с тех пор, как Сергей сидел за

рождественским столом у генерала Рота. Другая эра, другой год. И вот — продолжительный разговор с Ипполитом.

Нельзя ли услышать из него хоть несколько слов?

Кажется, их можно найти на страницах того же тюремного евангелия.

Что же такое, наконец, жизнь, чтобы стоило ее оплакивать?

День за днем и час за часом…

Что один приносит нам, то отнимает другой…

Отдых, труд… болезнь и немного мечты…

Чуть ниже:

«Самыми сладостными мгновениями своей жизни я обязан дружбе, которую питаю к родным».

«Хороший день всегда производит на меня сильное впечатление — тогда я начинаю сомневаться в существовании зла, — все в природе полно такой гармонии. Как прекрасна весна в саду в Хомутце во время цветения плодовых деревьев! Но эти радости души требуют участия другого существа — и когда привык жить в другом, и когда его уже нет…

Я всегда завидовал смерти Сократа; я убежден, что в последнее мгновение душа начинает постигать то, что раньше было от нее скрыто.

Когда находишься между возможностью сохранить жизнь и позором, то это напоминает, что надо собраться в путь, — даже для тех, кто нас все еще любит…

Единственное благо побежденных — не надеяться ни на какое спасение…»

Мы едва различаем Ипполита после его эффектного появления на Васильковской площади, после клятвы с Кузьминым, когда были отпущены почтовые лошади. Осторожно переводя тюремные записи старшего брата на вольный еще язык 2 января, помня о настроениях Матвея до и во время восстания («Что делать?» — «Оставить нас…»), мы угадываем примерно такой разговор с Ипполитом.

Дело проиграно, гибель, вероятно, близка. Во всяком случае, благо — ни на что не надеяться. Но накануне гибели «душа постигает сокрытое». И если так, то, может быть, именно в эти несчастные часы судьба или бог, в которого верит Матвей, дарят им высшее, но короткое счастье: братья вместе, чего не было много лет, близки, как никогда. Появление Ипполита — судьба! Судьба все, что будет завтра. Жизнь не стоит оплакивать. Но «прекрасная вещь» — найти свое назначение, как бы печально оно ни было. Все трое его нашли, — значит, вечер 2 января прекрасен. Брат Сергей счастлив, вчера в Мотовиловке говорил о счастливейших минутах. Матвею хуже, труднее. Он не может так,

как Сергей, отдаться делу, восстанию; он думает и говорит о «сладости дружбы», *о другом существе*. Конечно, в тот вечер говорили о Хомутце; и, наверное, Матвей рассказывает Ипполиту о своей любви (в другой эре, месяц назад!). «Жить в другом» — все же подарок судьбы.

Еще запись Матвея: «Как бы я был счастлив умереть вблизи своих — окруженный друзьями. Я не боялся бы смерти, ибо я всегда уповал на бога. Душа моя будет с ними, ибо она их любила».

Матвей боится только одного и, наверное, сходится в том с Ипполитом: боится остаться один; если братья погибнут — он один.

Мысли Матвея о самоубийстве знает Сергей, знает Бестужев-Рюмин. Клятва не убивать себя была взята еще два года назад и повторена на днях. Но Ипполит, наверное, говорил или думал в тот вечер о своей смерти, Разговор с братом, должно быть, связан с тем, что он сделает всего через несколько часов, в чем клялся Кузьмину; *победить или умереть*. Не зная даже ясно, что это такое — победа, смерть, такие люди порою чувствуют нечто большее; так же как Ромео и Джульетта знали о любви такое, что позабыли бы лет через десять и не вспомнили бы даже в самые радостные или тревожные минуты… Не стоит спорить и сравнивать мудрость в 20 и 40 лет: они разные, и только избранным иногда удается сохранить первую, приобретя вторую.

Наверное, Ипполит в ту ночь и не сомневается, что знает наперед приговор судьбы: только два решения, и в 19 лет трудно переубедить, что есть еще, к примеру, третье — уйти в Сибирь, вернуться оттуда 50-летним человеком…

Но не быть 50-летию и не быть 20-летию.

Плутарх: «Тут кто-то промолвил, что медлить дольше нельзя и надо бежать, и Брут, поднявшись, отозвался: „Вот именно, бежать, и как можно скорее. Но только с помощью рук, а не ног“. Храня вид безмятежный и даже радостный, он простился со всеми по очереди и сказал, что для него было огромною удачей убедиться в искренности каждого из друзей. Судьбу, продолжал Брут, он может упрекать только за жестокость к его отечеству, потому что сам он счастливее своих победителей, — не только был счастливее вчера или позавчера, но и сегодня счастливее: он оставляет по себе славу высокой нравственной доблести, какой победителям ни оружием, ни богатствами не стяжать, ибо никогда не умрет мнение, что людям порочным и несправедливым, которые погубили справедливых и честных, править государством не подобает».

Поговорили, может быть, вздремнули немного, и пришло 3 января.

3 января

Но жалок тот, кто все предвидит,
Чья не кружится голова,
Кто все движенья, все слова
В их переводе ненавидит,
Чье сердце опыт остудил
И забываться запретил!

Последние строки IV главы «Евгения Онегина», написанные в Михайловском 3 января 1826 г.

«Я мог действовать трояким образом…» 3 января в 4 часа утра, задолго до восхода зимнего солнца, Черниговский полк пускается в третью, последнюю дорогу: на Житомир, через Трилесы — то самое село, куда прискакали пять дней назад и где Гебель с жандармами был сначала охотником, а потом дичью.

Круг замыкается — более ста верст по скользким дорогам, по замершим в рождественской зимней тишине украинским селам.

Мятеж не может кончиться удачей,
В противном случае его зовут иначе…

Семичасовой путь — и в 11 утра отдых в деревне Ковалевке.

«Ковалевка — село на левой стороне Камянки, тянется с *Устимовкою* (так называется крайняя к югу часть села) на пространстве 4-х верст. Отстоит от Фастова в 12, а от Белой Церкви в 20 верстах… В Устимовке бывают ярмарки по воскресеньям через каждые две недели. Здесь есть древнее замковище или городище четырехугольное с земляным валом, трех саженей высоты. Деревянная церковь во имя равноапостольного князя Владимира построена в 1753 году».

Ковалевка, 3 января, 11 часов.

Муравьев потребовал под квитанцию хлеба и водки для нижних чинов. Управитель доставил солдатам всего в изобилии; пригласил Сергея Муравьева и офицеров к себе на обед и угощал их радушно.

Гостеприимный эконом Пиотровский принимает старых знакомых — Муравьевых-Апостолов, Щепиллу, а также Ракузу и Грохольского. Из шести гостей двое обедают в последний раз.

О чем говорили за столом — догадываемся, так как знаем, чем занялись после еды. Щепилло первый сказал и все согласились, что надо сжечь бумаги.

Полковые бумаги, в том числе приказы Гебелю из Петербурга об их аресте, циркуляры о содействии жандармам со стороны всех гражданских и военных властей; среди бумаг письма Муравьевых, захваченные Гебелем и отнятые у Гебеля: в тех письмах Васильков, Каменка, Киев; Пестель, Волконский и другие южане, а также Хомутец, Обуховка, Кибинцы, сестры, соседи, мадемуазель Хилкова, мадемуазель Гюене.

Бумаг было так много, что «одними варили кофе, другие оставляли» (из воспоминаний участников). «Количество сожженных бумаг было так значительно, что небезопасно от пожара» (из донесения васильковского исправника).

Бумаги сожжены, прошлого почти не осталось, будущего немного. В час дня — поход на Трилесы.

«Его превосходительству начальнику Главного штаба 1-й армии.

Имею честь представить относительно штабс-ротмистра Ушакова, полка принца Оранского, задержанного мятежниками в Василькове и затем отпущенного, следующие разъяснения…

3-го января за несколько минут до моего выступления из Трилес туда прибыл первый эскадрон Оранского полка (в котором состоит Ушаков); офицеры этого эскадрона собрались в том доме, где я остановился, и тут случилось, что названного полка штабс-ротмистр Трубецкой, бывший в этот день при мне дежурным адъютантом, сказал в разговоре с этими офицерами, что вот-де эти подлецы и изменники наделали нам сколько хлопот; на это Ушаков спросил его, почему он этих людей называет такими позорными именами. Я, слыша этот разговор издали, из второй комнаты, приказал арестовать этого офицера и отправить его обратно в Сквиру; но затем по его собственной просьбе и по заступничеству других офицеров, разрешил ему остаться при эскадроне, убедившись, что он сказал это по глупости и вообще никак не может быть опасен. Названный Ушаков вообще человек чрезвычайно ограниченный; однако, я сказал ему, что он должен принять на будущее время во внимание, что я буду иметь за ним личное наблюдение и без всякого снисхождения сам собственной рукой убью его, если только замечу в нем какую-нибудь двойственность.

Генерал-майор барон Гейсмар».

Мы наблюдаем за Ушаковым — обыкновенным офицером, случайно попавшим в историю южного восстания, не состоявшим в обществе, но, конечно, как все, много слыхавшим, «среднестатистическим» офицером, который, если б восстание разгорелось… Но которому надо жить, служить.

Генерал Гейсмар с пушками и четырьмя сотнями гусар идет от Трилес к Ковалевке.

«Дорога, лежащая вправо, из Ковалевки в Трилесы идет через деревни Пилиничинцы, Фаменовку и Королевну; они соединяются между собою и составляют как бы одно селение до самых Трилес, влево дорога лежит через деревню Устиновку». Иван Сухинов говорит, что надо идти через деревни, — войска, судя по всему, близко: «Между солдатами распространился слух, будто бы пушечное ядро убило в обозе крестьянина с лошадью. Никто не слыхал выстрела, нигде не было видно не только орудий, но даже ни одного неприятельского солдата, между тем в колонне произошло волнение и солдаты начали толковать, спорить, теряясь в догадках. Офицеры старались их успокоить, уверяя, что сип новости не что иное, как выдумка какого-нибудь труса или лгуна».

В деревне можно защищаться против гусаров стрелками; вряд ли конный отряд решится атаковать между домами и садами. Однако командует Сергей Муравьев-Апостол, который «для сокращения пути избрал дорогу, проложенную прямо через степь».

Здесь они как на ладони, и если не успеют в Трилесы, то сделаются легкой добычей гусаров и артиллерии. И все же — полк идет открытой снежной степью. Только для сокращения пути? Неужели Сергей Иванович такой плохой полководец?

Нет, все сложнее. Наверное, и потому идут степью, что здесь последняя надежда: те увидят, не будут стрелять, побратаются, а если идти деревнями, скрываясь, тогда бой и кровь неизбежны.

Через степь — по военной логике — безумие.

Через степь — по мятежной логике — последний шанс.

«Едва колонна вышла и сделала не более четверти версты, как пушечный выстрел поразил слух изумленных солдат, которые увидели в довольно значительном расстоянии орудия, прикрытые гусарами. За сим выстрелом вскоре последовало несколько других, по ни один из оных не причинил ни малейшего вреда колонне — может быть стреляли холостыми зарядами. Полк шел вперед».

Через 10–20 лет на сибирской каторге и поселениях многие гадали (и Горбачевский записывал): были первые залпы

холостыми или боевыми. Склонялись к тому, что холостыми…

Так и ушли в могилу южные декабристы, не узнав точно; а стреляли, конечно, сразу же боевыми. Документы, обнаруженные сто лет спустя, не оставляют сомнений…

Но те, кто шел за пушками и знал, что с самого начала пущена картечь, те попали в ловушку собственного многознания.

Мятежный полк, в боевом порядке, готовый к бою, по без единого выстрела, идет прямо на пушки: 866 человек, и рядом с людьми и несколькими лошадьми бежит легавая собака Муравьева-Апостола…

Генерал Михайловский-Данилевский:

«Когда Черниговский полк увидел себя в необходимости пробиваться сквозь гусар, против них стоявших, то, построившись в каре, он пошел с примерным мужеством на них; офицеры находились впереди. Я это слышал от того самого гусарского подполковника, который командовал эскадронами, посланными против Муравьева; он присовокупил, что он удивлялся храбрости черниговских солдат и опасался даже в одно время, чтобы они не отбили орудий, из которых по ним действовали, ибо они подошли к ним на самое близкое расстояние».

К тому же черниговцы радуются, догадавшись, какая часть перед ними: конно-артиллерийская рота под командой члена тайного общества Пыхачева; стрелять не будут!

Гусарам их командиры втолковывают, что идут сотни грабителей, и гусары верят.

Черниговцы верят, что свои стрелять не будут.

Солдаты каждой стороны одушевлены мифом о противнике.

«Но сей порыв оживленного мужества был остановлен действительными выстрелами».

Впереди полка — шесть своих офицеров и два «чужих» — Бестужев-Рюмин, Ипполит Муравьев. Матвей — во фраке, где-то сзади.

Он запишет через полвека: «В 1860 году, жительствуя в Твери, я только тогда узнал, что Пыхачев, накануне того дня, когда его рота выступила против нас, был арестован».

Кто-то ввел Матвея Муравьева в заблуждение, возможно, сам Пыхачев через третьих лиц. Дата его ареста сейчас точно известна: 11 января, 8 дней спустя; арест не привел к серьезным карам — несколько месяцев крепости и обратно в армию…

Капитан Пыхачев 3-го числа — в поле, и его пушки хорошо стреляют.

Картечь бьет в людей. Сергей хочет скомандовать — новый выстрел ранит его в голову; поручик Щепилло и несколько

рядовых падают мертвыми. «Муравьев стоял как бы оглушенный; кровь текла по его лицу; он собрал все силы и хотел сделать нужные распоряжения, но солдаты, видя его окровавленным, поколебались: первый взвод бросил ружья и рассыпался по полю; второй следовал его примеру; прочие, остановись сами собою, кажется, готовились дорого продать свою жизнь. Несколько метких картечных выстрелов переменили сие намерение. Действие их было убийственно: множество солдат умерли в рядах Своих товарищей. Кузьмин, Ипполит Муравьев были ранены, Быстрицкий получил сильную контузию, от которой едва мог держаться на ногах. Мужество солдат колебалось: Сухинов, Кузьмин и Соловьев употребляла все усилия к возбуждению в них прежних надежд и бодрости. Последний, желая собою подать пример и одушевить их своей храбростью, показывал явное презрение к жизни, становился под самые картечные выстрелы и звал их вперед, но все было тщетно. Вид убитых и раненых, отсутствие Сергея Муравьева нанесли решительный удар мужеству восставших черниговцев: они, бросив ружья, побежали в разные стороны».

Соловьев и Быстрицкий (чьи рассказы записаны Горбачевским) видят не все поле. Например, не помнят, что Матвей пошел назад, как говорил после, искать фельдшера, чтобы перевязать братьев. Бьется и воет изуродованная картечью собака Муравьева. В это время из-за пушек показываются гусары.

Генерал Гейсмар — генералу Роту:

«Не могу при этом не прибавить, что в деле с мятежниками, и даже во время атаки, Ушаков вел себя, как то подобает верному слуге его величества государя; я тем более мог это заметить, что сам был во главе этого эскадрона и произвел с ними первую атаку на изменников».

Биография обыкновенного офицера Ушакова приобретает «среднестатистические» очертания…

В это самое время Соловьев, увидя недалеко от себя Сергея Ивановича, медленно идущего к обозу, подбежал к нему, чтобы помочь. «Муравьев был в некотором роде помешательства; он не узнавал Соловьева и на все вопросы отвечал:

— Где мой брат, где брат?»

Соловьев берет его за руку и пробует вести. Бестужев-Рюмин бросается к Муравьеву, осыпает поцелуями и утешениями. «Вместе с Бестужевым приблизился к ним один рядовой первой мушкетерской роты. Отчаяние изображалось на его лице, вид Муравьева привел его в исступление, ругательные слова полились из дрожащих от ярости уст его.

— Обманщик! — вскричал он наконец и с сим словом хотел заколоть С. Муравьева штыком. Изумленный таковым покушением, Соловьев закрыл собою Муравьева.

— Оставь нас, спасайся! — закричал он мушкетеру, — или ты дорого заплатишь за свою дерзость».

Только когда Соловьев схватил лежащее на земле ружье, «бешеный солдат удалился, не сказав ни слова… Когда надежды успеха исчезли, Ипполит Муравьев, раненый, истекая кровью, отошел несколько шагов от рокового места, и почти в то же самое время, когда гусар наскочил на него, он прострелил себе череп и упал мертвый к ногам лошади гусара. По приказанию генерала Гейсмара, гусары окружили офицеров и раненых солдат и отобрали от них оружие».

Сохранилось предание, что тот «бешеный солдат» кричал Муравьеву: «Заварил кашу, кушай с нами», а на следствии показал, что препятствовал бегству Сергея Муравьева и за то будто бы произведен в унтеры…

Сергей Муравьев на следствии:

«Когда же я пришел в себя, нашел батальон совершенно расстроенным и был захвачен самими солдатами в то время, когда хотел сесть верхом, чтобы стараться собрать их; захватившие меня солдаты привели меня и Бестужева к Мариупольскому эскадрону, куда вскоре привели и брата и остальных офицеров».

Командир хочет как-то выгородить солдат.

Бестужев-Рюмин на следствии:

«Муравьев предпочел лучше пожертвовать собой, чем начать междоусобную войну. Он заставил войска сложить оружие. Ни одного ружейного выстрела не было произведено… Картечный залп поверг Муравьева. Тогда я повторил приказ рассеяться и, подняв Муравьева, пошел с пим навстречу гусарам, которым мы сдались».

Следователи вцепились в противоречие: сами офицеры сдались или солдаты их сдали?

Бестужев-Рюмин хочет, чтобы все было, как сказал Сергей Иванович (ведь они, по словам Пестеля, «собственно говоря, составляют одного человека»), и поэтому соединяет обе версии:

«Мы, не говоря ни слова, оба почти без чувств шли, не зная сами куда. Между тем колонна расстроилась, и гусары стали подъезжать к оной. Тогда некоторые солдаты Черниговского полка кинулись на нас и, вероятно, хотели тащить навстречу гусарам. Но один гусарский офицер подскакал к нам, мы ему сдались».

Матвей ничего не видит и только после, с чужих слов,

сообщает, будто Сергей успел сказать солдатам, что «виноват перед ними, возбудив надежду на успех», и что «стал махать белым платком». Следствие не будет углубляться в эти подробности, но в приговоре Сергею будет фраза: «*Взят с оружием в руках*».

«Ипполит, полагая, что брат убит, застрелился…» — но откуда Матвей знает, какова последняя мысль Ипполита? Может быть — из вчерашнего разговора о *судьбе*?

Те же, кто был под огнем, решили, что молодой Муравьев застрелился, чтобы не сдаться: ведь клялся…

Вряд ли когда-нибудь появится книга о младшем брате: 19-летняя жизнь оставила всего несколько следов в документах, преданиях. Трехлетний мальчуган, которого везут к отцу через наполеоновскую Европу, смутные воспоминания о похоронах матери, отец, любимые братья и сестры, корпус, идеи, первое и последнее самостоятельное путешествие. Где-то рядом были стихи, горе, радость, первые увлечения — не знаем. 3 января 1826 года — смерть.

«Ах, как славно мы умрем!» — восклицал перед 14 декабря молодой декабрист и поэт Александр Одоевский. Но на Сенатской площади пули и картечь пощадили офицеров — юноши ушли в Сибирь, чтобы там остаться или вернуться стариками.

«Ах, как славно мы умрем!» Самый молодой из погибших в 1826-м — Ипполит Муравьев-Апостол, который был моложе даже самого Бестужева-Рюмина…

Соловьев на каторге рассказывает друзьям, что около 60 солдат, а также 12 крестьян, находившихся в обозе, были убиты или тяжело ранены. «Быстрицкий получил сильную контузию в правую ногу; шинель Бестужева была прострелена в нескольких местах. Это служит доказательством того, под каким убийственным огнем стоял Черниговский полк и сколь мало офицеры думали о своей жизни. Носились слухи, будто бы гусары сделали атаки на безоружных черниговцев и рубили их без пощады. Долг истины заставляет сказать, что сие вовсе несправедливо. Они, догнавши некоторых, окружили; других, разбежавшихся, собирали в одно место. Один только вахмистр начал ругать черниговских офицеров. Соловьев, обратясь к гусарскому поручику, сказал:

— Господин офицер, прикажите этому глупцу молчать.

Офицер полновесною пощечиною заставил вахмистра быть учтивее».

Пощечина, которая непременно была бы запрещена в случае

успеха восставших, вдруг служит им мимолетную службу…

Число убитых показалось черниговцам несколько большим, чем на самом деле, но раненых хватает… Имена убитых солдат занесены в реестр: Исак Акусов, Мин Юрий, Юрий Юрий, Степан Иванов, Никифор Епифанов, Ефим Михайлов. Первые три, возможно, из чувашей или других приволжских народов. Нелегко было начальству установить фамилии солдат, которые не только фамилий, но и отчества не имели: видно, не добившись толку насчет батюшки солдата Юрия, его имя просто удвоили. И так должен Юрий Юрий уйти в землю — без молитвы и креста, как государственный изменник, и в этом уравненный с офицерами-дворянами Михаилом Щепиллой и Ипполитом Муравьевым-Апостолом (к которым через несколько часов присоединится еще один).

Шестерых офицеров да разжалованных Ракузу и Грохольского везут в Трилесы, куда черниговцы хотели прийти в строю и откуда все начиналось. Кузьмин, в отличие от всех, шутит, смеется, но велит товарищам не объявлять конвою о его ране, чтобы не осмотрели и не нашли пистолета в рукаве шинели. «Рана моя легкая, я вылечусь без перевязки и пластыря». И действительно, вылечился: в корчме, согревшись, тихонько простился с друзьями и снес себе пулей полчерепа. Старый пистолет Кузьмина помог Ипполиту; пистолет Ипполита — Кузьмину. От выстрела все караульные разбежались, и арестанты едва их успокоили. Вскоре явился гусарский офицер и просил, чтобы арестованные «не погубили их, что они не знают, как отделаться за смерть Кузьмина, который мог застрелиться только потому, что они по деликатности не хотели исполнить своей обязанности». Матвей Муравьев никогда не забывал этих минут, когда «от выстрела, сделанного Кузьминым, с братом повторился обморок, которому он уже несколько раз до того подвергался, вследствие потери крови от неперевязанной раны… Сначала начальник конвоя долго не соглашался на нашу просьбу дозволить нам проститься с братом нашим Ипполитом, потом повел нас к нежилой, довольно просторной хате. На полу лежали голые тела убитых, в числе их и брат наш Ипполит. Лицо его не было обезображено пистолетным выстрелом, на левой щеке под глазом заметна была небольшая опухоль, выражение лица было гордо-спокойное. Я помог раненому брату Сергею стать на колени; поглядели на нашего Ипполита, помолились богу и дали последний поцелуй нашему убитому брату».

Сейчас они в полубреду; бой, раны еще отнимают внимание, не дают сосредоточиться на потере, ощущение настоящего горя придет позже, когда раны заживут и будет много свободного

времени.

Достоевский заметил, что пытки облегчали участь казнимого, так как мешали ему сосредоточиться на своей судьбе…

Помещик Руликовский:

«Когда васильковский исправник прибыл в Трилесы, то военные власти поручили ему похоронить убитых. Похоронили их в одной большой яме в давнем кургане, вблизи сельской околицы и кладбища, при дороге из Трилес на Наволочь, и в напоминание, что тут лежат христиане, поставили крест на их могиле. Со временем приказом Сената было запрещено отдавать почести погибшим повстанцам, но крест этот остался там и позднее».

Исправник: «Убитых четырех рядовых и означенных трех офицеров предал земле».

1925 год. По поручению Киевского музея революции в Трилесы выезжает исследователь декабристского движения В. М. Базилевич. Суховатый язык официального научного акта, вероятно, передает в этом случае больше, чем самое искусное повествование: «На месте выяснилось, что в селе имеются четыре кладбища… Осмотр был начат с более старого. Оно оказалось в стороне от дороги и не у околицы села.

Во время осмотра его житель с. Трилесы К. С. Якивец сообщил, что незадолго перед тем при добывании глины был раскопан курган у выезда из села. При этом в кургане было найдено четыре скелета. Скелеты лежали в беспорядке, никаких предметов найдено не было, один из черепов был сильно поврежден, на другом, с хорошо сохранившимися зубами, было видно отверстие от пули.

Эти данные совпадали с сообщением источников — тела были брошены в могилу голыми, череп декабриста А. Д. Кузьмина снесен при самоубийстве, юный Ипполит Муравьев-Апостол застрелился.

Личный осмотр раскопанного кургана прибавил и другие признаки, совпадающие с указаниями источников… На месте раскопок при осмотре было найдено несколько человеческих костей. Черепа же из кургана, по словам Якивца, были снова закопаны крестьянами в другом месте.

Таким образом, все данные говорят за то, что разрытая при добывании глины могила — братская могила декабристов, участников восстания Черниговского полка. То обстоятельство, что было найдено только четыре скелета, а не семь, как следовало бы, исходя из данных источников, можно объяснить тем, что или не весь курган раскопан и остальные скелеты еще не обнаружены,

или, что они были найдены раньше, так как добывание глины в данном месте, по словам жителей села, носит длительный характер»…

Тридцать одна вина

Я старший был пятью годами
И вынесть больше брата мог.
В цепях, за душными стенами
Я уцелел — он изнемог.
……
Нам тошен был и мрак темницы,
И сквозь решетки свет денницы,
И стражи клик, и звон цепей,
И легкий шум залетной птицы.

Пушкин. «Братья разбойники»

Волны от удара, землетрясения — во все стороны. Пленных черниговских офицеров по дороге расспрашивают конвоирующие их гусары и, когда узнают цель и намерения восставших, тотчас начинают лучше обращаться с арестантами, жалеют, что не знали всего этого прежде: их уверили, будто Черниговский полк взбунтовался для того, чтобы безнаказанно грабить. Гусары простодушно уверяли пленников, что при малейшем сопротивлении Муравьева, при первом ружейном залпе они обратились бы назад и не стали бы действовать против него.

Генерал Рот приезжает 4 января посмотреть на захваченного Муравьева, которого в последний раз видел у себя за обедом десять дней назад. Очевидец вспоминает, что Рот «ужасно гневался на Гейсмара за то, что он, по силе данного ему предписания, не дождался его, Рота, прибытия и дерзнул без него одержать блистательную победу над бунтовщиками». Тем не менее Рот посылает в штаб армии капитана Стиха с извещением о своем успехе. Это донесение Рота отправляется в Петербург из Могилева с тем же Стихом, а в столице «так были осчастливлены развязкою этой несчастной истории, что Стих произведен в подполковники, а сам Рот получил ленту Александра Невского».

Генерал-майор Гейсмар посылает тут же в штаб армии жалобу на Рота: «О том, что я был лицом, командовавшим так называемым средним отрядом, упомянуть о котором генерал, по-видимому, счел излишним».

По всей округе разъезжают гусарские и жандармские отряды

в поисках убежавшего Ивана Сухинова. Тот пытается застрелиться, но неудачно, бежать за границу — тоже без успеха. В конце концов он через два месяца захвачен в Кишиневе; по дороге в штаб армии над ним издевается частный пристав, и неистовый Сухинов хватает со стола нож, как прежде обнажал саблю:

«— Я тебя, каналью, положу с одного удара, мне один раз отвечать, но твоя смерть послужит примером другим мошенникам, подобным тебе.

Испуганный полицейский чиновник упал на колени и, дрожа весь от страха, просил прощения во всех оскорблениях, нанесенных им Сухинову; обещал впредь быть вежливым и делать все, что от него будет зависеть. Частный пристав сдержал свое слово, от Житомира до Могилева заботился о Суханове как о своем родном».

Жандармы обшаривают Хомутец и Обуховку. Испуганные коммерсанты и помещики пробираются на киевские «контракты», на которых уж многих нет, кто сходился здесь в прежние годы, а теперь под охраной проносятся мимо.

Иван Матвеевич в Петербурге еще не знает о восстании и по-прежнему читает в своем кругу по-гречески и старофранцузски. 877 солдат ждут, кого простят, кого — на Кавказ, кого — сквозь строй, кого — еще хуже. А на их кандалы уже потрачено 100 пудов железа, пожертвованных спасенной графиней Браницкой.

Главнокомандующий 2-й армией Витгенштейн регулярно доносит из Тульчина, что «прапорщик Ипполит Муравьев-Апостол еще не прибыл сюда и где теперь находится — неизвестно».

В двух избах у Белой Церкви, где размещены пленные офицеры, в Киеве, Полтаве, Кибинцах, Могилеве, Москве, Петербурге уже начаты те разговоры, которым не было и не будет конца:

— Отчего неудача? Отчего черниговцы так медлили? А если б пошли на Киев? Почему в Испании Риэго имел больший успех? Почему… Почему… А если бы…

Волны уходят от центра удара, не возвращаясь.

Сергея Апостола и других везут. В тюремном евангелии Матвея: «4 января (понедельник). Мы прибываем в Белую Церковь, где меня разлучают с Сергеем». Затем другими чернилами позже дописано: *«…которого я уже больше не видел до самой моей смерти».*

«В разговоре с подполковником Сергеем Муравьевым усмотрел я большую закоснелость зла, ибо сделав ему вопросы: как вы могли предпринять возмущение с горстью людей? Вы, которые по молодости вашей в службе не имели никакой военной

славы, которая могла бы дать вес в глазах подчиненных ваших: как могли вы решиться на сие предприятие? Вы надеялись на содействие других полков, вероятно потому, что имели в оных сообщников: не в надежде ли вы были на какое-нибудь высшее по заслугам и чинам известное лицо, которое бы при общем возмущении должно было бы принять главное начальство. — На все сии вопросы отвечал он, что готов дать истинный ответ на все то, что до него касается, по что до других лиц относится, того он никогда не обнаружит, и утверждал, что все возмущение Черниговского полка было им одним сделано, без предварительного на то приготовления. — По мнению моему надобно будет с большим терпением его спрашивать».

Рапортует из Могилева в Петербург начальник штаба 1-й армии генерал-адъютант Толь. Сквозь штампованные обороты пробиваются отзвуки живого разговора — удивление важного генерала, как можно восставать, «не имея никакой военной славы… веса в глазах подчиненных»? Наверное, еще пренебрежительнее разговаривали с участником единственного в своей жизни сражения подпоручиком Бестужевым-Рюминым. О нем в том же рапорте: «Подобно Муравьеву, усовершенствованный закоснелый злодей, потому что посредством его имели сообщники свои сношения; и он по делам их был в беспрестанных разъездах; ему должны быть известны все изгибы и замыслы сего коварного общества».

Разговор был грубым, жестким. Если слово «злодей» несколько раз появляется в рапорте Толя, то, понятно, начальник не стеснялся и в разговоре, так же как престарелый и «заболевший от огорчения» главнокомандующий 1-й армией Остен-Сакен…

«Могилев. При названии этого города должно вспомнить русскому своего мученика Муравьева-Апостола: когда его скованного привели перед Остен-Сакеном, и когда Сакен стал бесноваться, вмешивая красные слова, то Муравьев потряс оковы от сдержанного волнения, плюнул на Сакена и повернулся к выходу (из рассказа старого капитана, конвоировавшего Муравьева до Петербурга)».

Эти строки были опубликованы 35 лет спустя в герценовской газете «Колокол»; их прислал один из тайных корреспондентов-поляков.

Было так или легенда?

Могло быть. Другие заключенные свидетельствовали, что начальство 1-й армии, «собственно, не допрашивало, а ругалось». В этом случае Сакен был крайне заинтересован скрыть плевок,

бесчестие и не упоминать о том нигде… Но возможно, что «рассказ старого капитана» — увеличенный отпечаток действительного разговора, резкого, раздражительного.

Начальник штаба армии генерал Толь — начальнику главного штаба Дибичу в Петербург.

«Привезенный сюда глава мятежников подполковник Сергей Муравьев, также Полтавского полка поручик Бестужев-Рюмин. Оба сии последние отправляются в С. Петербург; Муравьев в ведении старшего адъютанта подполковника Носова и с штаб-лекарем Нагумовичем, дабы на пути пользовать рану его и иметь всякую предосторожность, чтоб злодея сего доставить в С. Петербург живого».

Пять лет не были в столице после семеновского дела. Тогда 24-летний капитан и 17-летний юнкер ехали тою же дорогой, только в обратном направлении; меньше месяца назад по ней ехал Ипполит; восемь месяцев назад — тот пушкинский прапорщик, появлявшийся в отрывке «Записки молодого человека».

Пока приговор не вынесен, арестованных именуют: «Господин подполковник Муравьев», «Господин подпоручик Бестужев-Рюмин…»

От Могилева до Петербурга пять дней. Двумя днями раньше везут брата Матвея…

Бестужева-Рюмина привозят в полдень 14 января. Генерал Левашов снимает первый допрос, молодого человека запирают в крепость и пять дней не тревожат.

Сергея Муравьева сначала — в Главный штаб, тоже встреча с Левашовым, а поздно ночью 20-го везут во дворец. Три дня назад Левашов, очевидно при царе, допрашивал Матвея. Подавленное настроение старшего Муравьева замечено. Этот тип заключенного уже не раз встречался за прошедший месяц.

Для начала старшему брату разрешено написать отцу — будто подслушали тот, последний разговор с Ипполитом — о любимом существе и счастье общения с ним: четыре дня спустя Матвей Иванович дает подробные показания:

«Одним только точным повествованием всего того, что происходило в моей совести, могу выразить и глубину моего раскаяния и признательность, коею я проникнут оказанною мне государем императором милостию, что дозволено мне писать к моему отцу. Вы мне дозволили, Ваше превосходительство, адресоваться к вам. Я намерен продолжить несвязное повествование, начатое в прошлое воскресенье. И умоляю о снисхождении к тому, у которого при душевном унынии и мысли не иначе могут следовать, как с трудом и память помрачается».

Матвей понятен. Теперь — Сергей. И ему на другой день, 21-го, разрешают писать к отцу:

«Мой дорогой и добрый батюшка! Сам государь был так милостив, что позволил мне писать вам, и я его благословляю от всего сердца, потому что этим он дает мне возможность, которой я всячески домогался и которой, конечно бы, не получил, — испросить у вас на коленях прощения за все горести, которые я вам доставил в печальное, только что протекшее время. Поверьте мне, дорогой батюшка, сердце мое сжимается, когда только вспомню о глубокой скорби, которую вы должны были пережить; но ради бога, простите меня, не откажите в этой милости сыну, обращающемуся к вам с полным раскаянием и надеющемуся еще на снисходительность отца, даже когда он теряет право на снисходительность других. Мой бедный брат Матвей достойнее меня, потому что он последовал за мной в деле, которому не сочувствовал, единственно чтобы не разлучать своей участи от моей. Я вам объявляю это, дорогой батюшка, потому что это правда; все поведение Матвея было только делом дружественной преданности, и мне приятно ознакомить вас ближе со всей чистотой его характера. Я прошу прощения у матушки. Я возблагодарил ее только горем за всю любовь, которою она всегда меня окружала, и за ее ласки ко всем нам. Клянусь, однако, что был бы счастлив, если бы жизнь доставила мне случай не одними словами доказать ей преданность и благодарность, которые не перестану питать к ней. Прошу также прощения у доброй моей Екатерины и Бибикова; благодарю их за постоянную их дружбу ко мне и от всего сердца молю бога, чтобы он сохранил их и детей их. Обращаюсь с тою же просьбой и теми же желаниями к моей доброй Анюте, к Елене; крепко целую дорогих моих Дунюшку, Лизыньку и Васиньку: в них вы найдете, дорогой мой и достойнейший батюшка, все утешения, которые мы должны были бы вам доставить. Мне необходимо, дорогой батюшка, чтобы nu уверили меня в вашем прощении, чтобы вы сказали, что не отказываете в вашем благословении; эта уверенность даст мне возможность перенести мою судьбу, какая бы она на была. Позвольте мне также просить вас сохранить на память обо мне перстень, который я носил и который находится теперь в моих пожитках. Я уверен, что вам не откажут в нем, если вы попросите. Этот перстень был дан мне Матвеем и никогда не покидал меня в течение пяти лет. Пусть он напоминает вам сына, которым вы некогда гордились, мой милый и добрый отец, сына, достававшего вам много горя, за которое он на коленях вымаливает ваше прощение, уверяя вас, что несмотря на все, никогда не переставал глубоко любить и уважать вас. Целую ваши

руки.

Покорный ваш сын Сергей Муравьев-Апостол».

Подписав письмо, Сергей Муравьев еще просит отца в постскриптуме позаботиться о служивших ему людях, о «двух сиротах», которых он усыновил и которые «теперь в Хомутце». Наконец, желает, чтобы прислали Евангелие: «Напишите своей рукой на первой странице, что вы меня прощаете и даете свое благословение».

Обратим пока внимание на одну фразу: «Если б жизнь мне доставила случай не одними словами доказать… преданность и благодарность», то есть «если буду жив» (надежда, появившаяся после встречи с царем).

Николай I: «Никита Муравьев был образец закоснелого злодея».

Из продолжения этой записи, сделанной несколько лет спустя, видно, что царь перепутал Муравьевых, подразумевая Сергея Муравьева-Апостола: «Одаренный необыкновенным умом, получивший отличное образование, но на заграничный лад, он был в своих мыслях дерзок и самонадеян до сумасшествия, но вместе скрытен и необыкновенно тверд. Тяжело раненный в голову, когда был взят с оружием в руках, его привезли закованного. Здесь сняли с него цепи и привели ко мне. Ослабленный от тяжкой рапы и оков, он едва мог ходить. Знав его в Семеновском полку ловким офицером, я ему сказал, что мне тем тяжелее видеть старого товарища в таком горестном положении, что прежде его лично знал за офицера, которого покойный государь отличал, что теперь ему ясно должно быть, до какой степени он преступен, что — причиной несчастия многих невинных жертв, и увещал ничего не скрывать и не усугублять своей вины упорством. Он едва стоял; мы его посадили и начали допрашивать. С полной откровенностью он стал рассказывать весь план действий и связи свои. Когда он все высказал, я ему отвечал:

— Объясните мне, Муравьев, как вы, человек умный, образованный, могли хоть одну секунду до того забыться, чтобы считать ваше предприятие сбыточным, а не тем, что есть — преступным, злодейским сумасбродством?

Он попик голову, ничего не отвечая…

Когда допрос кончился, Левашов и я, мы должны были его поднять и вести под руки».

Легенда: «При допросе императором Николаем Сергей Муравьев так резко высказал тягостное положение России, что Николай протянул ему руку и предложил ему помилование, если он впредь ничего против него не предпримет. Сергей Муравьев отказался от всякого помилования, говоря, что именно и

восставал против произвола и потому никакой произвольной пощады не примет».

Другая редакция той же легенды, записанная в семье декабриста Ивашева (со слов Матвея Ивановича):

«Во время допроса царем… Сергей Муравьев-Апостол стал бесстрашно говорить царю правду, описывая в сильных выражениях внутреннее положение России; Николай I, пораженный смелыми и искренними словами Муравьева, протянул ему руку, сказав:

— Муравьев, забудем все, служи мне.

Но Муравьев-Апостол, заложив руки за спину, не подал своей государю»…

Не было, конечно, такой сцены. Но мы ведь и не знаем, что на самом деле царь обещал в ночь на 21 января. Только можем угадывать из письма Сергея Муравьева, отправленного пять дней спустя:

«Государь.

Пользуясь личным разрешением вашего императорского величества представить непосредственно вам все, что я мог бы добавить к сделанным уже мною показаниям, я позволяю себе сообщить еще следующие подробности».

Затем идут некоторые факты о польском обществе, об армии.

«Подтверждаю еще раз мое показание о том, что ни я сам и никто из знакомых мне членов никогда не воздействовал на солдат ни путем приема их в общество, ни путем каких-нибудь особых присяг, ни прочими способами. Единственной системой, проводившейся в отношения их, было старание привязать их к себе, проявляя к ним интерес и снабжая их деньгами для удовлетворения их нужд… Армия всегда будет подвержена волнениям, пока существуют такие источники ее недовольства…

Что касается лично меня, то если мне будет дозволено выразить вашему величеству единственное желание, имеющееся у меня в настоящее время, то таковым является мое стремление употребить на пользу отечества дарованные мне небом способности; в особенности же если бы я мог рассчитывать на то, что я могу внушить сколько-нибудь доверия, я бы осмелился ходатайствовать перед вашим величеством об отправлении меня в одну из тех отдаленных и рискованных экспедиций, для которых ваша обширная империя представляет столько возможностей — либо на юг, к Каспийскому и Аральскому морю, либо к южной границе Сибири, еще столь мало исследованной,

либо, наконец, в наши американские колонии. Какая бы задача ни была на меня возложена, по ревностному исполнению ее, ваше величество, убедитесь в том, что на мое слово можно положиться.

Единственная милость, которую я осмеливаюсь просить у вашего величества, как благодеяния, которое никогда не изгладится из моего сердца, это разрешение мне соединиться с братом.

Благоволите, государь, милостиво отнестись к просьбе…»

Заниматься рассуждениями на тему, что Муравьев указал на меньшее число фактов, чем другие, не станем.

Показания дает, не молчит; царь в беседе «лично разрешил» представлять сведения непосредственно ему самому. За месяц с лишним Николай I очень многое узнал, и желающему «запереться» невыносимо трудно: он обложен чужими показаниями со всех сторон, да еще намекают, что, оспаривая ответы друзей, ухудшаешь их положение.

Но если Сергей Муравьев разговаривает с царем, как не повторить, что армия недовольна своим положением и поэтому легко поддается агитации; повторить надо — вдруг что-то улучшится, и, конечно, об этом уже говорилось ночью 20-го, и ровесник закованного (старший всего на три месяца и три дня), император, конечно, искусно поддерживал разговор, даже как будто соглашался, вздыхал о солдатах. И, как позднее на допросах Каховского или в беседе с Пушкиным, привезенным из Михайловского, царь сказал что-то вроде «крайне жаль, когда такие способные люди употребляют свои таланты не за, а против власти, и что было бы прекрасно теперь объединить усилия». Муравьеву дана надежда.

След этого обещания наблюдается даже в царском воспоминании («Муравьев… одаренный необыкновенным умом… отличное образование»), и Муравьев, пожалуй, отзывается на эти царские слова, когда пишет «дарованные мне небом способности», lie стал бы он так наивно говорить о рискованных восточных экспедициях, если б ему не *намекнули*: пиши и о своих желаниях. И он начинает: «Что касается меня, единственное желание…» И еще: «Милость соединиться с братом».

Разрешение говорить о себе, намек на будущую «общую службу» — все это, умноженное в несколько раз слухами и воображением, дает легендарный итог: «Николай протянул ему руку и предложил ему помилование».

Царь и подполковник расходятся почти что довольные друг другом. На Сергея Муравьева в следующие педели и месяцы не будут кричать, не будут надевать железа, он будет давать показания.

Но его тяжкое печальное отступление будет все же происходить «в боевом порядке»; он не выйдет из спокойного, стоического, римского, философского настроения; в основном, на девять десятых, подтвердит то, что скажут другие, и, как это ни парадоксально и трагично, его последние месяцы отчасти облегчены тем, как много власть уже узнала до его появления перед следователями: с 14 декабря по 20 января список арестованных уже почти исчерпан.

И все же с Муравьевым-Апостолом — один разговор, а с Михаилом Бестужевым-Рюминым — юным, пылким, легко переходящим от подъема к отчаянию — разговор совсем иной.

Бестужев-Рюмин — царю, 26 января:

«Государь.

Я много наблюдал и хотел бы представить вам свои наблюдения. Единственная милость, о которой я хотел бы вас просить, — не принуждать меня назвать вам имена лиц, — и взамен этого я имел намерение умолять ваше величество сделать меня ответственным за все то, что могли замышлять члены Общества, в котором я состоял. Я всегда думал и сейчас полагаю, что вожди, пригодные к осуществлению революции, значительно важнее, чем лица, которые впервые возымели замысел осуществить ее… Позавчера вечером, вынуждаемый назвать имена, подавленный строгостью вашего величества, я был как одурманенный. Но не страх смерти действовал на меня. Много людей могут вам подтвердить, что только любовь к родителям привязывала меня к жизни, давно уже потерявшей прелесть. Но, государь, строгое обращение со мной, боязнь подвергнуть тому же других, уверенность, что это повергнет множество семей в отчаяние, все эти соображения привели меня в состояние упадка духа, от которого я в настоящее время с трудом пытаюсь отрешиться, хотя, чем больше я думаю, тем больше убеждаюсь, что бесполезные строгости внушают вам отвращение.

Государь, я вас умоляю даровать мне еще аудиенцию, но как милости прошу вас о том, чтобы вы не наводили на меня страх. Размышляя о людях, ваше величество должны знать, что можно не бояться смерти и, однако, смущаться от одного разговора с человеком — и не тогда даже, когда говоришь со своим государем. Может быть, в дальнейшем вы уверитесь, что отсутствие чувства мне не свойственно и что, не требуя ничего для себя, я могу быть полезным моему отечеству, для которого вы можете быть благодетелем, сохраняя всю свою власть…»

«Позавчера», значит, царь кричал, «наводил страх». Новой аудиенции, однако, Бестужеву не дают.

Через день он обратится к одному из главных следователей, генералу *Чернышеву:*

«Генерал, благоволите испросить у Комитета, чтобы он соизволил разрешить мне отвечать по-французски, потому что я, к стыду своему, должен признаться, что более привык к этому языку, чем к русскому».

Ответ: «Отказано, с строгим подтверждением через коменданта, чтобы непременно отвечал на русском языке».

Тут дело не только в том, что затруднялось делопроизводство (писари Комитета наделали бы массу ошибок, если б разбирали французские строки): Николай I нарочито подчеркивает национальный характер власти, здесь уже виднеются будущие — «православие, самодержавие, народность»; вот-де каковы эти бунтари-освободители, по-русски не знают.

Соседи Бестужева-Рюмина вспоминали, что по ночам из его камеры доносился беспрерывный шелест страниц: в поисках точного перевода с французского на русский перелистывались словари. Александр Одоевский не мог перестукиваться по системе, изобретенной его товарищами, так как не знал на память русского алфавита.

Но Одоевский писал прекрасные русские стихи, а живой ум и одаренность Бестужева-Рюмина хорошо видны даже в его официальных показаниях…

Плохо ему пришлось на следствии, тяжелее, чем другим; и если изобрести некую «единицу тюремной тяжести» — число допросов, очных ставок и прочее, деленное на число лет допрашиваемого, — то, наверное, было ему тяжелее всех.

11 февраля Следственный комитет постановляет:

«Бестужеву-Рюмину объявлено высочайшее повеление, что по замеченным в ответах его увертками и уклонениям от истины положили: заковав его, дать ему вновь допросные пункты».

Вскоре была исчерпана милость Ивану Матвеевичу — военный министр сообщает коменданту крепости: «Сергею Муравьеву писем не писать».

«Из России приходят печальные вести. В этом проклятом заговоре замешаны также знаменитые писатели Пушкин и Муравьев-Апостол. Первый — лучший стихотворец, второй — лучший прозаик. Без сомнения оба поплатятся головой». Так в феврале 1826 года представляются дела одному чешскому литератору, который смешал Сергея Ивановича, Ивана Матвеевича, Александра Сергеевича и других, но в главном не ошибается. «Печальные вести»…

Шли месяцы; по камерам больше 500 заключенных; допросы Пестеля, Бестужева-Рюмина, Сергея, Матвея, Славян, Северян.

Никому не весело, но Матвею и Бестужеву-Рюмину труднее, чем Сергею, ибо Сергей нашел в те месяцы особую линию поведения, по-видимому, наиболее точно соответствовавшую его характеру. Лишнего не говорит, но и не отпирается. В показаниях его не найти слов вроде «не скажу», «умолчу», отвечает на все вопросы, если не помнит, то, по-видимому, действительно не помнит: «Показание брата Матвея, что члены на последнем совещании в Лещине подтвердили торжественно честным словом принятое уже до того решение непременно действовать в 1826-м году, справедливо, и я, кажется, так же показал сие обстоятельство в моих ответах. Показание же полковника Давыдова о мнимой присяге Артамона Муравьева на евангелии посягнуть на жизнь государя не основательно».

Сожалеет, но не кается и, по-видимому, внушает определенное уважение даже следователям: все ясно, взят с оружием в руках, умел восстать — умеет ответ держать.

В обращенных к нему «вопросных пунктах» и в других документах Следственного комитета встречаются иногда несколько необычные обороты:

«1826 года 3-го февраля, высочайше учрежденный следственный комитет требует от г. подполковника Сергея Муравьева-Апостола следующего показания:

В дополнение вчерашнего показания своего объясните, с свойственным вам чистосердечием, сие…» и т. д.

5 апреля. «Допрашивали Черниговского пехотного полка подполковника Сергея Муравьева-Апостола… Пояснил некоторые обстоятельства, но вообще более оказал искренности в собственных своих показаниях, нежели в подтверждении прочих, и очевидно принимал на себя все то, в чем его обвиняют другие, не желая оправдаться опровержением их показаний. В заключение изт>-явил, что раскаивается только в том, что вовлек других, особенно нижних чинов, в бедствие, но намерение свое продолжает почитать благим и чистым, в чем бог один его судить может, и что составляет единственное его утешение в теперешнем положении. Положили: дать ему допросные пункты».

Комитету обидно, конечно, что «только бог судить может». Сергей Иванович же точно и ясно соединяет две мысли: об исполнении и намерениях.

Намерение благородно, исполнение печально: и солдат он повел, иногда прибегая к вымыслу («царь Константин», другие полки «обязательно помогут»), и братья гибнут, и сам не сделает, что мог («лишь пред концом моим, внезапно озаренный, узнает мир, кого лишился он»). Однако ни разу извинение, сожаление о содеянном не просачивается в тот непроницаемый отсек души,

где находится его *идея.*

Мы знаем, как в тюрьме письменно формировалась эта мысль: на чистых страницах или обложке Евангелия, которое было у Сергея в крепости. Возможно, это было то самое Евангелие, что он просил у отца, или так же, как Матвей, получил его от мачехи (наверное, это было примерно в одно время, логично, что две книжки посланы сразу обоим братьям).

Книжка до нас не дошла, но Матвей, вернувшись из ссылки, видел ее или по крайней мере знал записи, которые делал там Сергей, его *тюремный дневник:*

«Одно только *намерение* составляет *виновность. Действия,* как действия, *ничего* не доказывают, потому что можно сделать много зла с самыми лучшими намерениями и принести много добра с самыми превратными намерениями. Что виновность вытекает из намерений, а не из. действий, это до того справедливо, что главная трудность в обязанности *судей* состоит не только в том, что они должны быть беспристрастны, но должны обладать кроме того достаточной проницательностью, чтобы быть в состоянии проникать, на сколько возможно, в намерения подсудимого сквозь целый ряд доказанных фактов, и даже эта произвольная власть судить *действия и намерения* казалась до того неимоверною и выше человеческих сил, что есть страны, которые разделили *судопроизводство* на суд присяжных и судей, из которых первый есть *судья намерений,* а вторые только *применители* закона. Эти рассуждения покажутся многим глупостями, не стоющими внимания. Для судопроизводства же дело гораздо проще. По их понятиям, это действительно ложе Прокруста, которое всем впору, кто ни попадет на него, естественным ли образом или нет, что до того! Однако выходит ли из всего сказанного нами, что так как намерения каждого известны ему одному только, то хорошее судопроизводство должно требовать от каждого подсудимого самооправдания? Конечно нет! Потому что мало людей имели бы духу к откровенному признанию, и даже можно сказать, что самые невинные и чистые скорее чем развращенные, были бы способнее обвинить и осудить себя. Но без сомнения *суждения* людей подвержены все *погрешности, колебанию* и *только приблизительны;* чем они *решительнее,* тем более они плод ничтожества и беспечности и тем они ближе к *заблуждению.* Великая ответственность лежит на каждом судье; эта ответственность увеличивается в размере с произвольной властью, данной судье, и следовательно *снисходительность, милость и любовь* не только самые благородные, но и самые разумные и твердые основания приговоров. И вот мы доходим до

нравоучений Евангелия… Эта книга нам тоже возвещает *великий суд*, исправляющий все остальные. Она нам возвещает, что некогда наш божественный спаситель (единственный праведный судья, так как, испытуя сердца, судит действия по намерению) придет, окруженный славою, воздать *каждому по делам его*… Будем же все надеяться и бояться этого дня, который обличит *намерения каждого!»*

Как видно, он чуть ли не жалеет судей, глубоко сочувствует судьям. И царя жалко — он еще «ближе к заблуждению». Кажется, будто Апостол снова на площади Василькова толкует свой Катехизис:

«Великий суд… Для чего бог создал человека?

— Для того, чтоб он был свободен и счастлив… Закон божий гласит: да первый из вас послужит вам».

Как причудливо и противоречиво сталкиваются и отталкиваются разные идеи!.. Судить по намерению — вот чего хочет сейчас Муравьев; но сам же, как и его единомышленники, хотел в случае победы ввести современный суд, который будет воздавать более по делам, чем по умыслу; за «дурные намерения» издревле преследовали людей тираны, церковное право.

Это так. Но сейчас ведь — суд тиранический, произвольный; для него благое дело — это худое дело; какой же приговор, если в задачу подсудимых входило, в частности, сломать этот самый суд? Поэтому, говорит Муравьев, лучше вернемся «назад» — оценим намерения! Конечно, и в этом случае невозможна большая объективность, но при сложившейся ситуации, он думает, лучше, честнее воздать по намерению, чем по содеянному…

А следователи-судьи, собственно говоря, не против. Они и судят большинство декабристов за намерение (например, намерение к цареубийству). Пестеля, к примеру, арестовали до всякого действия, его «вина», большая, чем у других, состоит в намерениях; но Комитет не смущается и осудит любого с любой стороны — по делам, по умыслам…

Впрочем, Сергей Иванович уже сам вынес себе приговор, и остальное, в сущности, не очень даже ему интересно и важно. Это высокий уровень самосознания: пусть вы правы в ваших оценках, у меня — свои.

Самые близкие к нему люди не могут удержаться на этом уровне. Если б он, Сергей, мог хоть час с ними поговорить…

Бестужев-Рюмин: «Сделано было мне предложение вступить в Общество; я имел безрассудность согласиться. Все остальное (как люди глубокомысленные легко поймут) было неминуемое

последствие первого пагубного шага. Угрожаемый бедою, уплачивая себя софизмами, я ревностно содействовал скорейшему достижению желаемой цели — не видя, что самый успех наш был бы пагубен для нас и для России. Но мне определено было раскрыть глаза уже в оковах».

Матвей Муравьев: «Удостойте обратить внимание на прискорбное и ужасное влияние, которое оказывает Тайное общество на членов, которые хотели бы уйти из него. Можно сравнить это с ролью, которую играла судьба в трагедиях древнего мира. Напрасно хочешь уйти — покинув путь долга, вы осуждены вращаться в порочном кругу, который вновь приводит вас к той точке, от которой вы хотели бежать. Экзальтация погубила меня».

Экзальтация — это Бестужев-Рюмин, его дар слова, который гипнотизировал Соединенных славян и был «музыкой» тайного общества. Но в дни упадка молодость духа оборачивается некоей странной, талантливой, страшной искренностью.

«Обвиняемый многими, не будучи в состоянии дать неопровержимые доказательства ложности их утверждения, я предпочел лучше согласиться, чем оставить у Комитета малейшее сомнение в моей искренности. Я не хочу, чтобы сказали, что я упорствую по той причине, что не применяются пытки. Но я вам представлю несколько соображений, таких, что ваше превосходительство, обремененный важными делами, почувствует себя спокойно, что эти данные не имеют основания…

Ваше превосходительство, благоволите извинить меня за то, что я все изложил не столь хорошо, как это требовалось бы. Столько несчастий изнурили бы душу, более сильную, чем моя».

Речь шла о том, соглашались Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин на убийство только одного царя или всего семейства? Следователи вникают тут в каждую деталь: доказанное намерение к цареубийству им нужно было для вящего обвинения; интересуются средствами, чтобы не говорить о цели. Об отмене рабства и конституции спрашивают едва-едва, между делом, а «дело» — выяснить, что за планы загорались и гасли в Москве, Бобруйске, Лещине, Белой Церкви?

По этому поводу устраивались очные ставки Сергея Муравьева с Пестелем, и они впервые увиделись после тех, давних встреч на свободе…

Тогда же Сергею предъявляют показания, что за несколько дней до восстания в Житомире он просил поляков убить Константина. Показания брата Матвея.

Сергей мог бы отказаться, и тогда дали бы очную ставку с братом, и встретились бы. Возможно, если бы понимал, что

никогда им не свидеться, пошел бы на этот прием. Однако прямодушие спорить с братом не позволяет.

Сергей: «Сие показание брата совершенно справедливо; я, с своей стороны, желал скрыть показанное им обстоятельство, ибо это единственный случай, в который я отступил от правила, мною руководствовавшего во все время нахождения моего в Обществе».

Был случай таким же путем увидеться со «вторым я» — Мишелем Бестужевым-Рюминым. Показания о тайных переговорах с поляками разошлись, предлагается очная ставка, но «подполковник Сергей Муравьев-Апостол, не допуская до очной ставки, подтвердил показание подпоручика Бестужева-Рюмина».

Муравьев не увидел в тот весенний день друга, закованного в цепи, но они еще встретятся.

Сергей Иванович еще просил прощения у отца… Много лет спустя Матвей запишет: «Лица, принадлежавшие к тайному обществу, привезенные в Петербург, являлись к Николаю, который сказал, что отец нас проклял. Зная своего отца, я не поверил этим словам».

Но Матвей Иванович смущен. Как видно, на Евангелии, которое вернулось от Сергея на волю, Иван Матвеевич не написал того прощения, которого просил у него сын. Царь, вероятно, знал о каких-то словах сенатора Муравьева-Апостола, не одобрявших замысла сыновей…

Не слышим — угадываем отца в эти дни: один сын погиб, двое — у края могилы, зять чуть не убит соратниками сыновей и сейчас участвует в разборе обвиняющих бумаг. Иван Матвеевич, кажется, всю жизнь учил добру, чести, но каков же капитан, если команда, им воспитанная, тонет? Учил быть честными — и они восприняли, да думал ли он, что так серьезно воспримут, думал ли, что сам, тысячу раз не желая, десять тысяч раз подтолкнул их, своим эпикурейским равнодушием, спокойствием, может быть, усилил их пылкое беспокойство?

Если отец не пришлет утешающих слов, Сергей найдет их сам, но страшится за Матвея и Бестужева, за брата особенно, из них троих слабейшего.

Из тюремных записей в Евангелии Матвея:

«Как я благодарен вам за ваше Евангелие! Сколько раз смотрел я на два восковых пятна на переплете, и что за воспоминания они во мне возбудили: круглый стол в Хомутце, наше вечернее чтение… все это кончено для меня — для меня нет больше счастья на земле. О, господи! сократи мой путь и призови меня скорее. Я больше ни к чему не буду годен. Я знал дружбу в здешней жизни и у меня нет более друга. Те, что дружески расположены ко мне, должны радоваться, когда узнают, что я

оставил юдоль скорби. Что касается меня, то я мог бы все перенести, может быть, даже мужественно, но…»

Несчастный гость на жизненном пиру
Я жил лишь день — и умираю,
И над моей могилой, как умру,
Никто слезы не выронит, я знаю…

29-летний французский поэт Николай Жильбер написал эти строки за восемь дней до смертельного падения с лошади…

Как другой поэт, Матвей «был рожден для жизни мирной»: «Близ Хорола в Хомутце, там, где разветвляется дорога из Хомутца в Бакумовку и Обуховку, есть источник; по малороссийскому обычаю здесь стоит деревянный крест. Возвращаясь, я отдыхал у креста, и там бы я хотел быть похороненным.

Я дорожу воспоминаниями о своих. Но по воле судьбы я родился и умер в Петербурге. Я убежден, что мои дорогие Екатерина, Анна, Елена не забудут меня. Для Дуняши, Лизаньки и для самого Васиньки я буду лишь воспоминанием детства…

Брат Ипполит скончался 3 января 1826 года в воскресенье в три часа пополудни, похоронен в деревне Трилесы Киевской губернии.

Брат Матюша (зачеркнуто: „февраля“) марта (пропущено место для цифры) 1826 года в (оставлено место для названия города).

Брат…»

Последняя строчка как открытая могила: Матвей даже боится вписать имя Сергея.

Предпоследние строки обличают намерение к самоубийству.

Сергей догадывается обо всем этом, помнит прежние порывы брата — решить все разом и, кажется, находит способ ободрить его в горчайшие дни. Перед пасхой, которая должна была вызвать рой полтавских воспоминаний, силы Матвея почти кончились. В страстную пятницу он пишет Чернышеву, самому грубому и жестокому из следователей:

«Во имя бога, умершего за нас на кресте, во имя тех, кого вы любили и кого больше нет, я умоляю, ваше превосходительство, не откажите мне в единственной милости, которую я осмеливаюсь еще просить». Просит же он снисхождения за то, что должен ради покоя — своего и близких — «освободить землю от своего присутствия… Смерть сгладит все».

Попытка окончить жизнь голодовкой вызывает появление в камере протоиерея Петра Мысловского.

Спор об этом человеке не окончен. Большинство декабристов сохранило о нем лучшие воспоминания. Несомненно, он жалел их, многих ободрил и не мог бороться с возрастающим уважением и симпатией к некоторым из «грешных душ», переданных ему для очищения. Но были также арестанты, уверенные, что Мысловский выдает властям тайну исповеди.

Самое вероятное, что было *и то и другое.* Человек и чиновник не разлучались в протоиерее, он на службе и по службе доложит Чернышеву:

«Вследствие приказания, вчерась данного мне вашим превосходительством, я, не теряя ни минуты, тотчас отправился в назначенное место… я нашел несчастного гораздо в спокойнейшем духе, нежели мог ожидать. Он даже отрекся начисто от последних слов и намерений, в избытке скорби сорвавшихся с языка его… Я имею причину думать, что воображение его, сильно возбужденное горьким одиночеством, с коим он не был знаком во всю жизнь свою, а паче — упреки совести сухие и палящие, суть единственною причиною душевных его волнений и мятежа. Три часа, мною у него проведенные, достаточны, чтобы успеть заглянуть во внутренние изгибы сердца его. Сию минуту паки отправляюсь я к злополучному и — более, нежели когда-либо, вменяю себе в обязанность почасту посещать его. О дальнейших последствиях буду иметь честь аккуратно извещать ваше превосходительство…

С неумирающим чувством благоговения честь имею пребыть вашего превосходительства всепокорнейший слуга Казанского собора ключарь *Петр Мысловский.*

18 апреля Царь суббот, праздник праздников».

В тот единственный день, когда Сергею разрешают написать Матвею, он будет говорить в основном против самоубийства; безусловно, младший брат знал про опасное намерение Матвея, знал от Мысловского. Священник, не раз делавший маленькие подарки узникам и посетивший на пасхе всех подопечных, несомненно, шепнул Матвею пару слов от Сергея…

К Сергею же Мысловский заходит не столько ободрять, сколько ободряться.

В «Русской старине» в 1873 году появился следующий рассказ, записанный со слов Матвея:

«Отцу позволили посетить Сергея Ивановича в тюрьме. Старый дипломат сильно огорчился, увидев сына в забрызганном кровью мундире, с раздробленной головой.

„Я пришлю тебе, — сказал старик, — другое платье“, „Не нужно, — ответил заключенный, — я умру с пятнами крови,

пролитой за отечество“».

Рассказ несколько патетичен. Мундир на Сергее был действительно тот, в котором его взяли, и пятна крови могли сохраниться, но голова за полгода, конечно, зажила.

Эту же историю похоже, но правдивее, грубее, точнее передает Софья Капнист, как мы знаем, довольно точная мемуаристка. У себя в Обуховке они, печалясь, ждут вестей. Беспокоятся не только за Матвея, Сергея; здесь же их сестра Елена, уже вошедшая в семью Капнистов, неподалеку, в Бакумовке, другая сестра — Анна. Все вести из столицы приходят от сестры Екатерины Бибиковой:

«Екатерина Ивановна описывала и трогательную сцену последнего свидания и прощания отца с несчастными сыновьями; получив повеление выехать за границу, он тогда же испросил позволение увидеть сыновей своих и проститься с ними.

С ужасом ожидал он их прихода в присутственной зале; Матвей Иванович, первый явившись к нему, выбритый и прилично одетый, бросился со слезами обнимать его; не будучи в числе первых преступников и надеясь на милость царя, он старался утешить отца надеждою скорого свидания. Но когда явился любимец отца, несчастный Сергей Иванович, обросший бородою, в изношенном и изорванном платье, старику сделалось дурно, он, весь дрожащий, подошел к нему и, обнимая его, с отчаянием сказал: „В каком ужасном положении я тебя вижу! Зачем ты, как брат твой, не написал, чтобы прислать тебе все, что нужно?“

Он со свойственной ему твердостью духа отвечал, указывая на свое изношенное платье: „Mon père, cela me suffira!“ то есть, что „для жизни моей этого достаточно будет!“ Неизвестно, чем и как кончилась эта тяжкая и горестная сцена прощания навеки отца в преклонных летах с сыновьями, которых он нежно любил и достоинствами коих так справедливо гордился!»

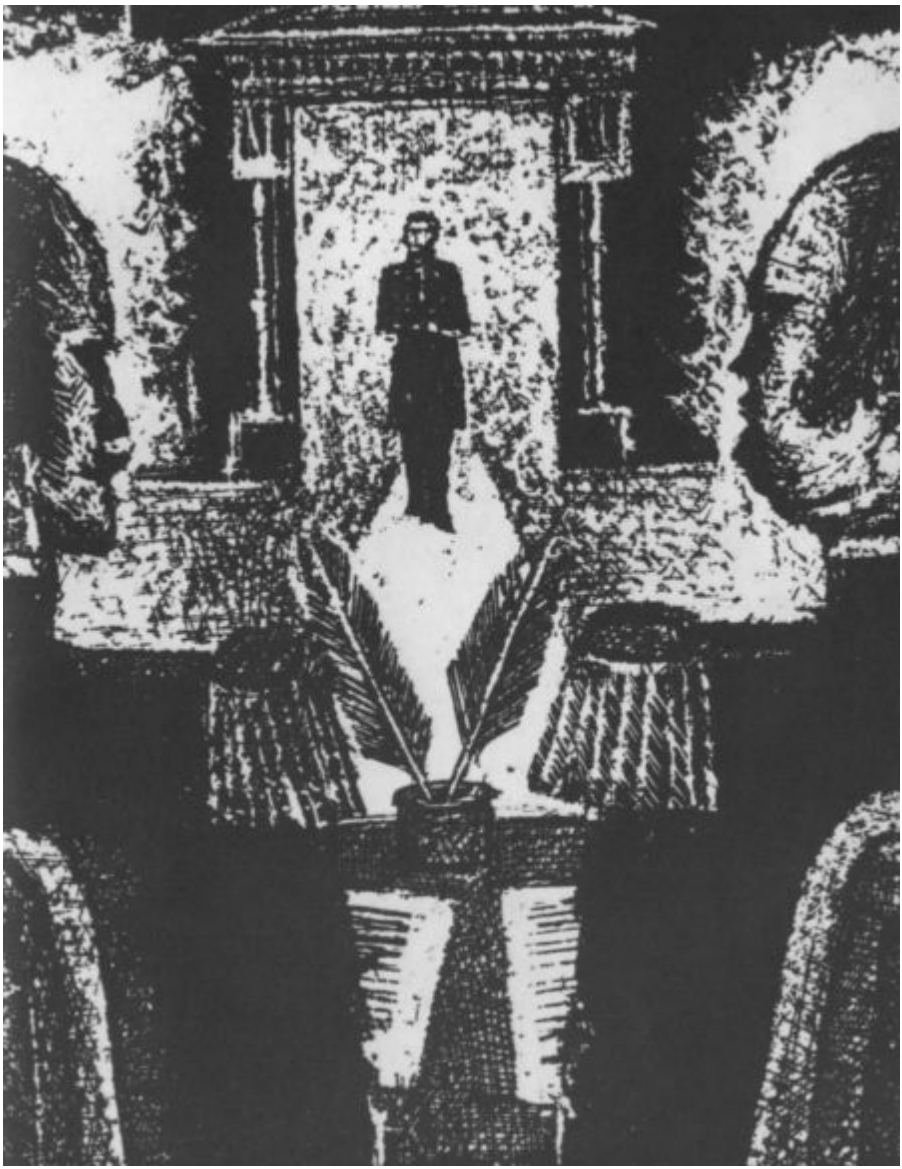
Не кровь — но изношенное платье; *с меня будет* — вместо *умру с пятнами крови, пролитой за отечество.*

Смысл сцены не меняется, но высокие слова прямо не высказаны.

Дело было 13 мая 1826 года.

С приближением лета «Санкт-Петербургские ведомости» печатают все более длинные списки отправляющихся в Европу, и если не знать никаких дополнительных фактов, то может показаться, будто на воды или для заграничных развлечений отъезжает, к примеру, генерал от артиллерии Аракчеев (объявление в газете от 11 мая); но мы-то понимаем, что в повое

царствование его фортуна кончилась, и ему вообще лучше держаться подальше при окончании процесса над декабристами, мечтавшими свести с этим генералом счеты, и не портить своим унылым видом предстоящую коронацию (куда не пригласить его нельзя, а приглашать нежелательно)…



Через три дня в газете от 14 мая: «Отъезжает тайный советник, сенатор, действительный камергер и кавалер Муравьев-Апостол, с супругой Прасковьей Васильевной и малолетними детьми Евдокией, Елисаветой и Васильем; при них камердинер Карл Ион, саксонский подданный, и дворовые люди Иван Кононов и Евдокея

Брызгова. Спрос на Исаакиевской площади в доме Кусовнинова».

И еще дважды, как полагается, объявление повторено, чтобы кредиторы и прочие заинтересованные лица могли успеть в предъявлении Ивану Матвеевичу своих претензий.

Последнее объявление в газете от 21 мая. После этого сенатор мог садиться в карету или на корабль. В эти же дни «Санкт-Петербургские ведомости» упоминают Ивана Матвеевича и в другом разделе: «В книжных лавках Глазунова и Смирдина продается „Путешествие Муравьева-Апостола по Тавриде в 1820 году“, цена 12 рублей, цена с пересылкою — 13 рублей».

В эти дни в крепости уже почти не допрашивают — пишут обобщающие записки, готовят сводное донесение, размышляют о вынесении приговоров.

Отцу дано *повеление* уехать и в связи с этим разрешено свидание с сыновьями. Он слишком крупная персона, слишком замешаны его дети; ясно, что Сенат будет участвовать в решении дела — и как быть с сенатором Муравьевым-Апостолом? Мешает, опасен; сам по себе он — живой протест, даже если не протестует.

Увы, не знаем подробностей — как, кем было сделано предложение об отъезде (скорее всего, кто-то из высших персон передал царское пожелание); не ведаем, что говорил, думал Иван Матвеевич, так долго шедший рядом, близко — в согласии или спорах с детьми.

Иван Матвеевич исчезает.

«Дело Муравьева-Апостола Сергея, подполковника Черниговского полка. 328 листов, последние 32 — чистые».

71 документ. В начале — копия с формулярного списка о службе: чины, сражения, в которых участвовал, награды.

«В штрафах был ли, по суду, без суда, за что именно и когда?

— не бывал.

Холост или женат и имеет ли детей?

— холост.

К повышению достоин или зачем именно не аттестуется?

— За возмущение Черниговского нанка — недостоин.»

Документ № 71, как положено, *«Записка о силе вины».*

На нескольких листах — 31 вина подполковника Муравьева-Апостола.

«Обстоятельств, принадлежащих к ослаблению вины, кроме скорого и добровольного признания при следствии без улик, во всем деле о Сергее Муравьеве не оказывается».

Петля

Темнеет… Куранты запели…
Все стихло в вечернем покое.
Дневные часы отлетели,
Спустилось молчанье ночное.
И время, которое длило
Блаженства земного мгновенья,
Крылом неподвижным накрыло
Печаль моего заточенья.

Тюремные стихи декабриста
Барятинского. Перевод с фр.
яз. М. В. Нечкиной

Утреннее заседание Верховного уголовного суда 30 июня. Подсудимых нет; только судьи: 18 членов Государственного совета, три члена Синода, 15 особо назначенных чиновников, 36 сенаторов.

На утреннем заседании обсуждены пятеро «вне разрядов».

Первым — Павел Пестель.

Вторым — Кондратий Рылеев.

Третий — Сергей Муравьев-Апостол.

Четвертый — Михаил Бестужев-Рюмин.

Пятый — Петр Каховский.

«К смертной казни. Четвертованием».

Все — «за», кроме одного — адмирала Мордвинова, много лет и трудов положившего на то, чтобы не казнили и не пытали.

К смертной казни четвертованием.

Всего за несколько заседаний приговорили: к четвертованию — пятерых, к отсечению головы — 31, к вечной каторге —19, к каторжным работам на 15 и меньше лет — 38, в — ссылку или в солдаты — 27 человек.

Затем — Указ Верховному уголовному суду:

«Рассмотрев доклад о государственных преступниках, от Верховного уголовного суда нам поднесенный, мы находим приговор, оным постановленный, существу дела и силе законов сообразный.

Но силу законов и долг правосудия желая по возможности согласить с чувствами милосердия, признали мы за благо определенные сим преступникам казни и наказания смягчить».

Затем — 12 пунктов, заменяющих отсечение головы — вечной каторгой, вечную каторгу — двадцатью и пятнадцатью годами, а в

конце — пункт XIII:

«XIII. Наконец, участь преступников, здесь не поименованных, кои по тяжести их злодеяний поставлены вне разрядов и вне сравнения с другими, предаю решению Верховного уголовного суда и тому окончательному постановлению, какое о них в сем суде состоится.

Верховный уголовный суд в полном его присутствии имеет объявить осужденным им преступникам как приговор, в нем состоявшийся, так и пощады, от нас им даруемые…

На подлинном собственной его императорского величества рукою подписано тако:

Царское Село *Николай».*

10 июля 1826 года.

12 июля Верховный уголовный суд собирается в Сенате, помолились и отправляются через Неву в крепость в сопровождении двух жандармских эскадронов. В комендантском доме — столы, накрытые красным сукном и «расставленные покоем»; за столом — митрополит, Государственный совет, генералы, сенаторы в красных мундирах, министр юстиции в Андреевской ленте.

Все казематы открываются, и заключенных ведут через задний двор и заднее крыльцо в дом коменданта.

Владимир Штейнгель, как и многие другие декабристы, запомнит, что на большую часть разобщенных прежде узников свидание произвело самое сильное, радостное впечатление. Обнимались, целовались, как воскресшие, спрашивали друг друга: «Что это значит?» Знавшие объясняли, что будут объявлять приговор, сентенцию.

«„Как, разве нас судили?“ — „Уже судили!“ — был ответ. Но первое впечатление так преобладало, что этим никто так сильно не поразился. Все видели, по крайней мере, конец мучительному заточению… Потом начали вводить одними дверьми в присутствие и, по прочтении сентенции и конфирмации обер-секретарем, выпускали в другие. Тут в ближайшей комнате стояли священник протоиерей Петр Мысловский, общий увещатель и духовник; с ним лекарь и два цирюльника с препаратами кровопускания. Их человеколюбивой помощи ни для кого не потребовалось: все были выше понесенного удара. Во время прочтения сентенции в членах Верховного суда не было заметно никакого сострадания, одно любопытство. Некоторые с искривлением лорнетовали и вообще смотрели как на зверей. Легко понять, какое чувство возбуждалось этим в осужденных. Один, именно подполковник Лунин, многих этих господ знавший близко, крутя усы, громко усмехнулся, когда прочли осуждение

на 20 лет в каторжную работу. По объявлении сентенции всех развели уже по другим казематам».

Николай Лорер в эти минуты заметил «почтенную седую голову Н. С. Мордвинова. Он был грустен, и белый платок лежал у него на коленях».

Среди введенных с первой партией один вдруг слышит о себе: «Преступника первого разряда, осужденного к смертной казни, отставного подполковника Матвея Муравьева-Апостола, по уважению чистосердечного его раскаяния, по лишению чинов и дворянства сослать в каторжную работу на двадцать лет и потом на поселение». (Через месяц каторга вообще была с него снята и заменена «вечным поселением».)

Он, конечно, искал во дворе брата, спрашивал: напрасно.

Рядом старинный друг по 1812 году и Семеновскому полку Иван Якушкин: «Матвей был мрачен; он предчувствовал, что ожидало его брата. Кроме Матвея, никто не был мрачен».

Пятерых уже отделили от приговоренных к жизни. Они в разных мирах, им не должно видеться. Да к тому же предусмотрены волнение и ярость, которые могут возникнуть у сотни с лишним осужденных при известии, что среди них — пять смертников.

Но именно в этот день, 12-го, были вызваны и пятеро.

35 лет спустя Михаил Александрович Бестужев вспомнит:

«Это была счастливая случайность. Каждый разряд для слушания сентенции собирался в особые комнаты, кругом уставленные павловскими гренадерами. Дверь из комнаты, где был собран 1-й разряд, распахнулась в ту комнату, где стояли пятеро висельников: я и многие другие бросились к ним. Но мы только успели обняться, нас и разлучили».

В числе тех, кто случайно увидел пятерых, был и Горбачевский. Обняться не успели, но увиделись. Это ведь ему в прошлом году в Лещинском лагере Сергей сказал: «Ежели кто из нас двоих останется в живых, мы должны оставить воспоминания на бумаге».

Как пятеро выслушали известие о четвертовании? Ничего не знаем. Члены Верховного суда не захотели вспоминать, пятерым осталось жить несколько часов…

Бенкендорф: «После того, как государю были представлены разные рукописи Рылеева, он сказал: „Я жалею, что не знал о том, что Рылеев талантливый поэт; мы еще недостаточно богаты талантами, чтобы терять их“».

Вряд ли Бенкендорф выдумал, Николай мог так сказать: этой фразой сразу образуется несколько виноватых, которые не

доложили, что поэт — талантливый… Последнее слово произносит не царь, а Верховный уголовный суд, но сейчас точно известны прямые инструкции Николая, передавшего судьям, что «не согласен ни на какое наказание, связанное с пролитием крови». То есть *повесить.* Через 90 лет внук Николая I великий князь Николай Михайлович напишет специальную статью «Казнь пяти декабристов и Николай I» («внук дерзает объяснить психологию деда»), в которой заметит, что Рылеева, например, даже по правилам того суда можно было не казнить, намекает, что чья-то злая воля сгустила его вину и так поднесли дело монарху. Совершенно искренне, несомненно, опираясь на семейные предания, великий князь перекладывает вину на приближенных, верховных следователей:

«Председатель Следственного комитета Татищев, вполне безличный… Чернышев, Левашов, Голенищев-Кутузов и Потапов известны своим бессердечием и подобострастием, князь Александр Голицын — ханжеством, Д. Н. Блудов — либерализмом на словах и трусостью на деле». Николай Михайлович считает, что только Бенкендорф и брат царя Михаил пытались «смягчить государя».

Впрочем, внук Николая верно отмечает, что сурового приговора требовала императрица-мать: «Еще в период детства и юности (Николая) ему приходилось выслушивать одну и ту же фразу: „Александр никогда не смел наказать убийц своего отца“»…

В образованном обществе 1826 года раздавались, конечно, голоса: «Казнить всех» — и, как известно, Николай мог бы воспользоваться старыми законами 1649 и 1718 годов и убить не пятерых, а 35 и более людей. Но были современники вроде князя Вяземского, которые замечали, что даже в духе *действующих,* крайне плохих законов формально могут быть подведены под высшую меру лишь двое — Каховский (застреливший на Сенатской площади генерала Милорадовича и полковника Стюрлера) и Сергей Муравьев-Апостол, взятый на поле боя с оружием в руках.

Царь назвал имена, выбрал казнь, заставил выговорить это слово других и страшился.

Николай I — матери, из Царского Села:

«Милая и добрая матушка.

Приговор состоялся и объявлен виновным. Не поддается перу, что во мне происходит; у меня какое-то лихорадочное состояние, которое я не могу определить. К этому, с одной стороны, примешано какое-то особое чувство ужаса, а с другой — благодарности господу богу, коему было благоугодно, чтобы этот

отвратительный процесс был доведен до конца. Голова моя положительно идет кругом. Если я добавлю к этому о том количестве писем, которые ко мне ежедневно поступают, одни — полные отчаяния, а другие — написанные в состоянии умопомешательства, то могу вас уверить, любезная матушка, что только одно чувство ужасающего долга на занимаемом посту может заставить меня терпеть все эти муки. Завтра в три часа утра это дело должно совершиться; вечером надеюсь вам сообщить об исходе. Все предосторожности нами приняты, и, полагаясь, как всегда и во всяком деле, на милость божию, мы можем надеяться, что все пройдет спокойно».

Мы не знаем всех «безумных писем», полученных Николаем I; царь был взволнован и недоволен чрезвычайностью меры. Конечно, возражения вроде мордвиновского он слышал и боялся, что чрезвычайная мера может иметь чрезвычайные последствия. Боялся мести, боялся дурного предзнаменования — царство, начатое казнями! Сердился на покойного брата: «Я провел тяжелые сутки, и, проходя через покои нашего ангела, я себе сказал, что за него мне приходится исполнять этот ужасный долг и что всемогущий в своей милости избавил его от этих мучений».

Больше всего мучили родственники осужденных.

12 июля Екатерина Бибикова появляется в Царском Селе и вручает начальнику штаба генералу Дибичу письмо для передачи царю:

«Государь! Я только что узнала, что мой брат Сергей присужден к высшему наказанию. Приговора я не видала, и сердце мое отказывается этому верить. — Но если все же такова его несчастная участь, то благоволите разрешить мне видеть его в последний раз, хотя бы для того, чтобы я имела утешение выслушать его последние пожелания нашему несчастному отцу. Прошу еще об одной милости, государь, — не откажите мне в ней ради бога. Если, к моему вечному горю, слух подтвердится, прикажите выдать мне его смертные останки.

С глубочайшим уважением вашего императорского величества нижайшая подданная *Екатерина Бибикова*, рожд. *Муравьева-Апостол.* Вторник 12 июля».

Дибич — Николаю:

«Сейчас прибыла жена Бибикова, чтобы у ног вашего величества умолять о милости видеть еще раз своих братьев. Я ей указывал на все неудобства и даже ужас этого желания, но она настоятельно просила передать вам прилагаемое письмо. Не смея отказать в просьбе несчастной без приказания вашего величества, я имею честь передать вам эти строки. Увидать своего брата она

могла бы только сегодня вечером.

При этом случае у меня явилась мысль: возможно, что кто-нибудь из приговоренных к смерти захочет открыть какие-нибудь тайны, которых мы не знаем. Если бы что-нибудь подобное случилось, мы оказались бы в нерешимости, можно ли замедлить с карой. Осмеливаюсь просить приказаний вашего величества на подобный случай, полагая, что следовало бы дать согласие на желание осужденного лица, если сообщаемое оказалось бы действительно первостепенной важности. 12 июля 1826 г.».

Ход мысли генерала понятен: разговор сестры с братом вдруг может вызвать осужденного на последнюю откровенность.

Николай — на полях записки Дибича: «Из письма госпожи Бибиковой вы увидите, чего она желает. Я не могу ей отказать в свидании с братом, выдать же ей его тело невозможно; нужно дать ей понять это через мужа. Если бы оказалось, что кто-либо из приговоренных к смерти захочет говорить, его показания можно выслушать; на этот случай я поручаю принять показания Чернышеву. Но казнь отложить можно только в самом крайнем случае; и во всяком случае ее надо исполнить над всеми остальными».

Николай Лорер, старинный приятель Капнистов и Муравьевых-Апостолов, многознающий и памятливый, рассказывает о последней встрече без прикрас. Очевидно, со слов своего постоянного информатора — сторожа Соколова, наблюдавшего свидание в доме петропавловского коменданта:

«Бибикова явилась вся в черном и лишь только завидела брата, то бросилась к нему на шею с таким криком или страшным визгом, что все присутствовавшие были тронуты до глубины души… С нею сделался нервический припадок, и она упала без чувств на руки брата, который сам привел ее в чувство. С большого твердостью и присутствием духа он объявил ей: „Лишь солнце взойдет, меня уже не будет в живых“. И бедная женщина рыдала, обнимая его колени. Комендант, чтоб прекратить эту раздирающую душу сцену, разрознил эти два любящие сердца роковым словом: „Пора“. Ее понесли в экипаж полумертвую, его увели в каземат».

Даже железный комендант Сукин сказал Мысловскому, что «разлука брата с сестрою навсегда была ужасна».

Сергей, очевидно, передал сестре перстень, который спустя 30 лет Матвей увидел на руке младшего брата Василия, и тот отказался его возвратить… Конечно, были сказаны слова для, отца и всех близких. Судя по всему, Сергей Иванович стоически спокоен, сдержан и говорит о том, что дух его свободен и намерение чисто (мотив каждого тюремного письма). Мы даже

уверены в таком его настроении, потому что после свидания с сестрой появляется духовник Петр Мысловский, с которым происходит какая-то особенно откровенная беседа. Видимо, Сергей Иванович исповедуется. Говорит о своих делах, мыслях и грехах с такой искренностью, что поражает, трогает священника. Мысловский признается другим своим подопечным: «Когда вступаю в каземат Сергея Ивановича, то мною овладевает такое же чувство благоговения, как при вшествии в алтарь перед божеской службой».

Сам же Сергей заметит вскоре после исповеди, что «радость, спокойствие, воцарившиеся в душе моей после сей благодатной минуты, дают мне сладостное упование, что жертва моя не отвергнута».

Вот каков был Сергей Муравьев-Апостол: если перед казнью сумел не согнуться, а даже обрести радость, спокойствие, значит, решает он, — это сигнал свыше, что жил правильно, что жертва не напрасна. И значит, в последние часы надо помочь тем, кто не обрел такого равновесия; и таких, он знает, двое: брат Матвей и брат Михаил Бестужев-Рюмин.

К сестре едва ли не последняя просьба — позаботиться о старшем брате, отчаяние которого страшнее, чем собственная участь.

Мы не знаем всех документов, писавшихся в те часы, может быть, о многом просто говорилось, но, по всей видимости, Сергей Муравьев просил начальство о двух вещах:

Посадить его вместе с Бестужевым-Рюминым.

Написать брату.

Обе просьбы были уважены. Двух смертников помещают рядом — в номере 12 (Муравьева) и в номере 16 (Бестужева). Их разделяет перегородка, через которую легко разговаривать. Письмо же Матвею, очевидно, передает протоиерей Мысловский.

Многие юристы, выступавшие против смертной казни, утверждают, будто последние часы и минуты осужден-нога являются для него дополнительным наказанием, не предусмотренным приговором, сознательно вызванной тяжелой психической болезнью. Счастлив тот, у кого есть забота, отвлечение. Сергею Муравьеву есть забота до последних секунд…

Петербургская ночь с 12 на 13 июля. Солнце зашло в 8 часов 34 минуты и снова покажется в 3 часа 26 минут. Чуть-чуть померкшая белая ночь.

Декабрист Розен: «Михаилу Павловичу Бестужеву-Рюмину было только 23 года от роду. Он не мог добровольно расстаться с жизнью, которую только начал. Он метался, как птица в клетке… Нужно было утешать и ободрять его. Смотритель Соколов и

сторожа Шибаев и Трофимов не мешали им громко беседовать, уважая последние минуты жизни осужденных жертв. Жалею, что они не умели мне передать сущности последней их беседы, а только сказали мне, что они все говорили о спасителе Иисусе Христе и о бессмертии души. М. А. Назимов, сидя в 13-м нумере, иногда мог только расслышать, как в последнюю ночь С. И. Муравьев-Апостол в беседе с Бестужевым-Рюминым читал вслух некоторые места из пророчеств и из Нового Завета».

Неужели мы не услышим этой беседы?

Лунин (14 лет спустя, в Сибири):

«В Петропавловской крепости я заключен был в каземате № 7, в Кронверкской куртине, у входа в коридор со сводом. По обе стороны этого коридора поделаны были деревянные временные темницы, по размеру и устройству походившие на клетки; в них заключались политические подсудимые. Пользуясь нерадением или сочувствием тюремщиков, они разговаривали между собою, и говор их, отраженный отзывчивостью свода и деревянных переборок, совокупно, но внятно доходил ко мне. Когда же умолкал шум цепей и затворов, я хорошо слышал, что говорилось на противоположном конце коридора. В одну ночь я не мог заснуть от тяжелого воздуха в каземате, от насекомых и удушливой копоти ночника, — внезапно слух мой был поражен голосом, говорившим следующие стихи:

Задумчив, одинокий,
Я по земле пройду, незнаемый никем.
Лишь пред концом моим,
Внезапно озаренный,
Узнает мир, кого лишился он.

— Кто сочинил эти стихи? — спросил другой голос.

— Сергей Муравьев-Апостол.

Мне суждено было не видать уже на земле этого знаменитого сотрудника, приговоренного умереть на эшафоте за его политические мнения. Это странное и последнее сообщение между нашими умами служит признаком, что он вспомнил обо мне, и предвещанием о скором соединении нашем в мире, где познание истины не требует более ни пожертвований, ни усилий».

Вряд ли кто-либо лучше описал жуткие петропавловские ночи.

Лунин не утверждает, будто стихи читал сам троюродный брат: скорее всего, кто-то из южан, знавший эти строки.

«Лишь пред концом моим…» — речь шла о мире, который

уже будет без них; и с летнего вечера 13 июля, первого вечера, которого им не видеть, этот мир начнет размышлять, *кого лишился он.* И даже в тех случаях, когда мир не станет, не пожелает думать об этом, все равно будет испытывать влияние только что случившегося.

Что бы ни произошло — 14 июля 1826-го, через двадцать лет, сто, тысячу, — все это как-то сплетется с тем, что происходит 13 июля, и этому можно порадоваться; а если радоваться трудно, то об этом стоит задуматься. И Сергей Муравьев убеждает, говорит, заглушает горечь и сожаление, что вовлек в это страшное дело такого живого, нервного, способного на великие взлеты, а сейчас упавшего духом молодого человека.

Декабрист Цебриков: «Бестужеву-Рюмину, конечно, было простительно взгрустнуть о покидаемой жизни. Бестужев-Рюмин был приговорен к смерти. Он даже заплакал, разговаривая с Сергеем Муравьевым-Апостолом, который с стоицизмом древнего римлянина уговаривал его не предаваться отчаянию, а встретить смерть с твердостию, не унижая себя перед толпой, которая будет окружать его, встретить смерть как мученику за правое дело России, утомленной деспотизмом, и в последнюю минуту иметь в памяти справедливый приговор потомства!

Шум от беспрестанной ходьбы по коридору не давал мне все слова ясно слышать Сергея Муравьева-Апостола; но твердый его голос и вообще веденный с Бестужевым-Рюминым его поучительный разговор, заключавший одно наставление и никакого особенного утешения, кроме справедливого отдаленного приговора потомства, был поразительно нов для всех слушавших, и в особенности для меня, готового, кажется, броситься Муравьеву на шею и просить его продолжать разговор, которого слова и до сих пор иногда мне слышатся».

Времени мало: в полночь был Мысловский, через два-три часа поведут, и, может быть, одновременно с наставлениями Бестужеву пишется письмо к брату, и конечно же в нем эхо ночного разговора с другим братом, близкие доводы, может быть, даже сходные обороты речи, потому что брат Матвей может казнить себя сам и в этом отношении равен пяти смертникам.

Сергей — Матвею:

«Любезный друг и брат Матюша… Я испросил позволения написать к тебе сии строки как для того, чтобы разделить с тобою, с другом души моей, товарищем жизни верным и неразлучным от колыбели, также особливо для того, чтобы побеседовать с тобою о предмете важнейшем. Успокой, милый брат, совесть мою на твой счет.

Пробегая умом прошедшие мои заблуждения, я с ужасом

вспоминаю наклонность твою к самоубийству, с ужасом вспоминаю, что я никогда не восставал против нее, как обязан был сие делать по моему убеждению, а еще увеличивал оную разговорами. О, как я бы дорого дал теперь, чтобы богоотступные слова сии не исходили никогда из уст моих! Милый друг Матюша! С тех пор, как я расстался с тобой, я много размышлял о самоубийстве, и все мои размышления, и особливо беседы мои с отцом Петром, и утешительное чтение Евангелия убедили меня, что никогда, ни в каком случае человек не имеет права посягнуть на жизнь свою. Взгляни в Евангелие, кто самоубийца — Иуда, предатель Христа. Иисус, сам кроткий Иисус, называет его *сыном погибельным.* По божественности своей он предвидел, что Иуда довершит гнусный поступок предания гнуснейшим еще самоубийством. В сем поступке Иуды истинно совершалась его погибель; ибо можно ли усумниться, что Христос, жертвуя собою для спасения нашего, Христос, открывший нам в божественном учении, что нет преступления, коего бы истинное раскаяние не загладило перед богом, можно ли усумниться, что Христос не простил бы радостно и самому Иуде, если б раскаяние повергнуло его к ногам спасителя?.. Пред душою самоубийцы отверзнется Книга Судеб, нам неведомых, она увидит, что она безрассудным поступком своим ускорила конец свой земной одним годом, одним месяцем, может быть, одним днем. Она увидит, что отвержением жизни, дарованной ей не для себя, а для пользы ближнего, лишила себя нескольких заслуг, долженствовавших еще украсить венец ее… Христос сам говорит нам, что в доме отца небесного много обителей. Мы должны верить твердо, что душа, бежавшая со своего места прежде времени ей установленного, получит низшую обитель. Ужасаюсь от сей мысли. Вообрази себе, что мать наша, любившая нас столь нежно на земле, теперь же на небеси чистый ангел света, лишится навеки принять тебя в свои объятия. Нет, милый Матюша, самоубийство есть всегда преступление. *Кому дано было много, множайше взыщется от него.* Ты будешь больше виноват, чем кто-либо, ибо ты не можешь оправдываться неведением. Я кончаю сие письмо, обнимая тебя заочно с тою пламенною любовью, которая никогда не иссякала в сердце моем и теперь сильнее еще действует во мне от сладостного упования, что намерение мое, самим творцом мне внушенное, не останется тщетным и найдет отголосок в сердце твоем, всегда привыкшем постигать мое. — Прощай, милый, добрый, любезный брат и друг Матюша. До сладостного свидания!

Кронверкская куртина. Петропавловская Петербургская крепость, ночь 12 на 13 июля 1826 года».

Где подлинник этого письма, не знаем. Оно было напечатано в журнале «Русский архив» в 1887 году, сразу после смерти Матвея Ивановича, конечно, всегда хранившего эти листки и своей долгой жизнью будто исполнившего последнюю просьбу брата — не бежать со своего места, понять, что жизнь и смерть одного человека — не только его дело; как прорывается сквозь религиозный Строй послания упрек: мне бы еще день, месяц, год, а ты, кому остаются, может быть, десятилетия, можешь еще думать о самоубийстве! И будто предвосхищая пушкинские строки об исчезнувшем в гробовой урне *поцелуе свидания* — «но жду его, он за тобой!» — Сергей прощается «до сладостного свидания». А пока в ту ночь, вероятно, говорит Бестужеву-Рюмину и о пользе ближнего, и о милых объятьях в доме отца небесного, и опять любимые слова о *намерении:* если перед гибелью убежден, тверд, то выходит, что намерение мое свято; и, если брат Матюша и брат Михаил Бестужев-Рюмин воспрянут духом, значит, дан «знак свыше»! И Сергей говорит, говорит — о Риме, Бруте, Христе, апостолах, которые умели умереть достойно потому, что знали этот секрет: раз дух тверд, значит, умираем не зря… И Михаил Бестужев соглашается, следует умом за другом, но тут же вспоминает, что через два-три часа толстая веревка сожмет шею, а за окном июль, лето…

А за стенами — люди, которым предстоит страдать, но жить: иные — старые друзья, другие — минутные, последние знакомые. Член Северного общества Андреев, сидя рядом с Муравьевым, скажет ему в ту ночь:

«— Пропойте мне песню, я слышал, что вы превосходно поете.

Муравьев ему спел.

— Ваш приговор? — спросил Андреев.

— Повесить! — отвечал тот спокойно.

— Извините, что я вас побеспокоил.

— Сделайте одолжение, очень рад, что мог вам доставить это удовольствие».

Декабрист *Петр Муханов* вряд ли мог записать, но благодаря своей прекрасной памяти запомнил, наизусть выучил: «Михайла Павлович Бестужев-Рюмин за несколько часов до кончины сказал мне следующее:

Всеусердно прошу Муханова дабы написал домой: 1) чтобы почтенному духовнику моему Петру Николаевичу Мысловскому, не в награждение, но в знак душевной моей благодарности за советы его и попечение об исправлении моей совести, выдано было десять тысяч рублей и мои золотые часы. 2) Гарнизонной артиллерии поручику Михайле Евсеевичу Глухову в память мою и

благодарность за его попечение и заботы десять тысяч рублей. 3) В Киевскую городскую тюрьму на улучшение пищи арестантам пять тысяч рублей, которую сумму прошу доставить тамошнему губернатору от неизвестного для внесения в Приказ общественного призрения и обращать проценты оной по назначению. 4) Людей моих, бывших со мною в Киеве, в полку, прошу отпустить вечно на волю, дав им награждение. Я уверен, что родные мои примут с доверием слова сии».

Родные, из которых самым близким был престарелый отец, находились в Москве.

Мы не знаем, исполнены ли эти просьбы и чем был обязан узник караульному офицеру Михаилу Евсеевичу Глухову (по скудным отзывам других заключенных — «человеку весьма порядочному»). Не знаем и с большим трудом, многого не разбирая, продолжаем вслушиваться в голоса той ночи…

Николай I: «Дело это должно совершиться завтра в три часа утра».

Императрица Александра Федоровна: «Что это за ночь. Мне все время мерещились мертвецы».

Полвека спустя маленькую родственницу приводят к седому, почти слепому Матвею Ивановичу, который показывает ей портрет молодого офицера и говорит: «Это мой брат». Девочка не знала, что нужно отвечать, и смущенно сказала: «Как он красив». Матвей Иванович очень обрадовался.

Рассказ Василия Ивановича Беркопфа, начальника кронверка в Петропавловской крепости:

«Виселица изготовлялась на Адмиралтейской стороне; за громоздкостью везли ее на нескольких ломовых извозчиках… По предварительном испробовании веревок оказалось, что они могут сдержать восемь пудов. Сам научил действовать непривычных палачей, сделав им образцовую петлю».

Таким образом, казнь репетировали, создавая восьмипудовые модели казнимых.

Два часа ночи. Светает.

Смерть первая

Когда Томас Мор шел на смерть, у ворот Тауэра некая бедная женщина обратилась к нему с какой-то претензией по поводу своих дел. Мор ей отвечал: «Добрая женщина, потерпи немного, король так милостив ко мне, что ровно через

полчаса освободит меня от всех моих дел и поможет тебе сам».

Из старинного отчета о казни

Бесстрашие, с каким тамошний народ к смерти ходит, можно всякому рассудить по одному сему примеру, что при казни один, смеючись, жаловался на свое несчастие, что ему на виселице последний быть надлежало.

С. Крашенинников.
«Описание земли Камчатки»

Лев Толстой, 16 марта 1878 г. (во время работы над романом «Декабристы»): «Стасова… я очень прошу, не может ли он найти, указать, — как решено было дело повешения пятерых, кто настаивал, были ли колебания и переговоры Николая с приближенными».

Стасов добыл такой документ у Арсения Аркадьевича Голенищева-Кутузова, внука петербургского генерал-губернатора, распоряжавшегося казнью (подлинная записка царя была, очевидно, взята обратно и уничтожена, но в семье Голенищевых-Кутузовых сохранили копию!). Стасов переписал и передал текст Толстому. Писатель обещает хранить тайну: «Я не показал даже жене и сейчас переписал документ, а писанный вашей рукой разорвал… Для меня это ключ, отперший не столько историческую, сколько психологическую дверь. Это ответ на главный вопрос, мучивший меня».

Главный вопрос, очевидно, в том, как один человек может распорядиться жизнью других.

Записку эту долго не могли найти; только друг Льва Николаевича Дмитрий Оболенский вспоминал, что Толстой «читал по собственноручно им снятой копии записку Николая Павловича, в которой весь церемониал казни декабристов был предначертан им самим во всех подробностях»… «Это какое-то утонченное убийство!» — возмущался Толстой по поводу этой записки.

Толстой никогда не согласится, что мир можно исправить восстанием, заговором, но не может избавиться от притяжения к тем людям, среди которых «один из лучших… того и всякого времени».

И вот речь идет о казни, «главном вопросе»…

Только в 1948 году в одной частной коллекции была обнаружена сделанная рукою Толстого копия царского распоряжения, и, благодаря писателю, воскресает из пепла то, что многократно изымалось, скрывалось, уничтожалось и нигде больше не сохранилось!

Документ Николая (заглавие Толстого)] «В кронверке занять караул. Войскам быть в 3 часа. Сначала вывести с конвоем приговоренных к каторге и разжалованных и поставить рядом против знамен. Конвойным оставаться за ними, считая по два на одного. Когда всё будет на месте, то командовать на караул и пробить одно колено похода. Потом г. генералам, командующим эскадроном и артиллерией, прочесть приговор, после чего пробить второе колено похода и командовать „на плечо“. Тогда профосам [11] сорвать мундир, кресты и переломить шпаги, что потом и бросить в приготовленный костер. Когда приговор исполнится, то вести их тем же порядком в кронверк. Тогда возвести присужденных к смерти на вал, при коих быть священнику с крестом. Тогда ударить тот же бой, как для гонения сквозь строй, докуда все не кончится, после чего зайти по отделениям направо и пройти мимо и распустить по домам».

Таких слов, как *повешение*, казнь, старались избегать. Позже, когда в Сибири давалось распоряжение о казни еще раз восставшего южного бунтовщика Ивана Сухинова, был составлен документ — «Записка, по которой нужно приготовить некоторые вещи для известного дела и о прочем, того касающемся».

Записка Николая предусматривает все. Наивный декабрист Розен думал, что две церемонии — разжалование и казнь — не совпали случайно, и верил, будто генералу Чернышеву влетело за то, что сотня декабристов не увидела устрашающей казни пятерых.

Ничего подобного! Николай опасался доводить до исступления осужденных — кто знает, не кинулись бы они на конвой, хотя бы «один на двоих». К тому же из переписки царской семьи видно, что боятся скрытых заговорщиков *среди зрителей.* Поэтому сначала «увести обратно в кронверк разжалованных и приговоренных к каторге», и только потом «взвести осужденных на смерть». Незачем им встречаться.

Но опять трудность.

Начать сожжение мундиров и ломание шпаг в три ночи — едва ли управятся за час; а в Петербурге уже светло. Если только в четыре причащать и выводить пятерых — немало времени уйдет. Если поздно вешать — многие увидят. По городу пущен слух, будто казнь в восемь утра, но этого *«нельзя допускать».* К

тому же если пятерых выводить после того, как остальные вернулись обратно, — все догадаются, в чем дело, будут лишние встречи, восклицания…

И тогда-то была придумана четкая система, кого и в каком порядке вести.

Смертная казнь. О каждом шаге ее — последняя ночь, прощание, ведут, народ смотрит, палач, последнее слово и т. д. — существует целая литература, и мало кто из великих художников не касался того мига или краткого времени, в течение которого люди сознательно пресекают то, что сами ценят больше всего, — жизнь.

Мыслители задумывались, отчего смертный приговор, казнь устрашают судей, зрителей, даже абсолютно уверенных в справедливости наказания? Тургенев, наблюдая казнь ужасного убийцы, признавался, что, уходя с площади, чувствовал свою вину, и «только лошади, жевавшие овес, показались мне единственными невинными существами среди всех нас».

Во время дискуссий о запрещении смертной казни, начинающихся с конца XVIII века, было не раз замечено, что почти ни один защитник казней ни разу не видел своими глазами, как человека казнят. Временами в споре появлялся сильный аргумент: если вы за смертную казнь — казните самолично, своего рукою, посмотрим, как вы это сделаете?

В ночь на 13 июля и позже те, кто полностью или отчасти разделяет мнения казнимых, негодуют, сочувствуют. Но и те, кто видит в них врагов, обеспокоены и непрерывно подкрепляют рассуждениями необходимость этой казни и свое право решать, и внутренне не уверены в этом праве.

В России официально, открыто не казнили полвека, с Пугачева, а в Петербурге — с 1764 года (Мирович).

Родной город Санкт-Петербург, где мальчик родился в воскресенье 28 сентября 1796 года, в доме, из окон которого часто смотрел на место будущей казни. 13 июля — «утром — + 15°, ветер слабый, пасмурно и дождик, в полдень + 19°, молния и гром, потом сияние солнца; вечером +15,7°, облака».

Впрочем, полудня и вечера не будет.

«Санкт-Петербургские ведомости», вторник, 13 июля 1826 года. За 30 лет увеличился формат, на семи с половиной страницах извещается о «предстоящей церемонии священного коронования государя императора Николая Павловича».

«От дня коронации, которая имеет совершиться в августе месяце нынешнего 1826 года, для столь знаменитого ко всеобщей радости всех российско-подданных происшествия, временно снимается траур (по императору Александру I) во всех пределах

империи до обратного высочайшего их прибытия в Санкт-Петербург.

Траур имеет кончиться 19 ноября 1826 года».

«Сдается в наем 4-й Адмиралтейской части у Аларчина моста в доме г-жи Жеваковой под № 116 бель-этаж со всеми службами и конюшнями на 10 стойлов».

«Из лавки кондитера Т. Лореда пропала небольшая белая сучка (шпиц), кличка Мизинка, у коей один глаз меньше другого и вокруг обоих глаз кольцеобразные кофейные пятна. За доставку вознаграждение 25 рублей».

«Из дома флигель-адъютанта графа Александра Николаевича Толстого вылетел зеленый небольшой попугай».

«Желающие поставить для кронштадтской полиции потребные для обмундирования нижних чинов материалы… и т. д.».

«Отпускается в услужение[12] дворовый человек 23 лет, видный собою и знающий сапожное мастерство, о поведении коего дано будет обязательство на год».

Видно, больше чем на год ручаться за поведение никак нельзя…

Об «известном деле и о прочем, того касающемся», — ни в этом номере, ни в нескольких следующих. Только среди продаваемых в лавке Александра Смирдина книг значится «Донесение его императорскому величеству высочайше учрежденной комиссии для изыскания о злоумышленных обществах». Цена 4 рубля, «с доставкою 6 рублей». Но это название не очень заметно — где-то между «Северными цветами на 1826-й год, собранными бароном Дельвигом», «Баснями И. А. Крылова в семи книгах», комедией М. И. Загоскина «Богатонов, или сюрприз самому себе» и «Путешествиями», составленными Крузенштерном, Иваном Муравьевым-Апостолом, Головниным.

Только через неделю, 20 июля:

«Верховный уголовный суд по высочайше представленной ему власти приговорил: вместо мучительной казни четвертования, Павлу *Пестелю,* Кондратию *Рылееву,* Сергею *Муравьеву-Апостолу,* Михайле *Бестужеву-Рюмину* и Петру *Каховскому,* приговором суда определенной, сих преступников за их тяжкие злодеяния повесить».

Этот номер прочтет через неделю Иван Матвеевич в Париже, Риме или еще где-то. Но прежде, верно, получит письмо от дочери Екатерины, да не знаем мы, где то письмо и где вообще основной архив Ивана Матвеевича.

13(25) июля 1826 года. В Европе и прочих частях света —

события: греки, турки, Боливар, герцог Веллингтон, Карл X… В Копенгагене объявления, что «без свидетельства с привития коровьей оспы католики не будут допущены до причастия, а евреи — не получат позволения вступать в брак».

В Арденнском лесу в этот день «срублен тысячелетний дуб. Из него получено 140 бревен, не считая толстых досок, из ветвей вышло почти 7 сажен дров. Дерево еще могло простоять несколько столетий».

Два гения, известные уже в год рождения Сергея Муравьева, давно ничего не слышат: один из них, Франсиско Гойя, уж почти и не видит, но мчится через Пиренеи, чтобы умереть на родине, повторяя: «Я все еще учусь». Здоровье же Бетховена как раз в июле 1826-го сильно ухудшается (подействовала попытка любимого племянника расстаться с жизнью из-за карточных долгов). Жить ему еще восемь месяцев.

Мечтает о 10-й симфонии, музыке к «Фаусту» и реквиеме.

«Спящий колосс» называется одна из последних работ Гойи — пигмеи залепили великану глаза, рот, уши, нос, приставили лестницу и думают, что обманули, но ведь сами обмануты. Колосс просто не хочет видеть, слышать.

«Отрадно спать, отрадней камнем быть…»

13 июля. Все счеты с той жизнью закрыты. Кроме Екатерины Бибиковой, никто из родственников не простился с приговоренными.

Как записал декабрист Басаргин со слов священника, Рылеев не захотел последнего свидания с женою и дочерью, «чтобы не расстроить их и себя».

Каховский был одинок (его прежде даже подбивали на цареубийство, напоминая — «ты сир на земле»).

Отец Бестужева-Рюмина в Москве, больной, всего несколько месяцев протянет после известия о сыне.

Пестель никого не зовет; отцу его, в прошлом одному из худших сибирских генерал-губернаторов, нелегко понять сына. Говорили, будто он утешился милостью Николая I к другому сыну, благонамеренному Владимиру Пестелю, которого именно в этот день, 13 июля, делают флигель-адъютантом.

— Пора, брат, пора…

Им больше никого не встретить из близких, но некоторым из друзей еще удастся их увидеть и услышать.

Горбачевский: «Потом, после сентенции, в ту ночь, когда Муравьева и его товарищей вели из крепости на казнь, я сидел в каземате — в то время уже не в Невской куртине, а в кронверке, и их мимо моего окна провели за крепость. Надобно же так случиться, что у Бестужева-Рюмина запутались кандалы, он не

мог идти далее; каре Павловского полка как раз остановилось против моего окна; унтер-офицер пока распутал ему и поправил кандалы, я, стоя на окошке, все на них глядел; ночь светлая была».

Горбачевский не знал, может быть, догадывался, куда ведут. Никому не сообщили, никто не думал, что в самом деле казнят. Священник Мысловский уверял Якушкина и других — казни не будет!

Евгений Оболенский: «Я слышал шаги, слышал шепот, но не понимал их значения. Прошло несколько времени, — я слышу звук цепей. Дверь отворилась на противоположной стороне коридора; цепи тяжело зазвенели. Слышу протяжный голос неизменного Кондратия Федоровича Рылеева: „Простите, простите, братья!“, и мерные шаги удалились к концу коридора. Я бросился к окошку; начинало светать… Вижу всех пятерых, окруженных гренадерами с примкнутыми штыками. Знак подали, и они удалились»…

Казнят всегда на рассвете. Около двух часов ночи несколько человек слышат, как в камерах смертников прозвенели цепи.

Сейчас их поведут — как бы в пустоте. Если б они могли вообразить десятки будущих описаний происходящего, сделанных в основном близкими друзьями, рассказы о каждой подробности казни — если б могли, верно, изумились бы.

Где друзья? Ведь заперты, невидимы, спят, ничего не знают. Рядом только священник, солдаты, тюремные сторожа, палачи, помощники и начальники палачей…

Но вот Иван Якушкин через несколько часов, глазами тюремного плац-майора Подушкина, увидит, как смертникам надевают цепи; а художник Рамазанов через полвека встретит их в воротах, с помощью Василия Ивановича Беркопфа, начальника кронверка Петропавловской крепости; вот прощание со сторожами — и рядом невидимые Розен и Лунин; вот дорога, отдельные фразы, последние минуты, а вдоль пути уж можно вообразить печальных свидетелей: Александр Муравьев, Трубецкой, опять Якушкин…

Очень скоро они узнают все, или почти все, от главного очевидца — протоиерея Мысловского, от молодого, сочувствующего приговоренным офицера Волкова… В эти часы многие глядят и слушают, не подозревая, сколько людей потом воспользуются их зрением, слухом, памятью. Вероятно, так было всегда.

У места казни — высокое начальство: генерал-губернатор Голенищев-Кутузов отвечает за порядок, генералы Чернышев, Бенкендорф — личные представители императора. В Царское

Село каждые четверть часа скачет курьер с донесением (донесения не найдены, наверное, тут же сожжены).

Кто еще присутствует? Обер-полицмейстер Княжнин (сын известного в свое время драматурга, чьи пьесы ценили многие из приговоренных).

От этих дошло немного. Начальство неохотно распространялось «о секретном деле и всем, до него касающемся», но все же мы знаем или восстанавливаем отчеты Голенищева-Кутузова, Чернышева, рассказ обер-полицмейстера Княжнина, записанный тем самым паном Иосифом Руликовским, через владения которого шел в новогодние дни Черниговский полк.

Вел дневник также флигель-адъютант Николай Дурново. Посмотрев казнь, он «возвратился домой, заснул на несколько часов, после чего отправился в библиотеку Главного штаба. Обедал у военного министра и вечером снова вернулся туда. Там всегда встретишь знакомых»…

Другой из таких же, адъютант Голенищева-Кутузова — Николай Муханов (будущий товарищ министра, крупный деятель цензурного ведомства) вечером будет рассказывать в салонах, а там запомнят, запишут.

Кто еще у виселицы? Менее важные полицейские чины, рота павловских солдат, десяток офицеров, оркестр, Василий Иванович Беркопф, два палача, инженер Матушкин, сооружающий виселицу, человек 150 на Троицком мосту да на берегу у крепости окрестные жители, привлеченные барабанным боем.

Многие, желающие взглянуть на казнь, мирно спят, уверенные, что она состоится позже или совсем не состоится.

Отсутствие некоторых лиц будет отмечено:

«Один бедный поручик, солдатский сын, георгиевский кавалер, отказался исполнить приказание сопровождать на казнь пятерых, присужденных к смерти. „Я служил с честью, — сказал этот человек с благородным сердцем, — и не хочу на склоне лет стать палачом людей, коих уважаю“. Граф Зубов, кавалергардский полковник, отказался идти во главе своего эскадрона, чтобы присутствовать при наказании. „Это мои товарищи, и я не пойду“, — был его ответ».

Что стало с «бедным поручиком» (о котором вспоминал декабрист А. М. Муравьев), не знаем, но блестящий полковник гвардии Александр Николаевич Зубов лишился карьеры, был уволен к «статским делам» и за 20 лет получил лишь один чин. Заметим, что внук Суворова и сын того Николая Зубова, брата «Платоши», который бил насмерть императора Павла и отогнал подмогу криком: «Капитанина, куда лезешь!»

Теперь — «публика», зрители.

Зафиксирует свои впечатления аккуратный эльзасец Шницлер, будущий видный историк, а пока что домашний учитель в Петербурге.

Случайно узнавший о казни молодой чиновник Пржецлавский отправляется с товарищем до конца Троицкого моста и через полвека опубликует свои воспоминания:

«Далее стража нас не пустила, но и оттуда все поле и вся обстановка при помощи биноклей хорошо были видны. Войска уже были на своих местах; посторонних зрителей было очень немного, не более 150–200 человек».

На ялике подплывает к крепости Николай Путята, приятель Пушкина, родственник Баратынского.

Ничего не запишет Дельвиг, стоящий у кронверка рядом с Путятой (и Николаем Гречем), только поделится тайком с одним-другим приятелем, в частности с Пушкиным; да еще в селе Хрипунове Ардатовского уезда Нижегородской губернии среди бумаг Михаила Чаадаева, брата известного мыслителя, около ста лет пролежит отчет о казни под названием «Рассказ самовидца». Рукопись обнаружится только в советское время; однако имя «Самовидца» не разгадано до сих пор.

Итак, несколько говорящих среди сотен молчавших — и эти несколько разделены по своим взглядам, знаниям, положению, — и что видят одни, не видят другие, а одно и то же воспринимают по-разному. Мы же, помня завет Льва Толстого, понимаем, как важна тут всякая мелочь, ключ, может быть, не столько к исторической, сколько к «психологической двери»…

Глазами примерно десяти лиц, вслед за близкими друзьями и родными смертников, мы всматриваемся в дождливый рассвет 13 июля 1826 года.

Цепи были надеты еще с вечера, потому что приговоренный к смерти на все способен.

Когда Сергей Иванович увидел вошедшего с печальным видом плац-майора Подушкина, он избавил его от лишних объяснений: «Вы, конечно, пришли надеть на меня оковы». Подушкин позвал людей, на ноги пятерым надели железа. Все приговоренные смотрели на эти приготовления к казни совершенно спокойно, «кроме Михаилы Бестужева: он был очень молод и ему не хотелось умирать».

Четверо приговоренных, в том числе Муравьев-Апостол, полгода сидели без цепей. Бестужев-Рюмин же, разозливший следователей «путаными ответами» и закованный с февраля, был раскован только для прочтения приговора и снова — уже до конца — находился в самых тяжелых кандалах.

Вот — повели.

Пестель, Бестужев-Рюмин, Муравьев-Апостол, Рылеев и Каховский — в тех самых мундирах и сюртуках, в которых были захвачены. В воротах, через высокий порог калитки, ноги смертников, обремененные тяжелыми кандалами, переступали с большим трудом. Пестеля должны были приподнять в воротах — так он был изнурен.

Перед выходом из каземата Бестужев-Рюмин снимает с груди вышитый двоюродной сестрой и оправленный в бронзу образ и благословляет им сторожа Трофимова. На этом образе 10 месяцев назад клялись члены Общества соединенных славян. Розен предлагает сторожу меняться, но старый солдат не согласился ни на какие условия, сказав, что постарается отдать этот образ сестре Бестужева. Сторожа позже сумел уговорить только Лунин, сохранивший тот образ и в Сибири.

Два часа ночи… Матвей Муравьев-Апостол, который с вечера 12 июля уже догадывается, отчего не видно брата, ночью прислушивается к каждому движению, а позже, конечно, расспрашивает о каждой подробности. Он узнает, что едва занялся день, как пятерых, осужденных на казнь, повели в крепостную церковь; затем они двинулись в сопровождении полицмейстера Чихачева, окруженные павловскими гренадерами. Впереди — Каховский, за ним — Бестужев-Рюмин под руку с Муравьевым-Апостолом, дальше — Рылеев с Пестелем.

Якушкин со слов священника передает эту сцену точнее и жестче: «Был второй час ночи. Бестужев насилу мог идти, и священник Мысловский вел его под руку. Сергей Муравьев, увидя его, просил у него прощенья в том, что погубил его».

Под руку со священником… Муравьев ночью слышал Бестужева, а теперь — увидел, и жаль стало 25-летнего горячего, необыкновенного, странного друга, который мог бы жить в 30-х, 40-х, 50-х, 70-х годах, но «насилу идет» и едва увидит восход сегодняшнего дня. Как и сам Муравьев, которому, впрочем, выпало последнее счастье — не столько думать о себе, сколько о самом близком друге.

Смертники по дороге переговариваются, и мы слышим, вслед за священником, как Сергей Иванович Муравьев-Апостол не перестает утешать своего юного друга, а раз обернулся к Мысловскому и сказал — очень сожалеет, что на его долю досталось сопровождать их на казнь, как разбойников: «Вы ведете пять разбойников на Голгофу». «Священнослужитель ответил ему утешительными словами Иисуса Христа на кресте к сораспятому с ним разбойнику»…

Рядом с Христом были распяты два разбойника. В Евангелии

от Луки говорится: «Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: если ты Христос, спаси себя и нас. Другой же, напротив, унимал его… И сказал Иисусу — „Помяни меня, господи, когда приидешь в царствие твое“. И сказал ему Иисус: „Истинно говорю тебе; ныне же будешь со мною в раю“».

Опасные слова говорил Мысловский, утешая смертников. Какой рай для людей «вне разрядов?». Но может быть, поэтому даже лютеранин Пестель, не пожелавший слушать наставлений пастора, в эти минуты душевно расположен к доброму попу.

На просьбу Ильи Ефимовича Репина дать сюжет для картины Лев Толстой предложил «момент, когда ведут декабристов на виселицы. Молодой Бестужев-Рюмин увлекся Муравьевым-Апостолом, скорее личностью его, чем идеями, и все время шел с ним заодно, и только перед казнью ослабел, заплакал, и Муравьев обнял его, и они пошли вдвоем к виселице».

В другой раз Лев Николаевич опять вернулся к этой сцене, «с любовью говорил о декабристах… Муравьев — благородный, сильный, и его Горацио — Бестужев».

Толстой составил представление о событиях по некоторым воспоминаниям декабристов. Мы теперь знаем, что молодой Бестужев не только «увлекался идеей», но, случалось, и самого Муравьева зажигал… Но, многого не зная, Толстой, как обычно, чувствует главное; от оценки общих идей он идет к личностям: ослабел, обнял — это для него важнейшее дело при оценке событий, едва ли не более важное, чем сама идея… Главный вопрос — до каких пределов человек может оставаться человеком.

Якушкин: «Всех нас повели в крепость; изо всех концов, изо всех казематов вели приговоренных. Когда все собрались, нас повели под конвоем отряда Павловского полка через крепость в Петровские ворота. Вышедши из крепости, мы увидели влево что-то странное и в эту минуту никому не показавшееся похожим на виселицу. Это был помост, над которым возвышалось два столба; на столбах лежала перекладина, а на ней висели веревки. Я помню, что когда мы проходили, то за одну из этих веревок схватился и повис какой-то человек; но слова Мысловского уверили меня, что смертной казни не будет. Большая часть из нас была в той же уверенности».

Ведут для церемонии разжалования и шельмования тех, кто приговорен к каторге и ссылке.

«Повис какой-то человек» — видимо, испытывали веревки. Начальнику кронверка Василию Ивановичу Беркопфу доставили двух палачей из Финляндии или из Швеции (имена до сих пор

неизвестны), однако их приходится обучать, выяснять, какой вес могут выдержать веревки, смазывать петли салом.

Итак, около трех часов ночи площадь у крепости наполняется людьми, играет оркестр Павловского полка, дымно от приготовленных костров, но где в это время смертники?

«Их поместили на время в каком-то пороховом здании, где были уже приготовлены пять гробов».

Мы знаем, что это за здание: вблизи вала, на котором устраивали виселицу, находилось полуразрушенное училище торгового мореплавания — оно еще дважды войдет в историю казни.

Но есть и другая версия о том, где могли находиться пятеро примерно с половины третьего до половины четвертого. «Пятерых повели в крепостную церковь, где они еще при жизни слушали погребальное отпевание».

Итак, либо среди пяти гробов, либо на своем отпевании…

Экзекуция над сотней с лишним осужденных по разрядам была быстрой: павловский оркестр забил колено похода, второе… сняли форму, бросили в огонь, поставили на колени, сломали шпаги над головами.

Вместо ожидаемого уныния и раскаяния сто с лишним человек радовались друг другу, смеялись новой одежде, арестантским «больничным» халатам, спрашивали тихонько, где Рылеев, где Пестель, поглядывая на пустые виселицы и на Матвея Муравьева-Апостола. «Генерал-адъютант Чернышев большой каре приказал подвести к виселицам. Тогда Федор Вадковский закричал: „Нас хотят заставить присутствовать при казни наших товарищей. Было бы подлостью остаться безучастными свидетелями. Вырвем ружья у солдат и кинемся вперед!“ Множество голосов отвечало: „Да, да, да, сделаем это, сделаем это!“ По Чернышев и при нем находившиеся, услышав это, вдруг большой каре повернули и скомандовали идти в крепость. Чернышев показал необыкновенную ревность на экзекуции этим маневром. Усердие его, можно полагать, непременно превышало всякое данное ему Николаем наставление. Адская мысль подвести любоваться виселицами принадлежит, собственно, Чернышеву, а не Николаю. Тиверий был еще новичком в новом своем ремесле подобных казней».

Может быть, Вадковский воспринял движение в сторону виселицы как признак того, что им хотят показать казнь? Может быть, история сочинена задним числом? Но в любом случае видно, что Николай резонно рассудил не показывать казнь тем, кто осужден жить.

Оркестр пробил «как для гонения сквозь строй», костры

задымились тлением от горящего сукна, осужденных в больничных халатах повели в тюрьму.

Было около четырех часов утра.

Пятерых велено повесить в четыре, снять в шесть и тогда же уничтожить виселицу. Раздалась команда, и их ведут.

«Все сии обстоятельства, — запишет Мысловский, — да-же самые мелочные, коих я был ближайшим свидетелем, описаны мною в особенных записках, и с вернейшей точностью, равно как и беспристрастием… Уверяю, что портреты будут схожи с оригиналами. Ибо во все время, проведенное мною с преступниками, я успел воспользоваться доверенностью каждого из них и, следовательно, без ошибки знал их свойства, читал в сердцах их вещи сокровеннейшие. Описание сие помещено будет в моих записях, по случиться может, что они или утратятся, или, судя по прямоте и истине, в них изображенной, подвергнутся преследованию правительства…

Пишу то, что чувствую, и притом пишу для кого-либо из детей моих, коим достанется сия книга. Знаю, что дети… взявши в руки книгу сию, вдруг найдут сокровище неожиданное — описание 120 государственных преступников…»

Эти размышления протоиерея сопровождаются датой — 1 ноября 1826 года, через три с половиной месяца после казни. Записки начаты, но где середина, конец? Может быть, утратились вследствие страха или неудовольствия потомков?

Из описания ста двадцати сохранился лишь фрагмент о Пестеле:

«Пестель в половине пятого, идя на казнь и увидя виселицу, с большим присутствием духа произнес следующие слова: „Ужели мы не заслужили лучшей смерти? Кажется, мы никогда не отвращали чела своего ни от пуль, ни от ядер. Можно бы было нас и расстрелять“».

Петля — «смерть позорная». «И я бы мог, как шут», — начал Пушкин комментировать собственный рисунок: одна виселица с пятью повешенными.

Среди множества казней (происходящих или намеченных) в пушкинских сочинениях, письмах, незаконченных отрывках — виселица чаще всего. Вешают в «Полтаве», «Сценах из рыцарских времен», «Капитанской дочке», «Опричнике», «Анджело» и еще, и еще…

Не так казни, как позора страшился Пушкин и другие люди его круга, в том числе пять смертников. Пестель об этом прямо сказал, и Сергей Муравьев — Мысловскому о «разбойниках»…

Было время, когда палач прежде, чем рубить, давал

приговоренному пощечину — знак последнего унижения.

Пощечина не отменена — заменена.

Безымянный «Самовидец», оставивший описание казни, был, очевидно, полицейским чиновником, судя по тому, что стоял недалеко от виселицы, запомнил точное время, когда полицмейстеру приказало повесить и снять тела, и при этом смертникам почти совсем не сочувствует:

«Бестужев-Рюмин и Рылеев вышли в черных фраках и фуражках с обритою бородою, и очень опрятно одетые. Пестель и Муравьев-Апостол в мундирных сюртуках и форменных фуражках, но Каховский с всклокоченными волосами и небритою бородой, казалось, менее всех имел спокойствие духа. На ногах их были кандалы, которые они поддерживали, продевши сквозь носовой платок.

Когда они собрались, приказано было снять с них верхнюю одежду, которую тут же сожгли на костре, и дали им длинные белые рубахи, которые надев, привязали четырехугольные кожаные черные нагрудники, на которых белою краскою написано было „преступник Сергей Муравьев“, „преступник Кондрат Рылеев“».

Достоевский был в этом положении и позже рассказал (словами князя Мышкина) то, что не сумеют рассказать пятеро декабристов:

«Приготовления тяжелы. Вот когда объявляют приговор, снаряжают, вяжут, на эшафот возводят — вот тут ужасно… Что же с душой в эту минуту делается, до каких судорог ее доводят?»

Мысловский между тем ожидал гонца о помиловании, «и к крайнему своему удивлению — тщетно».

Вряд ли священник поделился этой мыслью с пятерыми. Впрочем, кто знает? Может, и они хоть немного, но надеялись? Все же нет, судя по реплике Сергея Муравьева о «разбойниках» и фразе Пестеля о петле и расстреле… И коли так, то уж третий час шла жестокая пытка промедлением. Медленный огонь — дело известное. Но вот — медленная петля… Около двух часов держали у собственных гробов или на собственном отпевании.

В пятом часу происходит промедление *второе.*

Один из ломовых извозчиков, перевозивших столб для виселицы, застрял где-то впотьмах. Тут же проносится слух, будто лошади у того извозчика взбесились, помчали. Может и правда, но не исключено, что присутствующие наделили тех висельных лошадей своими полубезумными ощущениями.

Так или иначе, но царский приказ — пятерым умереть в четыре — не исполнен: половина пятого, пять, начало шестого!

Они стоят возле недостроенной виселицы, прерывая молчание короткими фразами. «Между прочим, Муравьев сказал:

— Какая позорная смерть! Для нас все равно, но жаль, что пятно ляжет на детей наших.

И потом, несколько помолчав:

— Ну, нечего делать; Христос также страдал, быв менее нас виноват. Мы чисты в своей совести, и нас бог не оставит.

Сии слова показывают в нем нераскаявшегося грешника».

Первая реплика уж очень похожа на фразу Пестеля: «Можно было нас расстрелять». Зато следующие слова — совсем муравьевские; ведь именно этими доводами он успокаивал ночью ослабевших: Христос больше страдал, «быв менее виноват». Значит, наша участь еще не худшая! Опять сравнение с Христом (которое будто бы донеслось с Васильковской площади, из Катехизиса!), а слова «мы чисты в своей совести» — это из тюремного письма о «чистоте намерений». «Самовидец» тут не ошибается… Но о каких детях идет речь?

Законная дочь только у Рылеева. Вряд ли о тех двух сиротках, что доставлены в Хомутец. Скорее, дети — это потомки вообще, как сами они «дети 1812-го».

Что еще мы можем услышать, увидеть в течение той, второй паузы?

Полицмейстер Княжнин (в передаче Руликовского) шесть лет спустя за обедом выхваляется, как, преодолев некоторое колебание, он подавил свои личные чувства и приступил к «выполнению воли высшей власти» и как после вторичного прочтения смертного приговора среди пятерых «послышался глухой ропот, который становился все более громким и дерзким». Предупреждая возможность более горьких последствий, Княжнин «приблизился к ним и крикнул: „На колени! Молчать!“ И все они молча упали на колени».

Генерал, вероятно, разгорячен обедом; к его неточностям гостеприимный хозяин Руликовский легко прибавляет свои. И все же не гоже совсем забывать этот не подтверждаемый больше ни одним свидетелем окрик: «На колени! Молчать!»

Оставим «колени» на совести рассказчика, но «Молчать!» по должности следовало крикнуть: разговаривать не полагалось, Муравьев-Апостол же говорил о Христе и чистых намерениях, так что было слышно другим.

Играет оркестр, в воздухе паленый запах горящих форменных сюртуков, инженер Матушкин суетится около виселицы.

Половина шестого.

Можно только догадываться, что влепили заблудившемуся вознице и каким взглядом наградили Чернышев, Бенкендорф,

Голенищев-Кутузов нерасторопного строителя виселицы! Каждую минуту после четырех часов приговоренные дышат вопреки высочайшему повелению. А ведь каждые четверть часа в Царское Село идет курьер; император не ложится спать, пока не сообщат…

Пушкин: «13 июля 1826 года в полдень государь находился в Царском Селе. Он стоял над прудом, что за Кагульским памятником, и бросал платок в воду, заставляя собаку свою выносить его на берег. В эту минуту слуга прибежал сказать ему что-то на ухо. Царь бросил и собаку и платок и побежал во дворец. Собака, выплыв на берег и не нашед его, оставила платок и побежала за ним».

Царь нервничает, Пушкин восемь лет спустя несколько ошибается — дело не могло быть в полдень, а только ка рассвете. Но вообще записывает верную подробность, потому что расспрашивает знающих людей: царь нервничает…

Между тем работа заканчивается. Под виселицей вырыта большая и глубокая яма; она застлана досками, на которые должны стать осужденные, и, когда на них наденут петли, доски из-под ног вынут… «Таким образом, казненные повисли бы над самой ямой; но за спешностью, виселица оказалась слишком высока, или, вернее сказать, столбы ее были недостаточно глубоко врыты в землю, а веревки с их петлями оказались поэтому коротки и не доходили до шей». Вблизи вала, на котором была устроена виселица, находилось полуразрушенное здание училища торгового мореплавания. Оттуда, по собственному указанию Беркопфа, взяли школьные скамьи и поставили на них преступников.

Большие и средние начальники почти забыли о пятерых, поглощенные вопросами техническими и организационными. «Самовидец» же, как человек маленький, приглядывается к смертникам.

«Преступники на досуге, сорвав травки, бросали жребий, кому за кем идти на казнь, и досталось первому Пестелю, за ним Муравьеву, Бестужеву-Рюмину, Рылееву и Каховскому. Но когда виселица готова, их хотели повесить всех вдруг (т. е. одновременно) и с несвязанными руками, о чем Рылеев напомнил исполнителям казни, после чего руки их связали назади».

Их пригласят умереть одновременно, но становятся они под виселицей именно так, как вышло по жеребьевке. Здесь был миг, момент, когда они еще свободны в выборе, вольны поступать, как хотят.

«Священник Петр Николаевич был с ними. Он подходит к Кондратию Федоровичу и говорит слово увещательное. Рылеев

взял его руку, поднес к сердцу и говорит: „Слышишь, отец, оно не бьется сильнее прежнего“».

Это в записи декабриста Оболенского, лучшего друга Рылеева. О следующих же секундах мы слышим только пьяный фальшивый голос Княжнина:

«Пятерых осужденных к смертной казни… отдали в руки кату, или палачу. Однако, когда он увидел людей, которых отдали в его руки, людей, от одного взгляда которых он дрожал, почувствовав ничтожество своей службы и общее презрение, он обессилел и упал в обморок.

Тогда его помощник принялся вместо него за выполнение этой обязанности. Этот помощник, бывший придворный форейтор, совершил какое-то преступление и, чтобы спасти себя от тяжкого наказания, согласился сделаться палачом. Если бы не он, то исполнение приговора должно было бы приостановиться».

Об этом эпизоде больше нет ни одного слова ни у кого.

Как трудно пробиваться к подлинности любого факта, а ведь это хорошее, добротное слово *подлинность* имеет неважное происхождение: «сказать подлинную правду» означало признаться под пыткою, производимой *длинником* (длинным хлыстом, прутом), коим, как полагали в старой Руси, лучше всего узнавалась как раз необходимая, настоящая, подлинная правда. А если уж углубляться далее, то будет правда *подноготная*, извлекаемая, понятно, более крепкими пыточными средствами…

Но, повторяем, имена палачей не отысканы, и если применить к рассказу Княжнина тот же метод, что и раньше, — ослабить, уменьшить, разделить сказанное — то, может, и была третья пауза ввиду смущения палача. Во всяком случае, свой испуг, что дело еще затянется, полицмейстер должен был помнить. Заметим, что в отчете, который был вскоре послан Николаю, говорится о «неопытности наших палачей и неумении строить виселицы».

Не знаем, заметили пятеро эту третью паузу или нет?

Половина шестого. Разжалованные и каторжные сидят по казематам. Один про казнь не думают, другие думают только о ней. Якушкин ожидает Мысловского с нетерпением. «Наконец вечером он взошел ко мне с сосудом в руках. Я бросился к нему и спросил, правда ли, что была смертная казнь. Он хотел было ответить мне шуткою, но я сказал, что теперь не время шутить. Тогда он сел на стул, судорожно сжал сосуд зубами и зарыдал. Он рассказал мне все печальное происшествие…»

«Когда их привели к виселице, Сергеи Муравьев просил позволенья помолиться; он стал на колени и громко произнес:

„Боже, спаси Россию и царя!“ Для многих такая молитва казалась непонятною, но Сергей Муравьев был с глубокими христианскими убеждениями и молил за царя, как молил Иисус на кресте за врагов своих. Потом священник подошел к каждому из них с крестом.

Пестель сказал ему: „Я хоть не православный, но прошу вас благословить меня в дальний путь“. Прощаясь в последний раз, они все пожали друг другу руки. На них надели белые рубашки, колпаки на лицо и завязали им руки. Сергей Муравьев и Пестель нашли и после этого возможность еще раз пожать друг другу руку. Наконец, их поставили на помост и каждому накинули петлю».

Пестель и Муравьев — по жребию или случайно — стали рядом на скамье. Уже ничего не видно, петля и душный капюшон. На скамье неожиданно встали по союзам: трое южан, затем двое северных.

«Боже, спаси Россию и царя»: Сергей Иванович продолжает беседу с небом и людьми, которую вел этой ночью с Бестужевым и братом, вечером с сестрою, недавно со следователями и отцом, полгода назад — в Василькове.

— Один царь на небе и на земле…

— Чем приговоры царя и судей решительнее, том более они плод ничтожества и беспечности и тем они ближе к заблуждению…

— Намерение свое почитает благим и чистым, в чем бег один его судить может…

Половина шестого. Эта последняя молитва вызывает особенное внимание и друзей, и врагов. Кто молится? За кого молится? Некоторые свидетели утверждают, будто молился Рылеев… Сергей Муравьев или Рылеев? Свидетели не называют других. И только Николай I запишет: «Почти никто из них (осужденных в каторгу) не раскаялся; зато пять казненных проявили большое чувство раскаяния, особенно Каховский, который, идя на смерть, сказал, что молится за меня. Его единственного я и жалею. Да простит ему господь и умиротворит его душу».

Царь говорит со слов Чернышева, тот, как большое начальство, не стоял рядом с виселицей, по разъезжал на коне неподалеку. Ему доложили о молитве за паря. Чернышев понимает — это надо сообщить императору, это будет распространено в обществе и народе: смертник молится за царя!.. Но кто из них? А не все ли равно! Чернышев либо не слышал, либо спутал, либо доложил Николаю о том из пятерых, кого

Николай особенно желал видеть молящимся за себя: Каховского ведь царь увещевал сам и особо, декабрист писал ему из крепости, его признание царь считал своей личной заслугой. И вот появится на свет умиротворительная молитва Каховского — о которой никто кроме царя не знает — вместо особой, будто из Катехизиса извлеченной, молитвы Сергея Муравьева.

Каховский… Какой-то умысел проскальзывает в некоторых рассказах о его последних минутах.

Все аккуратные и опрятные, Каховский всклокоченный, небритый, беспокойный…

«Когда Пестель, Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин и Рылеев были выведены на казнь, они расцеловались, как братья; но, когда последним вышел из ворот Каховский, ему никто не протянул даже руки… Причиной этого было убийство графа Милорадовича, учиненное Каховским, чего никто из преступников не мог простить ему и перед смертью».

Начальник кронверка Василий Иванович Беркопф был в отгадывании мыслей, кажется, не сильнее, чем в сооружении виселиц. Откуда ему знать, о чем думали пятеро? Как мог, например, Муравьев-Апостол, поднявший полк на бой, а не на потеху, не подать руки другому, кто выстрелил в другом бою? Да разве похоже на римлянина Муравьева — отвернуться от гибнущего человека, которого он, кажется, прежде не знал!

Падающего толкнуть? Никогда!

И стоящий у виселицы расстроенный и подавленный офицер Волков видит, что, «когда осужденных ввели на эшафот, все пятеро висельников приблизились друг к другу, поцеловались и, оборачиваясь задом, потому что руки были связаны, пожали друг другу руки, взошли твердо на доску…».

Все пятеро… Однако задумаемся, к виселице Каховский шел один, а затем — парами: Рылеев — Пестель, Муравьев — Бестужев-Рюмин.

Кажется, в эти последние минуты Каховский действительно отделился от товарищей, но если и было какое-то отчуждение, то со стороны его самого! Он сам мог замкнуться, не подойти — его состояние было нелегким, он особенно натерпелся в последние недели допросов, чувствовал себя одиноким, мог обвинять во многом Рылеева и других вчерашних «северян»…

Все поцеловались, пожали руки, а Пестель с Муравьевым еще раз, из петли…

150–200 человек глядят с Троицкого моста, другие — с Невы, около стены.

Николай Путята видит пятерых у виселицы и близ себя одного француза: «Офицер Де-ла-Рю, только что прибывший в

Петербург в свите маршала Мармона, присланного послом на коронацию императора Николая Павловича. Де-ла-Рю был школьным товарищем Сергея Муравьева-Апостола в каком-то учебном заведении в Париже, не встречался с ним с того времени и увидел его только на виселице».

Учебное заведение, конечно, пансион Хикса. Маршал Мармон 12 лет назад сдал Париж Сергею Муравьеву и сотням тысяч его товарищей, а теперь представляет на торжествах совсем другую династию… Пансион же — это двадцать лет назад; Анна Семеновна, Иван Матвеевич, покидающий Испанию, успехи в математике, Матвей, новорожденный Ипполит, расстрел партизан в Берлине, «дети, я должна вам сказать, что в России рабство»…

Оркестр и барабан.

Толпа, к которой прислушиваются несколько тайных агентов… Толпа сейчас замерла, а только что говорила, и мы даже знаем, о чем говорила.

(Из донесений агентов):

— Казнь, слишком заслуженная, давно в России небывалая, заставила, кроме истинных патриотов и массы народа, многих, особливо женщин, кричать: «Quelle horreur!» («Какой ужас!»)…

— Начали бар вешать и ссылать на каторги: жаль, что всех не перевесили, да хоть бы одного кнутом отодрали и с нами поравняли. Да долго ль, коротко, им не миновать этого.

— В городе говорят, что преступники до такой степени хорошо содержались в крепости, что, когда жена Рылеева прощалась с мужем, Рылеев, подавая апельсин, будто бы сказал: «Отнеси это дочери и скажи ей, что, по милости царя, из крепости отец ей с благословением может еще послать и сей подарок».

Половина шестого. «Скамьи поставлены на доски, осужденные встащены на скамьи, на них надеты петли, а колпаки стянуты на лица».

Несколько свидетелей замечает, что Пестелю и его товарищам неприятны прикосновения палачей.

«Когда все было готово, с нажатием пружины в эшафоте, помост, на котором они стояли на скамейках, упал».

Мысловский (запись Лорера): «Когда под несчастными отняли скамейки, он упал ниц, прокричав им: „Прощаю и разрешаю“».

«Разрешает» (отпускает) грехи; то есть разрешает умереть.

Смерть вторая

«Упал ниц, прокричав им: „Прощаю и разрешаю“. И более ничего не мог видеть, потому что очнулся тогда уже, когда его уводили.

Говорят, сорвался Пестель, Муравьев-Апостол, Рылеев».

Восемь декабристов — Якушкин, Лорер, Розен, Штейнгель, А. М. Муравьев, Цебриков, Трубецкой, Басаргин — видят происходящее с помощью одного и того же Мысловского. В тот же день, 13 июля, расспросят, запомнят. Но как по-разному они видят!

«Сошедши по ступеням с помоста, Мысловский обернулся и с ужасом увидел висевших Бестужева и Пестеля и троих, которые оборвались и упали на помост… Неудача казни произошла оттого, что за полчаса перед тем шел небольшой дождь, веревки намокли, палач не притянул довольно петлю и когда он опустил доску, на которой стояли осужденные, то веревки соскользнули с их шеи».

Другие называют иные имена и подробности…

Отчего это расхождение? Может, оттого, что декабристы составляли свои воспоминания много лет спустя? Но они не могли забыть 13 июля и, хотя позже жили вместе на каторге и обменивались воспоминаниями, единой версии так и не создали…

Очевидец… Видит очами. Но как быть, если смотреть невозможно?

Для одних — двое сорвавшихся, для других — трое; то ли зарябило в глазах — три упавших или, наоборот, два-три… То ли один сорвался чуть позже; как понять, кто упал? Кто знает их в лицо, лица изменены, перед последним мигом закрыты капюшоном, зрители в состоянии шока…

Трое лежат на земле, ушиблись. Двое — в петле.

«Они, — напишет один из друзей, — может быть, умирали в медленных страданиях целые тысячелетние минуты».

Четвертое промедление.

«Сергей Муравьев жестоко разбился; он переломал ногу и мог только выговорить: „Бедная Россия! И повесить-то порядочно у нас не умеют!“ Каховский выругался по-русски. Рылеев не сказал ни слова».

Якушкин, к которому протоиерей относился с особенным уважением (с таким же, пожалуй, как к Сергею Муравьеву-Апостолу), — Якушкин, как видно из его записок, сам точно, досконально выспрашивал. Мысловский в тот вечер зайдет еще ко многим в камеры, но, конечно, не каждому станет описывать события, иные получали подробности уже из третьих, четвертых рук. Однако Якушкин, с которым священник позже много лет будет переписываться, выяснил, что мог, а Мысловский рассказал, что видел, слышал или что померещилось в бессознательном кошмаре…

«Бедная Россия! И повесить-то порядочно у нас по умеют!»

Эти слова останутся в памяти, будут повторены во множестве нелегальных изданий, они дойдут к родственникам, к друзьям; последние слова Сергея Ивановича, если они действительно были произнесены. Ошеломленные свидетели слышат одного говорящего — на этом все сходятся. Но кто он, произносящий последнее слово?

«Каховский ругал беспощадно…»

«Бранился Рылеев».

«…Из трех сорвавшихся поднялся на ноги весь окровавленный Рылеев и, обратившись к Кутузову, сказал:

„Вы, генерал, вероятно, приехали посмотреть, как мы умираем. Обрадуйте вашего государя, что его желание исполняется: вы видите — мы умираем в мучениях.

Когда же неистовый голос Кутузова:

— Вешайте их скорей снова! — возмутил спокойный предсмертный дух Рылеева, этот свободный необузданный дух передового заговорщика вспыхнул прежнею неукротимостью и вылился в следующем ответе:

— Подлый опричник тирана! Дай же палачу свои аксельбанты, чтобы нам не умирать в третий раз“».

Соскользнувшая петля, видно, задела и подняла капюшоны, возвращая навсегда исчезнувшее утро, людей, дым костров. Невозможно представить психическое состояние трех людей. Без сомнения, что-то говорили, кричали, может быть, бранились, и никакие рассуждения о том, что могли и чего не могли они сказать, не имеют значения; все могли — ничего не могли: молчать, выругаться по-русски, «в России порядочно повесить не умеют», «подлый опричник». Дурново вообще не отметил в дневнике каких-либо слов, произнесенных погибающими, он спешил в гости.

Голенищев-Кутузов не передал ничего Николаю о последних восклицаниях — его дело исполнить казнь. Подробности, если надо, сообщит Чернышев.

Беркопф решительно уверял собеседника, что «выдумкой являются слова, приписываемые Пестелю, когда порвались веревки с петлями: „Вот как плохо русское государство, что не умеет приготовить и порядочных веревок“». Однако Беркопфу было не до жиру — четвертая пауза может стоить ему карьеры и свободы.

Слова о неумении «порядочно повесить» он мог считать личным оскорблением — это он, Беркопф, не умеет!..

Больше никто не видел сам, по толпа, которую держит на расстоянии цепь часовых, тоже имеет голос. Конечно, они не

слышат, что говорят сорвавшиеся, через час начнут расспрашивать и узнают правду вперемешку с таким вымыслом, что ни им, ни нам не разобраться…

Обер-полицмейстер Княжнин: «Бестужев-Рюмин когда услышал приказ, чтобы его вторично повесили, то громко сказал: „Нигде в мире, только в России два раза в течение жизни карают смертью“».

Точно о таком возгласе говорит и декабрист Нарышкин. Но при этом сообщает столь необыкновенную подробность (неизвестно от кого узнанную), что кажется, это и есть правда.

«Бенкендорф, видя, что принимаются вешать этих несчастных, которых случай, казалось, должен был освободить, воскликнул: „Во всякой другой стране…“ — и оборвал на полуслове».

Бенкендорф сидел на лошади и смотрел на «жалких» с презрением и грустью. Поскольку он не командовал и не распоряжался, как Чернышев, Голенищев-Кутузов, то многим из ссылаемых в каторжные работы показался симпатичным, даже сочувствующим.

Говорили, что, когда трое сорвались, Чернышев, подскакав, приказал подать другие веревки и вешать вторично и будто бы «Бенкендорф, чтоб не видеть этою зрелища, лежал ничком на шее своей лошади…»

Зрелище — не из легких. «Во всякой другой стране…» Подразумевается либо «во всякой другой стране лучше умеют вешать», либо «во всякой другой… помиловали бы сорвавшихся».

Насчет помилования еще скажем. Но сейчас на секунду вообразим: трое сорвавшихся, оцепенение, доносится чей-то крик: «Во всякой другой стране!..» Могут вдруг совпасть слова казнимого и казнящего! Мысловский, Волков в трансе, но слова запомнились. Кто сказал? Генерал? Преступник? А может быть, кто-то подальше, в толпе, с горькой иронией произносит: «Во всем неудача, не умеют составить заговор, судить, вешать».

Слова сказаны, по толпе, находящейся в шоке, невозможно понять: кем сказаны?

«Во всякой другой стране…» Что сделают? Помилуют?

В высшем свете осторожно намекают, что царь уехал из столицы, опасаясь возможного бунта в войсках. Среди зрителей же и после в городе — слух, будто переодетый государь находится у эшафота: ждут чуда. Ведь далее Павел I велел предать суду генерала Репнина за слишком быстрое исполнение приговора на Дону «вместо заменяющего оную наказания, положенного нашею конфирмацией».

Некоторые декабристы до конца дней верили, будто бы протоиерей Мысловский хотел воспротивиться второй казни. Это легенды… Мысловский был в те минуты едва жив, но не видать бы ему спокойной жизни и ордена (вскоре пожалованного за труды), если бы осмелился воспротивиться…

80 лет спустя, 12 февраля 1906 года, карательный отряд Ренненкампфа вешает сибирских революционеров и сочувствующих. Машинист Малютинский сорвался. Толпа, как один человек, воскликнула: «Нельзя вешать! Нельзя… Сам бог за него!» В ответ — залп в толпу. Малютинского подняли и повесили.

«Сам бог за него», — в древнейшие времена наверняка бывали случаи, когда падение с виселицы вело к помилованию… Неписаный обычай сохранялся в памяти, но палачи делали свое дело. Разве что в 1672 году в Италии, где повешенный фальшивомонетчик ожил уже на анатомическом столе… Тут уж власти сжалились, его оставили служителем при больнице, но через несколько лет все-таки казнили за другое преступление.

«Сам бог за него», — не исключено, если б Николай был рядом, пришлось бы миловать, эффектный жест поразил бы толпу. Но царь чувствовал, что, чем ближе он будет к месту казни, тем более отвечает за все.

Народ безмолвствует. Даже Бенкендорфу, если он и начал: «В любой другой стране…» — даже Бенкендорфу следует прервать фразу. Рядом Чернышев.

Несколько мемуаристов сходятся на том, что Чернышев в эту минуту становится главным действующим лицом: «Генерал Чернышев… не потерял голову; он велел тотчас же поднять трех упавших и вновь их повесить».

Запасных веревок не было, их спешили достать в ближних лавках, но было раннее утро, все было заперто, «почему исполнение казни еще промедлилось». Как видно, пришлось усовершенствовать те же старые петли.

Через несколько часов строителя виселицы гарнизонного инженера Матушкина разжалуют в солдаты и только через одиннадцать лет снова вернут офицерские потопы.

Но может, было бы куда хуже, если б «умели порядочно вешать»; не очень умеют, ибо не привыкли… От этого казнь, правда, оказалась вдвое страшнее, мученичество вдвое, вдесятеро большим. И Сергей Муравьев-Апостол, если б мог еще говорить и думать, верно, нашел бы, что тем усиливается контраст — чистота намерений и жестокость страданий, — а это непременно отзовется в потомстве.

Кто ж не узнает через час, день, неделю, что трое сорвались?

И мало кто, даже из самых черствых и верноподданных, не испытывает при этой вести некоторого смущения, сожаления. Это было вроде последнего восстания уходящих южан и северян — «вот, будете нас помнить больше, чем хотите!». И если б Николаю пришлось выбирать — двойное повешение пятерых или помилование, пожалуй, выбрал бы помилование: казнь — это устрашение, но при двойной казни устрашение сильно уступает иным чувствам.

Пятеро не знают и не узнают, что в эти утренние минуты 13 июля они уже спасают других людей. Вот всего два приказа:

Один — до казни: «Секретно. От начальника Главного штаба — главнокомандующему 1-й армии. Всех фельдфебелей, унтер-офицеров, нижних чинов Черниговского пахотного полка, взятых с оружием в руках, предать суду; в случае приговора многих из них к смертной казни, утвердить таковой приговор не более как над тремя самыми главными, коих расстрелять одного в Киеве, другого в Василькове, а третьего в Житомире».

Инструкция ясна: к пяти казненным дворянам присоединить трех солдат. *Второй приказ.* Начальник Главного штаба — главнокомандующему 1-й армии: «Государь император высочайше повелеть мне соизволил уведомить ваше сиятельство, что буде над рядовыми Черниговского пехотного полка, приговоренными по суду быть расстрелянными, исполнение еще не сделано, то его величеству угодно, чтобы вместо расстреляния прогнать их шпицрутеном по двенадцать раз каждого сквозь тысячу человек».

Дата второго послания — 16 июля, через три дня после петербургских виселиц. Можно подумать, что разницы никакой, ибо 12 тысяч шпицрутенов — та же смерть, более мучительная. Но, видно, были еще и устные инструкции, о чем скажем после.

И еще раз пятеро спасли других от смерти: через 23 года петрашевцев помиловали за минуту до расстрела. Тут все примечательно: выстрел вместо петли, царский гонец, заменяющий пулю каторгой…

«Прошло около четверти часа, пока их снова поставили на скамейки». Скоро шесть.

«Минуточку, одну еще минуточку повремените, господин палач, всего одну», — просила одна из казнимых во Франции.

Здесь не кричат. Но четверть часа. «Целые тысячелетние минуты…»

13 июля. Междусмертие. Четверть часа. Запах паленого. Еще светлее. В 14-м, бывшем рылеевском, каземате Розен из

оловянной кружки допивает не допитую поэтом воду.

Царь не ложится, дожидаясь последнего известия, которое может быть только одним из двух: все в порядке или бунт, беспорядок.

«Операция была повторена, и на этот раз совершенно удачно» (Василий Иванович Беркопф). Все видят, но полубезумие не прошло, и кажется, будто они лихорадочно перебивают друг друга:

«Помост немедленно поправили и взвели на него упавших. Рылеев несмотря на падение шел твердо, Сергей Муравьев-Апостол, так же как Рылеев, бодро всходил на помост. Бестужев-Рюмин, вероятно потерпевший более сильные ушибы, не мог держаться на ногах, и его взнесли…»

«Его взвели под руки».

«Опять затянули им на шеи веревки… Прошло несколько секунд, и барабанный бой известил, что человеческое правосудие исполнилось. Это было на исходе пятого часа».

«Было шесть часов, и повешенных сняли». Самовидец утверждает, что они еще подавали признаки жизни и палачи приканчивали.

«Стража окружила виселицу, но по прошествии получаса стала всех пускать, и толпа любопытных нахлынула. Казненные висели уже неподвижно. Между ними труп Каховского отличался необыкновенною длиною. Прошло еще полчаса — мертвецов сняли и отнесли в крепость».

Голенищев-Кутузов — царю:

«Экзекуция кончилась с должною тишиною и порядком как со стороны бывших в строю войск, так со стороны зрителей, которых было немного… Рылеев, Каховский и Муравьев сорвались, но вскоре опять были повешены и получили заслуженную смерть. О чем вашему императорскому величеству всеподданнейше доношу».

Бабеф (вскоре после рождения Сергея Муравьева): «Я погружаюсь в сон честного человека».

Пушкин: «Что смерть ему — желанный сон…»

Свершилась казнь. Народ беспечный
Идет, рассыпавшись, домой
И про свои заботы вечны
Уже толкует меж собой…

Эпилог

Потом случилось всего несколько событий, прямо относящихся к Сергею Ивановичу Муравьеву-Апостолу, прожившему 29 лет 8 месяцев и 15 дней.

«В следующую ночь, — рассказал. Беркопф, — извозчик (из мясников) явился с лошадью в крепость и оттуда повез трупы по направлению к Васильевскому острову; по, когда он довез их до Тучкова моста, из будки вышли вооруженные солдаты и, овладев возжами, посадили извозчика в будку; через несколько часов пустая телега возвратилась к тому же месту; извозчик был заплачен и поехал домой».

Место похорон — в тайне: народу сказали, будто тела брошены в воду Крепостного канала, и люди целый день приходили, уходили, смотрели, «ничего не видавши и кивая головами»; более осведомленные узнали, что ящик с телами пятерых увезли на какой-то остров Финского залива, причем яму рыли солдаты инженерной команды Петербургской крепости вместе с палачами. «Одни говорят, что тела похоронены за Смоленским кладбищем на острове, другие — около завода Берда, тоже на острове… Положительно об этом последнем обстоятельстве не знаю», — признавался тот же Беркопф.

Михаил Александрович Бестужев в 1861 году уточнял для Ивана Горбачевского: «Их схоронили на Голодае за Смоленским кладбищем и, вероятно, недалеко от Галерной гавани, где была гауптвахта, потому что с этой гауптвахты наряжались часовые, чтобы не допускать народ на могилу висельников. Это обстоятельство и было поводом, что народ повалил туда толпами. Хорошие секреты!!!»

Генерал Княжнин, заканчивая свой хвастливый и неточный рассказ, объявил сотрапезникам:

«Когда на землю спустилась ночь, я приказал вывезти мертвые тела из крепости на далекие скалистые берега Финского залива, выкопать одну большую яму в прибрежных лесных кустах и похоронить всех вместе, сравнявши землю, чтобы не было и признака, где они похоронены. И только мне одному известно место этой могилы, так как когда я стоял на скале над самым берегом моря, то с этого моста видел два пункта шарообразных скал, от коих проведенная прямая линия показывает место этой могилы».

Сидевшие за столом спросили генерала, зачем это кому-либо может понадобиться? Он сказал: «Кто может угадать будущее? То, что мы теперь считаем хорошим и справедливым, грядущим

поколениям может казаться ошибкой».

Через день после казни, 15 июля 1826 года, Екатерина Бибикова зашла помолиться за брата, в Казанский собор «и удивилась, увидев Мысловского в чёрном облачении и услышав имена Сергея, Павла, Михаила, Кондратия» (записавший это Якушкин верно забыл имя Петра Каховского).

Затем весть пошла по миру, и кто-то вздохнул или зарыдал в Москве, Хомутце, Кибинцах, Василькове, Белой Церкви…

А Черниговский полк на 48 подводах, под конвоем (2 офицера, 5 вооруженных унтеров на каждую роту и на каждые 10 человек по вооруженному рядовому) движется навстречу солнцу, лихорадке и пулям Кавказа.

И 376 человек лишены старых медалей, нарукавных нашивок, но благодарны судьбе, что не попали в число ста двадцати, которым причитается от 200 до 12 тысяч палок.

Новый Черниговский полк под командой единственной жертвы южных революционеров — излечившегося от четырнадцати ран полковника Гебеля (его ждет уже чин генерала и должность киевского коменданта) смотрит, как срывают погоны и обводят вокруг виселицы Соловьева, Сухинова, Мозалевского, а к виселице прибита доска с именами — Щепилло, Кузьмин, Ипполит Муравьев-Апостол. «Когда Сухинов услышал слова „сослать в вечно-каторжную работу в Сибирь“, то громко сказал:

— И в Сибири есть солнце…

Но князь Горчаков не дал ему докончить, закричав с бешенством, чтобы он молчал, и грозя, что будет за это непременно во второй раз отдай под суд. Говорят даже, что начальник штаба хотел привести в исполнение сию угрозу, но генерал Рот не согласился».

Генерала Рота мы знаем. Тут дело не в сострадании, а в инструкции скорее, скорее кончать!

Трое приговоренных к расстрелу внезапно слышат: «Фельдфебель Михей Шутов, унтер-офицер Прокопий Никитин, рядовой Олимпий Борисов… по снятии с Шутова имеемой им в память 812-го года медали, прогнать шпицрутенами чрез тысячу человек каждого по двенадцати раз с наблюдением установленного порядка насчет тех, кои в один раз наказания не выдержат, и потом, по выключке из воинского звания, сослать их вечно в каторжную работу».

Ничто не укрылось от летописца Горбачевского: «Человеколюбие генерал-майора Вреде заслуживает особенной похвалы. Он просил солдат щадить своих товарищей, говоря, что их поступок есть следствие заблуждения, а не злого умысла. Его просьбы не остались тщетными: все нижние чины были

наказываемы весьма легко. Но в числе сих несчастных находились разжалованные прежде из офицеров Грохольский и Ракуза и были приговорены к наказанию шпицрутеном через шесть тысяч человек. Незадолго до экзекуции между солдатами пронесся слух, что Грохольский и Ракуза лишены офицерского звания за восстание Черниговского полка и, не взирая на сие, приговорены судом к телесному наказанию. Мщение и негодование возродилось в сердцах солдат; они радовались случаю отомстить своими руками за притеснения и несправедливости, испытанные более или менее каждым из них от дворян. Не разбирая, на кого падет их мщение, они ожидали минуты с нетерпением; ни просьбы генерала Вреде, ни его угрозы, ни просьбы офицеров — ничто не могло остановить ярости бешеных солдат; удары сыпались градом; они не били сих несчастных, но рвали кусками мясо с каким-то наслаждением; Грохольского и Ракузу вынесли из линии почти мертвыми»… Тут к месту экзекуции прибегает невеста Грохольского, «в беспамятстве бросилась она на солдат, хотевши исторгнуть из их рук несчастного страдальца; ее остановили от сего бесполезного предприятия и отнесли домой. Сильная нервическая горячка была следствием сего последнего свидания… Искусство врачей было бесполезно, — и в тот же самый вечер смерть прекратила ее страдания». Так окончилась жизнь вдовы коллежского регистратора Ксении Громыковой, той женщины, которой в одни из первых дней этого, последнего, года были присланы от Грохольского серебряные вещи и добрые вести.

Жителям Василькова, города и уезда, просившим «за убытки от революции» 22 548 рублей 33 копейки, выдается 10 тысяч…

«Могущественная мода, которой покоряется весь мир, прославила особой памяткой смерть Муравьева. В продаже в лавках появилось множество шелковых материй, шерстяных жилетов и лент двухцветных — черных с красными различными узорами. Наши местные торговцы, пользуясь благоприятными условиями и настроениями времени, наделяли нашу молодежь этими двухцветными изделиями, разъясняя ей по секрету их символическое значение. Они продавали их по очень высокой цене, тем более, что все запрещенное имеет и наибольший спрос».

Помещик Иосиф Руликовский, записавший эти строки, имеет в виду черно-красные цвета Черниговского полка…

Что же тайный советник, сенатор Иван Матвеевич Муравьев-Апостол? Потерял уже двоих, а в сущности, и третьего, ибо никогда больше не увидит его. Виновен? В чем?

Иван Матвеевич исчезает, его нет в обществе, литературе, театре, Петербурге, Москве.

Шницлер, тот самый, кто наблюдал на рассвете 13 июля

казнь пятерых, спустя 20 лет закончит во Франции большой труд о России. Упомянув семью Муравьевых и Ивана Матвеевича, он добавит только: «Il vit encore, hèlas!» («Увы! Он еще жив!»)

Только несколько документов напоминают о его существовании.

Один — это прошение 1847 года.

В ту пору царь Николай I пожелал уволить в отставку тех сенаторов, «которые службы не несут, в Сенат не ездят и потому бесполезны». Был составлен список из двенадцати «бесполезных». Один из них, Муравьев-Апостол, просил о высочайшем соизволении на продолжение службы, но получил отказ. Отказ завершается справкой: «Тайный советник Муравьев-Апостол в службе с 1773 года, родового имения 150 душ, пенсия — 1827 рублей».

Второе сочинение — элегия на любимом греческом языке: Иван Матвеевич и в горе сохраняет изысканность (может, ему так спокойнее?).

Через 30 с лишним лет декабрист-поэт Федор Глинка переложит греческие строки в русские стихи; еще более четверти века они пролежат у Матвея Ивановича, пережившего Сибирь, освобождение крестьян, 70-е, 80-е годы, и в год его смерти, 1886-й, достигнут печати.

Три юные лавры когда я садил,
Три радуги светлых надежд мне сияли:
Я в будущем счастлив судьбою их был…
Уж лавры мои разрослись, расцветали.
Была в них и свежесть, была и краса,
Верхи их, сплетаясь, неслись в небеса.
Никто не чинил им ни в чем укоризны.
Могучи корнями и силой полны.
Им только и быть бы утехой отчизны,
Любовью и славой родимой страны!
Но горе мне!.. Грянул сам Зевс стрелометный,
И огонь палящий на сад мой послал,
И тройственный лавр мой, дар Фебу заветный,
Низвергнул, разрушил, спалил и попрал…
И те, кем могла бы родная обитель
Гордиться… повержены, мертвы, во прах;
А грустный тех лавров младых насадитель
Рыдает, полмертвый, у них на корнях!..

Иван Матвеевич прожил десятилетия за границей, но умер в Петербурге, 82-летним, в 1851 году. Могила его на Охтенском

кладбище затерялась. Так же, как библиотека, как мемуары, которые (точно известно) — старик писал…

* * *

Едем на метро до станции Василеостровская. Затем на трамвае до конца: остров Декабристов, бывший Голодай. Новые дома — улица Каховского, затем небольшой парк, в котором маленький памятник.

1826–1926

Заложен в память 100-летия казни декабристов П. И. Пестеля. К. Ф. Рылеева, С. Муравьева-Апостола, М. Бестужева-Рюмина, П. Г. Каховского.

13–25.VII/1926 Василеостровский райисполком

Еще недавно был залив, теперь подсыпали земли — и как в блоковской Равенне: *«Далеко отступило море…»*

Острова уже нет и никогда не будет. Пока что отвоеванное у воды пространство — гладкий пустырь, придающий всему месту какую-то особенную печаль.

Надпись на памятнике сдержанная — фамилии не по алфавиту, а в том порядке, как они проходили на суде и в приговоре…

За девять лет до того, как был поставлен памятник, здесь, в глухом краю Петрограда, куда более дальнем, чем ныне, прокладывали водопроводные трубы. Рабочие расчищали узкую полузалитую траншею, обнаруженную на глубине около двух метров. Вдруг под лопатами оказались полуразрушенные гробы. На другой день явились специалисты во главе с профессором Святловским и установили, что здесь братская могила, хотя на этом месте никакого кладбища никогда не было. Пять тесно поставленных — не по обычаю — гробов, из которых один сохранился лучше, в нем нашли форменную пуговицу начала XIX века да еще заметили, что ноги умершего странно связаны ремнем. Могилу сфотографировали, останки сложили в уцелевший гроб и засыпали…

Время было раскаленное — июнь 1917-го, между второй и третьей революцией. По журналам и газетам мелькнула сенсация — «пять таинственных гробов». Репортеры торопились — Бестужева-Рюмина смешали с другими Бестужевыми, сохранность одного гроба объяснили усилиями никогда не существовавшей жены Пестеля и т. д.

Затем прошлое отступило перед потоком современности. Загадка той могилы не получила ясного решения, но по многим

признакам выходило — декабристы.

Бывший остров Голодай, близ улицы Каховского, в небольшом парке.

* * *

Таковы события, непосредственно касавшиеся Сергея Ивановича Муравьева-Апостола. Что же касается других явлений, исторических, так или иначе связанных с тем, что он хотел, за что сражался и умер, то их число, вероятно, бесконечно, потому что история продолжается, и то 10 880 дней, что прожил герой этой книги, вступали и вступают в бесконечные сцепления с тысячами и миллионами других дней, других жизней.

И так просто, легко доказать, что Апостол не зря жил, умер недаром, дело не пропало, всходы не вымерзли. Так просто, ибо это верно. Но все же

Почто, мой друг, почто слеза катится?

notes

Примечания

1

Отец будущих декабристов Никиты и Александра, дядя Михаила Лунина.

2

Эту историю автор книги слышал от профессора С. А. Рейсера и учителя Г. Г. Залесского, которые узнали ее непосредственно от участника описываемого события. Два рассказа расходятся в некоторых деталях, но сводятся в единую версию.

3

«Общественный договор» (фр.)

4

Автор известного романа «Сентиментальное путешествие».

5

Сергей Муравьев-Апостол.

6

Во всех переводах этого письма «vous», употребляемое М. И., трактуется как *вы*. Между тем в русских письмах братья обращались друг к другу на «ты», и в данном случае именно так надо переводить франц. «vous», имеющее более интимный характер, чем русское «вы».

То есть царе.

8

Девять Муравьевых так или иначе замешаны в декабристском движении: трое Муравьевых-Апостолов, их двоюродные братья — Артамон Захарович, Александр Захарович, их троюродные братья — Никита Михайлович и Александр Михайлович Муравьевы Наконец, два шестиюродных брата — Александр Николаевич, Михаил Николаевич.

9

Цитаты, помещенные в этой главе без указания авторства, взяты из записок Горбачевского и показаний членов Южного общества, особенно Бестужева-Рюмина, чье воображение часто залетало в то время, когда уже «все будет хорошо».

10

Член Северного общества, которого не следует смешивать с Михаилом Бестужевым-Рюминым.

Исполнителям. От этого слова происходит русское слово «прохвост».

12

Уже запрещено писать «продается человек».